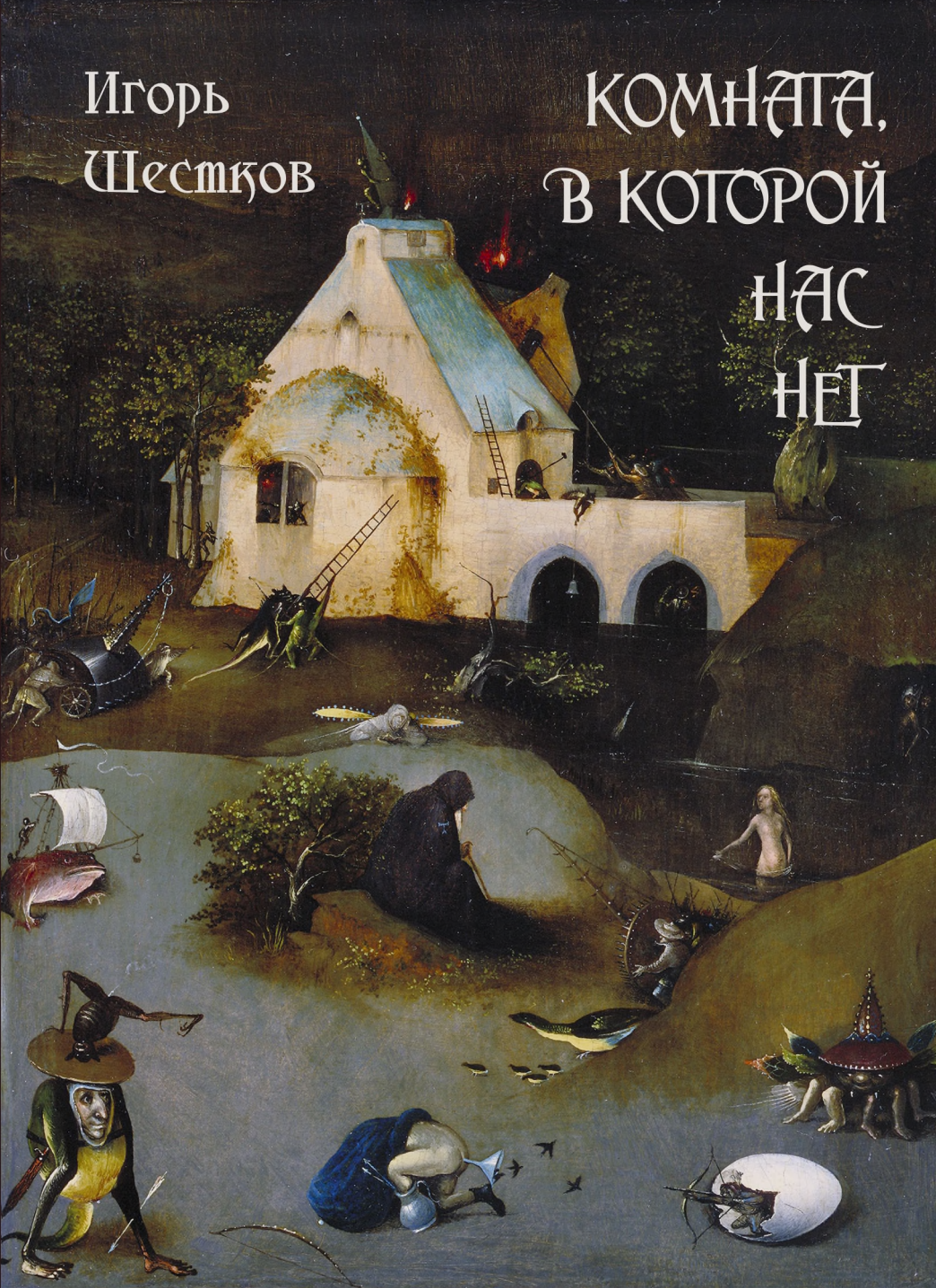
Игорь Шестков

Комната, в которой нас нет



Игорь
ШЕСТКОВ

КОМНАТА, В КОТОРОЙ НАС НЕТ

Записи, эссе, отрывки

Berlin, 2026

Книга «Комната, в которой нас нет» берлинского автора Игоря Шесткова это «записки обо всем».

Книга содержит: Автобиографические заметки разных лет, Записи из Дневника, Записные книжки, большое эссе о Гоголе, критическую статью «Почему мне неприятно читать Набокова», текст интервью писателя Литературной газете и радиоинтервью радиостанции Свобода, эссе «Комната, в которой нас нет», «Фотограф в Храме Гроба», «Сова», различные рецензии, письма...

Написанные страстно и предельно искренне, тексты эти служат важным и уместным дополнением к рассказам и повестям автора. Автор просит у читателя прощения за неизбежные в такого рода книге повторы.

Мысль эмигранта кружится как спутник по экзотической траектории, напоминающей восьмерку, вокруг двух тяжелых планет — оставленной родины и остального мира. Планеты эти существуют в различных временных зонах... Через разрывы или прорехи в жизненной ткани виднеются бесплодные поля Хадеса.

© Игорь Шестков 2021, 2026

ISBN 978-3-56554-613-8

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ГОРОД К.

В детстве мучил меня кошмар.

Будто бегу я в незнакомом городе, ищу мой московский дом и не могу найти. Дома на улице стоят плечом к плечу, как солдаты, между ними нет проходов.

Я бегу.

Бегу.

Улица как коридор. Туннель. Телом из него не выйти. Дождь моросит. Неба не видно — серые облака висят низко.

Душно.

Крутые, покрытые черной черепицей крыши лоснятся от влаги. Останавливаюсь, чтобы перевести дух. Смотрю по сторонам. В домах разбиты двери, выбиты стекла. Внутри — тьма, запустение. Оттуда доносятся странные шорохи и скрипы.

Страшно.

Невдалеке — мост над неширокой речкой. Вода бурая.

Вдоль реки вытянулись фабричные корпуса. Смутно видна высокая труба и кирпичная башня с циферблатом без стрелок. Пахнет противно — угольной пылью, стальной стружкой, машинным маслом.

По берегам реки — больные деревья. Листья на них серые, маленькие, сморщенные. Асфальт на улице растрескался, в лужах коричневая жижа с бензиновыми разводами. Ни машин, ни людей не видно.

Кошмар этот мучил меня несколько раз. Каждый раз, просыпаясь, я хватался покрепче за мой обыденный московский мир и мрачное видение исчезало.

В 1990 году я попал против моей воли в немецкий город К.

Вышел из здания вокзала, прошелся туда-сюда, огляделся и узнал тот самый коричнево-серый город из моего детского кошмара. Боги судьбы перепутали сны, ошиблись. И решили исправить ошибку — отправили меня в проклятый город. Сопротивляться не было сил.

Ну да, конечно, в реальном городе все было не совсем так, как во сне — тут ездили автомобили, сновали люди. В центре синел на солнце большой пруд, окруженный плакучими ивами и платанами, на окраинах города зеленели тенистые парки. Но многое в деталях повторяло мой сон — вонючая бурая речка протекала недалеко от моего дома, зловещая башня с циферблатом без стрелок торчала невдалеке, огромная фабричная труба господствовала в небе.

Боже мой! Это мой город, и мне придется в нем жить...

Легко сказать — жить. А что делать, если твое существование съежилось, а внутреннее время — остановилось. И пространство сворачивается за твоей спиной. Вроде бы ты тут, а на самом деле тебя нет, ты не существуешь. Ты в коконе времени.

Тело стареет, жизнь проходит, а ты не изменяешься, опыта не прибавляется. Косность материи не спасает, ее тяжелый поток не несет тебя в своем чреве. Занесло дурака в параллельный мир, и демоны ада гогочут, наблюдая твои кривляния.

...

Ужас жизни не в том, что любая фантазия может стать твоей тюрьмой, неожиданно материализовавшись, а в том, что эта материализация может оказаться половинчатой, мнимой. Взлетев, страшно не упасть, а навсегда застрять в воздухе.

Многие подумают — так тебе и надо! Не надо было покидать родной очаг, свой народ, свой город. Сменил шило на мыло! Москву на город К.

И сама брошенная родина отзывается равнодушием, в котором слышна угроза — предатель, беглец! Приютившая тебя страна тоже не отстает — проклятые иностранцы! Паразиты! Выслать!

И даже искренняя помощь и сочувствие новых друзей имеют легкий, но неистребимый привкус презрения к беженцу, чужаку, пришедшему по чужое добро.

— Зачем ты сюда приехал? — орет это презрение.

— Зачем ты вообще живешь, падаль? — шипит родина.

— Вон! — вопит Германия.

— Подохнешь как пес! — отзывается СССР.

Этот шип и этот ор, этот свист валькирий и лай Цербера не так уж страшны — так манифестирует себя твоя вожделенная свобода, это свидетельство освобождения от фантомов государства, культуры, национальности, религии. Приветствие серафимов, посылаемое осмелившемуся сковырнуть осточертевшую скорлупу советчины и нагишом переплыть Стикс.

КРАСНОВО

Вспоминается деревня Красново, вытянувшаяся вдоль берега Можайского моря. Дом отдыха, Старый корпус. Столовая в подвале. Официантки, несущие тяжелые подносы на плечах. На подносах — в несколько слоев — жестяные миски с обжигающе горячим борщом, тарелки с макаронами и маленькими кусочками плохо прожаренного мяса. У официанток красные потные лица. В подвальной кухне жарко. Оттуда доносится стук, звон, ругань. Там повара.

Бабушка выбирала столик, чтобы — не на проходе и у Настюшки. Официантку Настюшку жалели, ее муж дома бил. Она страдала какой-то неизлечимой женской болезнью. Ее красивое русское лицо часто искривлялось в гримасе боли.

Никому из отдыхающих профессоров университета не приходила в голову мысль, что таскать тяжеленные деревянные подносы — работа унизительная, адская. Не женская. Что барщину надо обличать не в проклятом прошлом, а в советском настоящем.

Чиновничьи и профессорские жены с отпрысками даже не подозревали, как их ненавидели официантки, повара, горничные, да и вся огромная деревня Красново, в которой не было ни одного не сидевшего хотя бы раз в тюрьме главы семьи. Хорошо еще, что Дом отдыха был для деревенских кормушкой. Там можно было подработать. Там кино, настольный теннис, там играли в волейбол. Поэтому деревенские его терпели.

Я подолгу рассматривал берега Можайского моря в подаренный мне дедушкой полевой бинокль. Видел поросшие кустарником берега, березы, сосны, пологие холмы на горизонте, плотину, дорогу. Я знал, что она ведет в Бородино. Оттуда как бы доносились ружейные выстрелы, и пахло порохом.

На дороге стояла заброшенная церковь с покосившимся крестом, в которой тогда еще висел никому не нужный наполовину сгоревший иконостас с большими иконами.

Я улетал на другой берег. Тут все казалось странным. Потому что на самом деле меня нет, но вот, я перелетаю с сосны на сосну, выхожу на дорогу, бросаю камешек в морду репейника, заглядываю через пролом в стене в церковь. В высоте — искаженное мукой лицо распятого Христа.

Я легко взлетаю на купол церкви, вглядываюсь оттуда в даль. Вижу туманное горячее марево, в котором копошатся оптические черви, шелкопряды судьбы.

Каждый цветок, кустик, каждое дерево, торчащее из воды, каждая его ветка представлялись мне звуком, буквой, словом зашифрованной в ландшафте фразы. Эти сообщения влекли как тайна, как клад. Хотелось их слушать, разгадывать, читать. И я читал и слушал и летал, летал с одного дерева на другое, наслаждаясь свободой и легкостью полета.

Знакомый тополь долдонил — день, день, день.

Огромное затопленное дерево, выбросившее из-под воды серые мертвые ветки, вторило — ох, ох, август, лету конец...

...

Бабушка ходила со мной в лес. Там мы находили уютное местечко в тени. На полянке.

Солнце пекло. По голубому небу плыли белые облака. Тихо звенели комары. Бабушка читала. А я смотрел на траву. Делался маленьким. Бибигоном. Куцая подмосковная травка превращалась в джунгли, в мою детскую Бразилию. В этой странной стране я сражался с жуками и кузнечиками. Искал израненную злыми насекомыми девочку. Маленькую куколку, вылепленную из глины и ожившую. Строил для нее домик и травяную постельку. Прокладывал дороги и разбивал миниатюрные прудики, куда

выливал, к неудовольствию бабушки, остатки воды из фляжки. Приготавливал из лепестков повязки, чтобы лечить ей ранки от порезов и укусов. Ее глиняное тело превращалось в настоящее, человеческое, и я ласкал ее и блаженствовал.

...

Там же в лесу, недалеко от деревни Красное я испытал сексуальное потрясение другого рода, воспоминание о котором мучает меня до сих пор.

Я гулял в лесу один, просто так, без цели. Мечтал. Вдруг заметил что-то движущееся метрах в двадцати от меня. Инстинкт самосохранения заставил пригнуться и затаиться. Послышалось что-то вроде душераздирающего мяуканья. Я осторожно подошел поближе.

На траве лежали двое. Одетый в ватник на голое тело пастух петушил деревенского дурачка Фофана, сына Настюшки. В руках у Фофана была веревка, перекинутая через сук. На другом конце веревки болтался, судорожно перебирая лапами, повешенный на ней за половые органы кот, под которым тлел костер. Пастух напевал что-то осипшим голосом, его худой оголенный зад дергался быстро-быстро. Фофан держал веревку двумя руками, дергал ее и ржал как конь.

...

Последнее мое воспоминание о деревне Красново — зимнее.

Февраль. Каникулы. Я — студент пятого курса мехмата. Месяц как женат. Моя жена — Неля, студентка исторического факультета. Мы живем в Новом корпусе, едим в новом здании столовой, просторном и светлом. Постаревшая Настюшка больше не таскает подносы с борщом, она сделала карьеру и стала сестрой-хозяйкой. Пастух умер. Фофан сидит в тюрьме за кражу.

На другом берегу Можайского моря — высокие сугробы. Стрельбы не слышно. Сказочное созвездие Ориона сверкает на морозном небе. Из церкви пропал не догоревший когда-то иконостас.

Мы живем комфортно. У нас комната с балконом на втором этаже. По вечерам мы забираемся в кресла с ногами и читаем

друг другу стихи. Выпиваем. Танцуем. Стекла покрыты снежными узорами. В комнате пахнет хвоей. Моя жена ловит на балконе снежинки губами. Неля любит есть снег.

Нелегкое это испытание — исполнение желаний, пытка счастьем. Нет тупика безнадежнее. Проклятое мгновенье должно остановиться, но оно вместо этого ускользает. С вершины пирамиды возможен только спуск или падение. Сатурн исправно работает челюстями и все летит потихоньку в тартарары.

...

Катались мы однажды на лыжах по водохранилищу. Меня уже все приводило в бешенство — и лыжи, и ветер, и снег, и жена. И главное — моя идиотская роль счастливого супруга.

И тогда произошло чудо. Налетела на нас метель. Закрутилась вихрем. Хоть ножом ее режь. А когда метель улеглась и солнышко заблестело, я увидел себя и жену со стороны. Не «мы», а «они» скользили рядом, жестикулировали и бранились. А тело, в котором я находился, было от них довольно далеко.

Я растерялся. Не знал, что делать. Потом догадался, что моя прежняя линейная жизнь никогда не вернется. И поспешил в Москву.

ДВОЙНИК

Ужас эмиграции состоит в том, что она, в сущности, невозможна. Можно, конечно, покинуть родину. Даже постараться забыть ее. Но невозможно отделаться от своего двойника, который останется и будет бродить, как душа не похороненного человека, вокруг насиженных в прошлой жизни мест. Наперекор всем законам природы часть твоей личности продолжит существование в отщепившемся от тебя двойнике. При этом расщепится не только твоя судьба, но и вся вселенная. Та, другая ее часть, будет и дальше существовать так, как будто ты не уехал. В ней осуществятся все твои страхи. И через сны перелетят к тебе.

Эмиграция — это клонирование личности и расщепление вселенной, а не побег. Желая попасть в рай, ты посылаешь своего двойника в ад.

Это началось месяцев за семь до моего отъезда. Мой любимый город стал мне чужим — Москва начала выталкивать меня из себя.

Как известно, все смотрит. Смотрят дома, автомобили, улицы. Смотрит Луна, небо, стол. В конце перестройки я вдруг почувствовал, что Москва тяжело, с ненавистью смотрит на меня сквозь свою многоэтажную клетку. Любимые с детства улицы перестали радовать и поддерживать. Дома наклонялись, они были готовы раздавить меня своей тяжестью. Поверьте, я вовсе не проектирую свое настроение на физиономию города. Я-то был весел и полон энергии, легкомыслен и легок.

Перестройка разрушила созданное поколениями совков поле самообмана и грандиозная декорация обрела наконец свое истинное обличье. Величественный фантом третьего Рима, мираж, выстроенный Сталиным и его последователями, рассыпался в прах. На нас глянули свинцовые глаза правды. Ведь это не СССР разрушался, а мы — его дети, его тело.

...

Я уезжал с Белорусского вокзала в сентябре 1990 года. Меня никто не провожал. Все были тогда заняты собственными заботами. Один на вокзале, один в купе. Грустно.

Вдруг я заметил на перроне знакомого мне человека. Он стоял и печально смотрел на меня. Помахал мне рукой. А я — ему. Поезд тронулся.

Так я и уехал с мыслью, что меня кто-то проводил.

И только приехав в Дрезден, успокоившись и отдохнув, я вдруг понял, кто стоял на перроне.

СЧАСТЬЕ

Счастье приходило ко мне только в детстве и юности. Причем только в те моменты, когда происходила пусть маленькая, но катастрофа. Счастье приходило как компенсация.

Завалил я однажды экзамен в школе. По математике. Не смог найти решения диофантовых уравнений. Вышел на Ленинский проспект.

Декабрьские московские сумерки. На земле — снежная каша. Синеватые тени мелькают. Машины мигают желтыми и красными огнями. Снег идет. Крупный, мокрый. Все спешат по домам. А у меня на сердце кошки скребут — дома придется рассказывать о моем позоре. И тут, назло логике, погоде, назло всему — меня охватило радостное чувство. Озарение. Счастье.

Я живу! Снег прекрасен. Синие московские тени загадочны. В уличном грохоте слышится чудесная мелодия. Она влечет меня к чему-то захватывающему, неизведанному, самому важному, перед чем вся математика — детский лепет...

Повинуясь этому зову, я перестал ходить в школу. Из дома я пунктуально выходил, но шел не в школу, а, встретившись у универмага «Москва» с моим другом, уезжал с ним в кино, в Иллюзион.

В конце концов и меня и друга из школы выгнали. Казалось, вся жизнь была испорчена, но вышло иначе. Мы оба закончили другие школы, потом и университет, работали в престижных научно-исследовательских институтах. Все это однако радости не приносило — счастье мы испытывали только в те, украденные у школы, пьяные дни отрочества.

Дело в самой геометрии дня. Светлое состояние времени и пространства — день — не терпит никакого насилия. Адам не был создан для работы или любви, а только для свободных прогулок в Эдемском саду.

В ДОНСКОМ

Донской монастырь был островком покоя и чистоты в шумном и грязном фабричном районе. Пройдя под знаменитой розовой колокольней, посетитель оказывался в другом, не московском мире. Кладбищенская тишина нарушалась только шелестом листьев и пением птиц весной и летом. Москва давала о себе знать низким гулом, похожим на шум морского прибоя в пустой раковине.

Я приходил туда весной, когда деревья и кусты только начинали зеленеть и из черной кладбищенской земли вылезали

солнечные одуванчики и небесные фиалки. Поклонившись нескольким знакомым могилам, садился на лавочку, раскладывал на ней акварельную бумагу, перья и тушь. Рисовал надгробья и деревья, наслаждаясь их естественной графичностью. Потихоньку мной завладевало блаженство сосредоточенности — внутренние образы и мысли, эти серые зверьки, превращались в огнекрылых ангелов, и сердце переполнялось чувством полноты и радости жизни. В подобном состоянии я разговаривал с мертвыми обитателями могил, смотревшими с вделанных в каменные надгробья фотографий. Говорил с ними как с живыми, без пиетета или иронии. Рассказывал им что-то, о чем-то спрашивал. И мне казалось, что они отвечают мне моими мыслями.

Вот так сидел я однажды и рисовал, говорил и слушал...

Голову я опустил, внимание сосредоточил на рисунке. Забылся. То, что я увидел, когда оторвался наконец от бумаги и поднял голову, поразило и испугало меня. Рядом с могилами стояли их обитатели. Стояли и молча смотрели на меня.

Одеты были покойники не в лохмотья или саван, а будничнo, как при жизни. Это были не привидения, не духи — а мертвые, в которых проявилась какая-то другая, незнакомая нам форма существования. Я ущипнул себя за руку. Не помогло.

Восковые, застывшие их лица не были изъедены тлением. Глаза, неподвижные, мутные, но не мертвые, а как бы усталые, смотрели на меня с укором. Я не сразу заметил, что у ставших полупрозрачными стен монастыря стояли сотни или тысячи покойников, а за стенами — сотни тысяч. Все они глядели на меня, разрывая мне сердце молчанием и укором. Уж лучше бы бросились на меня...

В изнеможении я закрыл глаза и не открывал их долго длящуюся минуту. И все щипал, щипал себе руки.

Багровые камни перекатывались между зрачками и веками. Уши резала тишина. Когда я открыл глаза, мое кинематографическое видение исчезло.

Дома я рассказал о пережитом бабушке. Она вздохнула и посоветовала мне готовиться к сессии, а не таскаться по кладби-

щам. Вечером, однако, рассказала мне шепотом, что в сталинщину и в самом монастыре и на территориях, примыкающих к нему со стороны крематория, в огромных ямах хоронили замученных на Лубянке людей. Сколько их было — никто не знает.

— Странно, — добавила бабушка. — Я думала, что души неправедно убиенных являются только своим палачам. А они выбрали ребенка, чтобы напомнить о себе. Ведь их убийцы и мучители не только не наказаны, но награждены, пользуются почетом и привилегиями. Многие живут не так далеко от Донского. Их бы и укоряли!

ВСЕ ВЫ СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ

Поехали мы с дедом на вокзал встречать сестру моей бабушки. Вошли в метро «Университет». Спустились. Я уже тогда страдал приступами клаустрофобии, мне казалось, что пространство вдруг сложится как гармошка и раздавит. Поделился своим страхом с дедом — он уверил меня, что инженеры все рассчитали, и все будет хорошо. Подошел поезд. Вошли в вагон, сели на коричневые сиденья. Проехали Метромост, Парк Культуры, Дзержинскую. Вот и Комсомольская. Три вокзала. Поезд опаздывал — пришлось ждать.

Ранний московский зимний вечер, бурый, снежный, влажный. Народу на вокзале — тьма. Носильщики с чемоданами носятся. Все спешат. Люди нервные — толкаются, ругаются, суетятся. Бабки в старомодных синих приталенных полупальто с узлами и баранками тащатся в сторону метро. Броуновское движение.

Стоим мы у какой-то перекладины и ждем, а около нас еще один человек стоит. И толпу разглядывает. Внимательно, как будто в первый раз людей увидел. Маленький такой мужичишко, рыжеватый, лет пятидесяти пяти. Сразу видно — психованный. Дети, как известно, не могут оторвать взгляд от сумасшедших. Я осторожно его наблюдал. Лицо мужичка отражало внутреннюю борьбу, видно было — ему тяжело, его что-то распирает, он едва сдерживает себя. Надо было ему освободить душу от мучительного груза...

Позарез надо.

Наконец, его внутреннее напряжение достигло наивысшей точки — сдерживать себя он больше не мог или не хотел. Мужичок сжал кулачки, изо рта его выступила пена, и он закричал, так громко, как мог, страшными, округлившимися глазами буравя толпу:

— ВСЕ ВЫ ТУТ СТАЛИНСКИЕ УБЛЮДКИ! ВСЕ ВЫ СТАЛИИНСКИЕ УБЛЮДКИ!

И еще раз, еще громче, срывая связки и закатывая глаза. И еще и еще...

Я оцепенел. И толпа замерла. Но только на мгновение. Через секунду все шли дальше, суетились и как будто и не слышали истошных криков. Вскоре появилась милиция. Крики прекратились.

Дед взял меня за руку, мы пошли на перрон.

ДОМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Дом внушал уверенность в незыблемости нашей советской жизни — сталинские архитекторы были магами успокоения. Дремлющий гигант, в пористом теле которого нашли убежище привилегированные птички — профессора университета и их семьи. Мы жили на четвертом этаже, окна и балкон выходили на проспект. В реве автомобилей и скрежете трамваев слышалась какая-то странная мелодия. Московская поэма грохота. Иногда казалось, что с проспекта в наши окна стреляет тяжелыми ядрами линкор — кинотеатр «Прогресс». Солнце закатывалось за метро Университет. Над подземным заводом кружились летающие тарелки...

Зимой запах бензина смешивался с запахом снега, летом — с ароматом цветущих лип.

Я гулял с няней во дворе. Качался на качелях, строил башни из песка. Бормотал что-то про себя. Меня спрашивали — на каком это языке ты говоришь? Я отвечал — на марсианском. Разве вы не знаете, что я марсианин? У меня под пальто — крылышки...

Там же, во дворе, на лавочке, сидела старенькая бабушка. В любую погоду — в сером драповом пальто и в старомодной шляпке с потемневшими искусственными цветами, из-под кото-

рой выбивались седые волосы. Она тоже часто бормотала что-то себе под нос. В ее черных глазах застыл непонятный нам, родившимся после смерти Сталина, ужас. Шести-семилетние дети немилосердно дразнили ее, дёргали за воротник, пытались сорвать и унести шляпку.

Мне не было тогда жалко эту женщину, наоборот, я получал наслаждение от безнаказанности зла.

Когда я, пятидесятилетний обрюзгший нарцисс, встречаюсь на берлинской улице взглядом с молодыми людьми и замечаю в их глазах иррациональную злобу — вспоминаю московскую бабушку в сером драповом пальто. Война поколений, самая безжалостная из всех войн, докатилась и до меня.

…

В широком коридоре нашей квартиры стоял на подставке деревянный телевизор с маленьким экраном и диван. По вечерам там смотрели новости, кино — про войну, спектакль или футбол. Загадочная белая точка перелетала от одной крошечной фигурки к другой. Мне хотелось взять ее пальцами и положить в рот. Попробовать на вкус...

Комната, в которой я жил с мамой и папой, выходила дверью в коридор, и телевизор часто мешал мне заснуть. Я лежал на детской диван-кровати и наблюдал, как ездят по стенам и по потолку полосы желтого света, как поблескивает латунный обод люстры и отсвечивают стекла на книжных полках, как возникают и исчезают таинственные фигуры в темных углах. Я вспоминаю это далекое время, и мне кажется, что я видел тогда в отблесках и отсветах все, что мне пришлось позже пережить и увидеть...

Пытаясь перебороть назойливый шум, доносившийся из коридора, я заворачивался в одеяло с головой и представлял себе Ленинские Горы. Среди синих заснеженных холмов сидит на ледяном троне величественный старец в белых одеждах — Ленин. На его ладонях лежит переливающийся огнями город-кристалл — Москва. Дома — огромные разноцветные стеклянные призмы. Вот четыре башни нашего дома. Вот и наше окно. За тюлевой занавеской — зеленоватый свет от настольной лампы. Отец перелистывает книгу Ферсмана.

Любимой книгой моего детства была — «Элементарная астрономия» Струве. Спиральные и шаровые галактики, голубые гиганты и белые карлики, новые и сверхновые, квазары и черные дыры, кольца Сатурна и красное пятно на Юпитере — привлекали не столько величественностью, красотой, сколько сверхчеловеческим масштабом бытия, гордой внеисторичностью, астрономической вечностью. Моих начальных знаний в математике хватало, чтобы понять, что бесконечно большая массивная вселенная, наполненная мерно летающими звездами, планетами и облаками пыли — это физический абсурд. Не верилось, что Всевышний сотворил скучную, вечно крутящуюся непонятно для чего, светящуюся баранку.

Хотелось найти окна, двери, проходы в нематериальные миры, нащупать места истончения материи, линии недействия законов природы, провалы, проколы, расщепления...

Даже разделенные миллиардами световых лет массы притягивают друг друга, силу их притяжения можно высчитать по простенькой формуле. Т.е. они как бы «знают» о существовании друг друга, влияют друг на друга, пусть и слабо. Может быть, тоже происходит и с людьми? Среди миллионов желтеньких огоньков, покрывающих Землю, я пытался найти мигающую человеческую звезду где-нибудь в Китае или Индии и поведать ей о моем детском одиночестве. И измерить взаимное притяжение...

Светил маленьким фонариком в небо, посылал жителям других миров и времен крохотные фотоны-кораблики. Вот уже пятьдесят лет несутся они в межзвездном пространстве и будут и дальше лететь миллиарды лет... Если не попадут в пасть к маленькой зеленой камнеежке.

ТРИ СМЕРТИ

Между нашим двором и Ленинским проспектом стоял гигантский «Дом с зоомагазином». Об этом доме дети рассказывали страшные вещи — там живет Калина, он пытает детей, засовывает под ногти раскаленные до красна иголки. Мой просвещенный друг Васька авторитетно утверждал: «Калина рвет девкам целку, а мальчикам вбивает в попу кол».

Что такое Калина, я не понимал. Мне представлялся одетый в черное высокий худой маньяк, который схватит своей жилистой рукой за руку, обернет черным пальто и утащит в темную квартиру в Доме с зоомагазином. Там сидят такие же, как он, страшные черные люди, пьяные и шипящие от злобы на нас, хорошо одетых детей из Дома преподавателей, они будут пытать, мучить до смерти. Не только я, все дети нашего двора боялись Калину. Стоило только громко крикнуть: «Калина!»

И все играющие во дворе дети тотчас убегали в свои подъезды, поднимались на два-три этажа и занимали позиции у окон. Пытались разглядеть оттуда Калину. Но Калина не появлялся.

И вот, однажды, пропали два мальчика из нашего дома. Лет шести-семи. Их долго искали, но не нашли. Все дети были напуганы, возбуждены и почему-то радостны. Разумеется, только и разговоров было, что про Калину. Рассказывали, что — мальчики эти «жиды», что — Калина ловит жидов, чтобы их «выморить». Один мой семилетний приятель говорил важно, повторяя услышанное дома: «Давно пора очистить Москву от жидов!»

Кто такие «жиды» я не знал и решил спросить об этом бабушку. Бабушка рассказала, что это бранное слово, обозначающее — «евреи». На мой вопрос, кто такие евреи, бабушка ответила, что это такая национальность и потом почему-то добавила, чтобы я не боялся. Что такое — национальность я спрашивать не стал.

— Я твоего отца во время войны крестила в Томске, — рассказывала бабушка. — Поп тамошний крестил. За кастрюлю супа. Его и меня. Боялись погромов, думали, что немцы будут везде. Поэтому мы — христиане, православные. Но ты обо всем этом лучше никому не говори.

Я и не собирался говорить, потому что почувствовал в тоне бабушкиной речи, редкие для нее, фальшь и замешательство. Долго размышлял над ее словами и пришел к выводу, что мы тоже евреи, жиды и стало быть Калина хочет нас выморить и, поскольку я был единственным ребенком в семье, опасность грозит мне одному. Вспомнилось, как мальчишки из открытых окон соседней школы кричали мне вслед: «Жид, жид, жирный жид идет!»

А я не знал, кого они дразнят. Вспомнилось и круглое, с двумя бородавками на подбородке лицо учительницы второго класса в английской школе номер четыре Александры Ивановны, лицо, вытянувшееся, несмотря на свою округлость, когда на вопрос: «Эпштейн, какой ты национальности?» — я ответил: «Я русский».

— Нет! — прошипела Александра Ивановна. — Ты еврей.

Пропавших мальчиков нашли только через несколько месяцев. Их трупы лежали в заброшенной канализационной шахте. На них не было следов насилия, скорее всего они сами влезли в шахту. Закрыли за собой чугунную крышку, чтобы никто не видел их проделок, спустились по ржавой лестнице, которая под их тяжестью обломилась, и не смогли подняться. Их криков никто не слышал.

Правду про Калину я узнал значительно позже. Мой одноклассник Лебедев, работавший в московском уголовном розыске, нашел в архиве дело о семье Калининых, устроившей в Доме с зоомагазином «малину» для уголовников. О мучении детей или преследовании евреев информации в деле не было.

…

Мой отец утонул в реке Тимптон, притоке Алдана, впадающего в великую сибирскую реку Лену. От меня какое-то время это скрывали, но потом рассказали.

Черное горе. Черное и холодное как вода горной реки. В резиновой лодке был папа и его сотрудник Петр. Лодка налетела на подводный камень и перевернулась. Петру повезло — он оказался около лодки, ухватился за нее и выплыл. Папу отнесло от лодки. Роковую роль в его смерти сыграли резиновые сапоги — они набрались ледяной воды и мешали плыть. Папа кричал: «Петя, я тону!»

Этот предсмертный крик до сих пор звучит в моих ушах. Я вижу белого отца в черной воде. Вода крутит его, несет, бьет головой о камень. Бесчувственный и окоченевший, он уносится в водяной колодец — в подземную реку, где и исчезает навсегда.

Матери сказали позже, что отец не имел права плыть на резиновой лодке по неисследованной реке, что если бы он остался жив, его отдали бы под суд за то, что он неоправданно рисковал своей и чужой жизнью. Так всегда в России — ты всегда сам во всем виноват и от неминуемой расплаты могут спастись только мертвые.

Смерть отца была для меня в каком-то смысле облегченной. Его тело так и не нашли. Отсутствовал труп, отсутствовала и могила. Не было тягостных и ненужных похорон. Поэтому это трагическое событие оставило после себя непроходящую боль, но не ужас. Ужас я впервые испытал, когда увидел труп молодой учительницы нашей школы.

Наша пионерская дружина носила имя замученной фашистами партизанки Зои Космодемьянской. Немцы били девушку ремнями и палками, прижигали ей лицо спичками, заставляли стоять босой на снегу. Затем повесили ее в присутствии всех жителей деревни Петрищево. В новогоднюю ночь солдаты искололи труп Зои штыками. Несмотря на пытки, Зоя не выдала планов командования Красной Армии. Историю эту нам рассказывали на бесчисленных линейках учителя и пионервожатые. Слушать ее мы должны были стоя, не двигаясь. Для моторных детей это было невыносимое мучение. Тело изнывало, начинало болеть, душа мучилась — перед глазами маячила несчастная повешенная партизанка с обнаженной грудью, исколотой штыками. Зверство фашистов с помощью долбящего голоса пионервожатой, похожей на старую девочку, передавалось на нас. Мы чувствовали, как наши тела колют штыки оккупантов. Язык вылезал изо рта, хотелось по-маленькому. Нас призывали проявить бдительность, выстоять, не страшась происков врагов. В такие моменты спасал черный юмор.

— Висит груша, нельзя скушать, — шептал, показывая рукой на изображение повешенной Космодемьянской, мой приятель Пузанов. Высовывал язык, закатывал глаза, театрально дрожал. Дети начинали потихоньку смеяться, кое-кто трясся от нервного хохота. Дело могло бы кончиться взрывом, но тут вожатые включали запись прогрессивного певца Дина Рида, и все начинали петь.

Однажды по школе пронесся слух: «Училка умерла!»

Вот это да. Значит, у кажущейся бесконечной вереницы дней есть конец. Молодая умерла! Значит, умирают не только старые, которым и жить надоело, значит, может умереть мама, значит, могу умереть и я. И не утонуть, не сгореть, не в автокатастрофе,

а просто в больнице. Пролетело и еще одно неприятное словечко — «рак». Боже, что же это за рак, который грызет внутренности человека, откуда он взялся, зачем он?

Прощаться привезли!

Прощаться. А ведь мы эту чужую учительницу и не видели никогда. Жалко, что умерла она, а не Александра Ивановна.

Строиться! Это здорово. Значит, уроков сегодня не будет. Не будет больше кретинических монологов Александры Ивановны, не будет борьбы за дисциплину, придирок, угроз, проработок, не будет мучительного школьного дня. Весь класс идет прощаться с телом, которое выставлено в актовом зале. А после прощания — домой!

На двух учительских столах стоял простой гроб, обложенный искусственными цветами. В зале было тихо. Пахло жутко — какими-то медикаментами, духами и тем самым, что остается от человека, когда душа оставляет тело. Дети и учителя подходили к гробу, смотрели в лицо умершей и уходили. Некоторые учителя целовали мертвую в лоб. Одна женщина (кажется, это была уборщица) даже перекрестилась — в те годы это могло стоить места.

Мы долго ждали. Наконец пришла и моя очередь. Я подошел к гробу. Ноги почему-то стали ватные. Руки вспотели. Вдруг я понял, как трудно оторвать глаза от пола и посмотреть на умершую. Пришлось обхитрить самого себя — посмотреть вначале в окно, на тусклое московское небо, перерезанное ветками деревьев, потом на Пузанова, который, по-видимому, не терялся — он показал мне язык и сделал губами знак — поцелуй, мол, мертвую, тебя вырвет. От покрытого веснушками курносого лица Пузанова я перекинул взгляд на дешевую бахрому, потом на заострившийся нос лежавшей, на не очень плотно закрытые глаза. Не усилившийся невыносимый запах и не плохо гримированный страшный образ долго мучившейся перед смертью покойной поразили меня — меня поразил цвет ее кожи. Она не выглядела как кожа человека — это была не то бумага, не то пергамент. Кожа ящерицы, изъеденная внутри тела сидящими раками. Я едва нашел в себе силы отойти от гроба. Александра Ивановна взяла меня под руку и помогла пройти к классу.

ГОРЯЩАЯ БУМАГА

Я люблю запах горящей бумаги.

Бабушка Аля работала в конструкторском бюро при обсерватории. Приносила домой бракованные линзы, давала мне, и я прожигал ими бумагу. Зимой московское солнце слабое — белая писчая бумага не загоралась, зато покрытая черным шрифтом газета быстро выпускала струйку серого дыма и на месте маленького солнышка образовывалась дырочка, траурные края которой пламенели и расширялись. А летом удавалось зажечь и красивую финскую бумагу, лежавшую на письменном столе. Эту бумагу доставал дед, а использовали ее мои ученые родители для чистовых экземпляров научных работ.

Сгорела как бумага жизнь моей семьи. Сгорела в огне времени, и даже пепла от нее не осталось. Забыты никому не нужные научные статьи. Исчез письменный стол. После смерти отца, мама вышла замуж за отчима. Дед помог нам купить маленькую кооперативную квартиру. Мы переехали. А большую квартиру в Доме преподавателей, в которой я научился прожигать бумагу, разменяли, в ней уже сорок лет живут чужие люди.

Бабушка Аля умерла через два года после моего отъезда за границу, дедушка Миша пережил ее на два года. Бабушка умерла от старости, не дожив месяца до восьмидесятилетия, мучившая ее тридцать лет астма в конце жизни отступила, и смерть взяла ее без боя, во сне. Позже мать говорила мне, что бабушка ушла из жизни добровольно, от тоски по мне.

Ее тело нашла утром домработница, бабушка лежала в спальне, в которой провела четверть века, на своей кровати. На тумбочке лежала пустая упаковка сильного снотворного.

Недавно приснился мне про бабушку сон.

Будто еду я в автобусе по Ломоносовскому проспекту. Проезжаю мимо Дома преподавателей. Во сне дом — в несколько раз больше, чем в действительности — нечто громадное, кристаллическое, темное. Вижу освещенное золотистым светом окно на восьмом этаже. Знаю, в доме никто не живет, люди давно покинули его. Время идет медленно в этом сне. Все мрачно и темно. Вдоль улицы стоят тусклые желтые фонари. Вокруг — силуэты громадных черных зданий, смутно напоминающих Красные дома

за кинотеатром Прогресс. В автобусе стоит почему-то телефонная будка. В ней старомодный телефонный аппарат. Набираю номер бабушкиной квартиры. Бабушка отвечает: «А, это ты, сынок. Я так устала, у меня приступ, ты слышишь, как хрипят мои бронхи? Это злая колдунья Дардуна — она сидит в моем горле и душит меня. Знаешь, все было бы иначе, если бы Гера вернулся тогда. Все было бы так хорошо. Где дедушка? Он обещал сегодня прийти пораньше. Но его все нет. Я лежу одна целую вечность».

Я говорю: «Я зайду к тебе».

Кричу водителю: «Остановите автобус, выпустите меня!»

Но невидимый водитель не слышит меня, автобус едет дальше. В окнах ничего не видно, ни домов, ни фонарей, ни асфальта. Только темное марево.

…

Дедушка Миша умер в дурдоме. Туда его поместила моя тетка Раиса. Якобы после того, как дед ударил ее палкой по лицу. Может быть, Раисе просто неохота было тащить на себе одряхлевшего отца. За границей ее ждала хорошо оплачиваемая работа. Вот она и сдала деда в дурдом. А до этого избила его пожилую любовницу, с которой он собирался в Израиль ехать, в гости к брату. Деду она сказала, что отправляет его в «летний санаторий», чтобы он подписал соответствующие бумаги. Мне тетка написала, что дед умер от кровоизлияния в мозг. Еще она написала, что дед не верил в то, что бабушки нет, и звал меня.

Сколько вечеров мы провели вместе! Сколько раз предоставлялась возможность поговорить — но ни разу дед не использовал ее. Приходил с работы усталый и раздраженный. Взрывался и визжал, если я начинал говорить о политике. Деда не особенно трогали мои мнения. Его раздражала неизбежность моего и бабушкиного присутствия в его квартире. Моего — временного и бабушкиного — пожизненного. Что он хотел? Чтобы капризная больная старуха исчезла из его жизни и ее место заняла здоровая молодая баба с огромной грудью? И да и нет. На поверхностном уровне сознания — да. После девятичасового стресса дед хотел встретить дома уютную, вульгарную бабу, с которой можно после секса и выпивки вместе посмотреть футбол и новости по телевизору без иронических замечаний. С которой можно расслабиться. На более глубоком уровне сознания — нет. Там, в глубине души, все еще жил воспитанник «Анненшуле» из бедной, незадолго до

революции перебравшейся в Петроград провинциальной еврейской семьи. Неопрятный, невоспитанный, с грязными ногтями и плохо пахнущими носками, политически активный мальчик, влюбленный по горло в хрупкую музыкальную девочку из богатой еврейской семьи.

На семьдесят четвертом году жизни у деда начались сильные боли в животе. Вначале он никому об этом не говорил, терпел, злился и рычал на всех, надеялся, что пройдет само. Через полгода боль стала невыносимой. Дед пошел к врачу в Академическую больницу. Ему сделали неприятный анализ — слазили шлангом в зад, осмотрели кишку.

— Вот он! — закричала врачиха.

— Кто? — спросил дед.

— Полип, — ответила врач, прекрасно зная, что это рак. Деда положили в больницу. Он томился в зловещей больничной атмосфере — ему давали обезболивающее и разрешали свободно выходить. Дед бродил часами в парке близлежащего Дворца пионеров, готовился. Один раз я посетил его. В палате мне сказали, что дед гуляет. Я вышел из здания, огляделся, деда не было видно. На газоне перед входом в больницу три вороны клевали голубя. Один глаз ему уже выклевали, из открытого черепа сочилась кровь. Вороны клевали не торопясь, старались попасть в дырку на голове. Голубь пятился от них — ни летать, ни ходить он уже не мог. Вороны давали ему отползти, но потом опять настигали и клевали, клевали, клевали. Я подумал, что судьба могла бы, по крайней мере, избавить человека от таких картинок. Отогнал ворон. Но прикончить голубя у меня не хватило мужества. Пошел искать деда. Издалека видел, как вороны, сделав несколько величественных кругов в высоте, приземлились на газоне рядом с голубем и опять начали клевать. Деда прооперировали. Операция длилась пять часов — и была успешной. Дед прожил еще одиннадцать лет. Рак больше его не беспокоил.

В ту самую ноябрьскую ночь, когда дед умер, мне приснился сон. Мне снилось, что я стою на «кругу», большой цветочной клумбе между Домом преподавателей и мертвым, без машин и людей Ломоносовским проспектом. На кругу нет цветов, все заросло бурьяном. Ветер воет. А в середине круга — топчется мой

дедушка, потерянный и растрепанный как король Лир. В левой руке у деда — белая бумажка. Дед улыбается. Подхожу к нему, беру его за руку. Говорю ему что-то, но дед явно не слышит меня. Смеется, как смеются безумные, показывает беззубый рот. Вырываю из руки деда бумажку — по виду это чек из магазина. На ней напечатано: «Предъявитель сего — слеп».

Смотрю деду в глаза — дедушка действительно слепой, из-под его век сочится бесцветная жидкость.

Тогда, лежа на старой чужой кровати, я заплакал от тоски по нему, по бабушке, по навсегда исчезнувшей Москве моего детства. Но еще через несколько дней меня посетил совсем другой сон и тоже с дедушкой, от которого я долго не мог опомниться. В этом сне дед ласкал меня как женщину и рассказывал непристойные истории. Проснулся я в страшном возбуждении. Сперма брызнула мне на живот. Я вытер ее белой майкой, присланной мамой из Америки. Было темно в узкой, похожей на гроб, не отапливаемой комнате огромной квартиры, которую я после отъезда дочек и жены занимал один. Я встал и подошел к окну. Было шесть часов утра. Еще не рассвело, но во дворе уже началось движение — работники расположенных там мастерских парковали свои машины. Вокруг меня простирался безрадостный индустриальный ландшафт. Полумертвый город К. показывал мне свой гнусный оскал.

АЛЕНА

На следующий день меня посетила Алена. Я не хотел ее приезда, не хотел вообще никого видеть из прошлой жизни — мне было трудно справиться с улицами и домами, не то, что с людьми. Ругал себя: «Зачем ты сказал ей, что приедешь? Сам позвонил, идиот. Теперь жди ее, принимай, она еще рыдать начнет и укорять, потащит тебя в постель, а тебе не до того, и простыни чистой нет и кровать на ладан дышит...»

Приехала. Пришлось идти вниз. Открывать и закрывать бесконечные решетки и железные двери. Пришли наверх. Алена обнимала меня, смеялась и плакала. Я не знал, что сказать. Мы не виделись двенадцать лет.

Посидели в кухне. Я заварил чай, достал хлеб, сыр, купленный уже в Москве зефир в шоколаде, и несколько изящных коробочек конфет из Германии. Поели, попили. Разговор не клеился. Если мужчина не ведет сам диалог с женщиной, то все летит к чертям. Или она начнет что-нибудь неинтересное рассказывать — про свою работу или про детей, или вообще замолчит. Женщину надо ласкать, если не физически, то, по крайней мере, словами.

Алена решила заняться со мной любовью. Пробормотав что-то томное, прижала мою руку к своей мокрой горячей щеке. Разделись мы без спешки, как и полагается пятидесятилетним (ужас!). Легли. Укрылись какими-то гадкими тряпками — настоящего одеяла я так и не нашел. Обнялись.

Алена дрожала то ли от холода, то ли от возбуждения. Я был пуст. Из последних сил боролся с собой. Не хотел быть пассивным и равнодушным. Пытался уговорить себя. Возбудить. Что-то говорил... Кровать под нами подозрительно потрескивала.

Руки ласкали ее против моей воли. Алена не замечала моего состояния и возбуждалась все сильнее. Страсть слепа и глупа. Навязчива. Я лег на нее и проник. Без желания, по инерции. Надеялся, что удастся достичь оргазма без душевного контакта с лежавшей подо мной женщиной.

Со мной это часто случалось. Во время любви я погружался в виртуальные миры, обладающие гораздо большей силой реальности, чем сама реальность.

Совесть твердила: «Ты никогда никого не любил по-настоящему!»

Я пытался обороняться: «Не правда. Любил. И очень страстно. И наслаждался любимой. Но свежая страсть проходила, уступала место чему-то другому, и любовный акт превращался скорее в совместное музицирование, в дуэт, где главное содержание — не ты и не партнер, а нечто третье — музыка, написанная... кем? Кто этот композитор?»

— Ха-ха! — парировала совесть. — Отговорки и увертки. Привык сам себя развращать и даже стыдишься самому себе в

этом признаться. Знаем мы и твоего композитора! Он у тебя между ног болтается! Кретин ты высокопарный и животное.

— Ты груба.

— Я — груба? Может быть, напомнить тебе, какие ты фантазии предпочитаешь?

— Лучше заткнись, и так жить тошно.

Любовный акт продолжался. Алена постанывала. Я совершал любовные движения, но был холоден, ни любовь, ни возбуждение не приходили на помощь. Передо мной стоял образ Москвы — Медузы Горгоны, я так и не оправился от свидания с родиной, был парализован. Не хотелось обижать своим равнодушием Алену. Она не заслужила этого.

Чем противнее было совокупление, тем быстрее я двигался. Хотя почти ничего не чувствовал. Моя подруга дернулась, задрожала, прервала ритм... Открыла свои прекрасные черные глаза. Бешено сжала меня бедрами, дернула головой. Захрипела.

В этот момент проклятая гэдээровская кровать с невыносимым скрежетом и треском сломалась под нами, и мы обрушились в бездну… И приземлились на ее колкие останки.

Удар был силен. У Алены на спине начал наливаться зловещей синевой синяк размером с ладонь. У меня болели колени и локти. Надо было вставать, в комнате было холодно.

Посмеялись, повздыхали. Пошли опять в кухню. Опять пили чай. Доели зефир в шоколаде.

ВСТРЕЧА С ШВАРЦМАНОМ

Впервые я увидел Михаила Матвеевича Шварцмана в 1978 году. Мне было тогда 22 года, я только что закончил мехмат МГУ, работал в научно-исследовательском институте и рисовал каждую свободную минуту. Причем был твердо убежден, что делаю это гениально. Попасть к Шварцману было трудно. Он никого не хотел видеть и принимал только избранных из избранных. У меня нашлись добрые друзья, мне был назначен час, и я приехал

с рюкзаком своих работ в пролетарский район, где в старом пятиэтажном доме недалеко от Кабельного завода жил Шварцман с женой. В коммуналке.

Когда я поднимался по скрипучей грязной лестнице на третий этаж, сердце билось в груди как испуганный щегол в клетке, я чувствовал, что судьба моя изменится раз и навсегда и возврата к прежнему не будет никогда.

Позвонил.

Шаги.

Дверь открыл человек небольшого роста. Черная курчавая борода, курчавые волосы. Лысеющий лоб как бы летящий вверх. Резкие, поразительно живые, смеющиеся глаза. Небольшие руки. Темная рубашка, темные штаны. Темные же сапожки.

— Проходите, сэр!

Боже, что за голос! Низкий, хриплый, играющий. Голос блистательно остроумного человека.

Один только раз он посмотрел на меня (мне показалось, что на меня смотрит херувим с огненными крыльями). Тут меня и осенило. Я сразу понял, что все мои работы — дрянь. Я стоял в замызганном московском коридоре, а через мои зрачки несся поток небесного огня.

Я понял, что сейчас увижу чудо, которое испепелит мою инфантильные идеи, изменит мою серую жизнь. Так и случилось. В большой гостиной Шварцманов я увидел рядами, как на церковном иконостасе, поставленные, доски размером примерно метр на полтора, покрытые странными, таинственными, прекрасными рисунками темперой. Это было так же чудесно, как впервые услышать ноктюрн Шопена, симфонию Малера или увидеть океан...

Излучение его картин и его личности было так велико, что я сразу же заболел лучевой болезнью, от которой излечился только через многие годы. Я долго пытался глупо и безуспешно подражать мастеру, не вникая в его метод, лишь вдохновляясь его формами. Это было мучительно, но стало для меня хорошей школой терпения. Позже я понял, что этот художник парит на недосягаемой высоте, пытаться взлететь туда — означает обжечь слабые крылышки и погибнуть. Я смирился со своим по-

ложением скромного художника без претензий, и мне сразу полегчало. Еще лучше стало, когда я наконец совсем отказался от художеств.

Помню, после года-двух знакомства с мастером, я показал Шварцману свои новые графические работы. Голубоватые эти рисунки мне очень нравились, и я ожидал, что Щварцман их похвалит. Однако мэтр, заметив, что я ему подражаю, пришел в ярость и изругал меня.

— Ищите, Игорь, изо всех сил ищите СВОЕ воплощение! Иерархию не выбирают волевым усилием. Нельзя представляться устами, если ты жопа!

Я, естественно, жопой быть не хотел и смертельно обиделся на мастера, хотя чувствовал, что он прав — нельзя с моим скромным художественным даром даже пытаться нарисовать что-то подобное шварцмановским «ликам» или «иературам». Это, как любил повторять Шварцман, «все равно, что маслом в лужу капать»…

Но душе не прикажешь. Я рисовал, рисовал, рисовал…

Лет двадцать я жил под влиянием этого человека. Мой крест.

На «общих выставках» в галерее на Малой Грузинской улице в Москве, и потом на своих многочисленных персональных выставках в Германии я показывал работы, не откровенно эпигонские (как у Шемякина), но явно сделанные «в чужом воплощении», как сказал бы мастер, которого я последний раз видел еще до начала «перестройки».

Перестал рисовать я после того, как полистал только что изданный в Саксонии, к моему сорокалетию, цветной каталог моих работ. Как-то вдруг мне стало ясно, что я не художник… и никогда им не был… что меня все время влекло что-то другое, а что… не знаю.

Рассказы я начал писать лет через восемь после выхода в свет каталога, когда мне уже было под пятьдесят. Писать я начал без «решения», без «замысла», «без идеи», «без плана» и конечно без апломба, высокомерия…

Писал просто… вроде как мочился… или дышал… или любил.

Помня свою неудачу с художествами, я рассматривал (и рассматриваю до сих пор) свою писанину как второстепенное занятие (первостепенное занятие — это обычная жизнь) и никогда не имел претензии на «литературу», никогда не считал себя «большим» или даже «средним» писателем… Потому что знаю наверно — иерархии в писательстве нет, и «жопа» и «уста» одинаково важны и прекрасны. То, что не напишу я, наверняка напишет кто-то другой. Возможно, значительно лучше.

Так уж вышло, я никогда не искал «свое воплощение», оно само нашло меня…

Только недавно я понял, что Шварцман именно этого и хотел, а грубостью своей пытался вспугнуть бабочку, севшую не на свой цветок.

И я наконец примирился с этим давно умершим, но все еще «огнекрылым» человеком, открывшим мне глаза на мир одним своим появлением на грязной советской лестнице.

СТЕНА СТРАХА

Воздушная линия МГУ — Кремль это главная ось Москвы. Вокруг нее вертится ее история.

По этой линии пролетел спасший меня от армии немецкий летчик-безумец Матиас Руст, приземлившийся недалеко от Красной площади.

Пришла ко мне повестка из райвоенкомата. В ней предлагалось «прибыть с вещами». Приехал я в «брежневский» военкомат. Без вещей, конечно. На разведку. С улицы — здание как здание. А внутри — разруха. Бумаги валяются, двери и окна открыты, сквозняк. Людей не видно. Чудеса! Выскочил откуда-то офицерик. Расхристанный весь, глаза сумасшедшие.

— Тебе чего тут нужно?

— Ничего, — отвечаю. — У меня повестка.

Он посмотрел на повестку, на меня, и покраснел от злости. А потом заорал: «Пошел к едреной матери!»

Долго ждать я себя не заставил. Больше я дел с военкоматом не имел — обо мне забыли. А крик взбешенного моей бестактно-

стью офицера (приперся с повесткой в ТАКОЕ время — все высшее военное начальство поснимал Горбач!) стал последним напутствием родины.

Добившись, после долгой унизительной борьбы с бюрократией, немецкого гражданства, я отослал старый паспорт и военный билет в российское консульство. Понюхал документы на прощанье. Ощутил знакомый кислый запах советской казенной бумаги. Защемило сердце.

Разрезал на всякий случай конторскими ножницами и паспорт, и военный билет пополам. Мало ли чего. Так вернее.

…

В тридцатые годы на месте взорванного храма Христа Спасителя планировали построить гигантский Дворец Советов. Согласно одному из проектов на его верхушке, на четырехсотметровой высоте, должен был стоять двадцатиметровый истукан — Ленин. Его вытянутая рука должна была указывать на Ленинские горы, на верхушку другого, соразмерного, здания, увенчанного другим кумиром — Сталиным, указывающим на Ленина металлическим перстом. Большевики хотели заколдовать московское пространство — взгляд совка должен был по их идее метаться от одного вождя к другому. В головах Сталина и Ленина должны были находиться специальные кабинеты, в которых раз в год разрешалось бы заниматься «всепобеждающим учением Маркса-Ленина-Сталина» сталинским и ленинским стипендиатам.

Жаль, что этот проект не осуществился. Сейчас можно было бы на место Ленина и Сталина поставить статуи П., политического лилипута, изо всех сил старающегося выглядеть великаном.

На месте взорванного храма построили бассейн «Москва», а на Ленинских горах гостиницу, которую, по ходу дела переделали в МГУ. Строили его, как и все остальные высотные здания Москвы — заключенные.

А про бассейн во времена моего детства рассказывали, что там, под водой, религиозные фанатики-изуверы режут детей. Из мести за взорванный храм. Этот вздор рассказывал мне дедушка, по опыту знавший, что в России все возможно. Его самого, например, чуть не убили в маленьком городке под Ленинградом во

время еврейского погрома, произошедшего там в тридцатые годы. Его пощадили, признав в нем игрока одной из популярных футбольных команд. Во времена преследования «врачей-убийц» уже вышвырнутый из партии дед чудом избежал ареста — предупрежденный друзьями, уехал в Сибирь. Вернулся в Москву в 1954 году.

Помню, как на меня посмотрели коллеги, когда я предложил на институтском собрании молодых ученых перенести главное советское торжество с 7 ноября на 5 марта и назвать его всесоюзным днем радости или НПС (Наконец Подох Сталин). Тогда мне впервые официально пригрозили психушкой... Я ответил — праздник можно сделать переходящим...

…

Я поступил на механико-математический факультет МГУ в 1973 году. Гордиться было особенно нечем — все мои талантливые одноклассники-евреи не поступили. А я — посредственный математик, полуеврей, сменивший при получении паспорта еврейскую фамилию отца на русскую фамилию матери — поступил, и мне было стыдно. Но я забыл стыд, попав после экзаменов в студенческий лагерь в Пицунде. Раздетые девушки, теплое море, абхазское вино Псоу и пять прозрачных плиток времени — пять предстоящих лет студенчества, отвлекли меня от тягостных размышлений.

В математику и механику я на мехмате не вникал. Гораздо интереснее, чем учиться, было глядеть в окошко, пускать бумажных голубков с головокружительной высоты и строить воздушные замки. Или вообще удрать с лекций и гулять по переулкам Арбата или Замоскворечья... Зайти в Пушкинский к Кранаху и Рембрандту, в Третьяковку — к Врубелю и Рублеву, выпить коктейль в кафе «Космос» на улице Горького под музыку группы Slade, а вечером послушать симфонию Шостаковича в Большом зале консерватории. Еще лучше — никуда не ходить, а целоваться с милой подружкой в университетском парке и рассказывать ей всякие небылицы, а вечером напиться в компании милых друзей.

Так я и жил, о будущем не думал, и уж конечно, никогда бы не поверил, если бы какой-либо паршивый пророк предсказал, что наша «великая советская родина» исчезнет как дым, а я стану эмигрантом.

Кстати, евреи, не поступившие тогда в МГУ, поступили в другие, непрестижные московские вузы, а затем уехали за границу. Им было ясно, что будущего в стране советов у них не будет. Они не тратили время зря. Сделали карьеру, получили то, что хотели, стали тем, кем хотели стать. Т.е. в результате — выиграли.

Московская жизнь в 70–80-х годах была безнадежным ожиданием прихода какого-то нового эона или, как нас учили преподаватели марксисткой философии, «смены общественно-исторической формации». Наша страна представлялась нам огромным лагерем, окруженным минными полями и стенами из колючей проволоки.

О Западе мы судили по кино. Приехав в Германию, я ожидал увидеть надорванных людей Фассбиндера, попав в Нью-Йорк, надеялся встретиться с подростками из «Вестсайдской истории», в Риме невольно искал персонажей «Сладкой Жизни» Феллини, на Аляске — «Белого клыка», а в Испании — обаятельную буржуазию Бунюэля...

Заграничную жизнь мы представляли себе примерно так, как Ленин — коммунизм. Полагали, что тамошняя жизнь это жизнь тутошняя плюс свобода, богатство, кадиллаки, кока-кола. Мы догадывались, что западные люди в своем разумном государственном устройстве ушли так далеко вперед, что догнать их нам невозможно. Догадывались, но не расстраивались... Потому что были твердо убеждены, что в гуманитарном развитии, мы впереди. Принимали относительную юность русской духовной культуры за ее силу.

Широко пользуясь преимуществами советского режима и соблюдая внешне его обрядность, внутренне мы, как могли, ему сопротивлялись. Самое трудное было — не бояться.

Жизнь наша была легка, гораздо легче, чем ее представляют себе западные люди. Многое нас не тревожило. Например, о деньгах мы не заботились, — почти все честные люди были бедны. Недвижимости и частной собственности практически не существовало, автомобили были недоступны, да и не нужны, по-

тому что в Москве есть метро, путешествия за границу были разрешены за небольшим исключением только жополизам и шпионам, хорошие шмотки были слишком дороги. Питались мы более чем скромно. Почему-то запомнилось, что в ноябре-декабре 1980, олимпийского, мерзчайшего года, мы с женой так и не смогли купить ни мяса, ни колбасы, ни сыра, ни шампанского для празднования Нового года, но не горевали, сварили и съели рис с майонезом, выпили водки, потанцевали и легли спать.

…

Неуехавшие попадали в эмиграцию внутреннюю. Желание сохранить индивидуальность и хотя бы половинчатую свободу в недрах тоталитарного государства загоняло в угол все той же пресловутой духовности — «духовки». Она компенсировала нам уродливо обедненное повседневное существование, отсутствие нормальной экономической, политической и культурной жизни.

Мы причисляли себя к избранным, хотя были всего лишь хорошо описанными в русской литературе «лишними людьми». Мы упорно пытались идти по путям, перпендикулярным к генеральной линии советской жизни. Писали стихи, ходили в церковь, рисовали, изучали восточные языки... К сожалению, настоящим поэтом, художником или православным невозможно стать, убегая от жизни. Опасно принимать лепет отравленного веселящим газом за экстаз посвященного. Концентрированная, почерпнутая из книг, протестная духовность портила здоровье. Многие скисли, устали, спились. Не дотянули и до сорока. Некоторые превратились в националистов, государственников, религиозных фанатиков.

Почти все страдали манией величия.

…

После университета я работал в НИИ. Работу эту я не любил, она вызывала во мне экзистенциальную тошноту. Каждое утро нужно было тащиться в институт. Жена вела плачущую дочку в детский сад. Я выходил из дома с тяжелым чувством бессмысленности жизни. В автобус не всегда удавалось втиснуться.

Иногда я читал в автобусе молитвы. Зажатый как кусок жира в колбасе со всех сторон пассажирами, старался смотреть

на мир сквозь маленькие моим или чьим-то дыханием оттаянные оконца в огромных покрытых льдом и инеем окнах икаруса. Там плясали пятна света, причудливые тени убегали назад. Странное черно-белое кино пробуждало к жизни поток ассоциаций, который я пытался загнать в разумное русло... И использовать его энергию для завоевания мистических просторов. И это удавалось — христианские анахореты, после долгих лет борьбы с искушениями достигавшие просветления, были бы неприятно удивлены, узнав, что блаженного общения с высшими сущностями мира можно достичь не только в египетской или сирийской пещере, но и в переполненном обозленными людьми московском автобусе, несущемся сквозь снежные вихри по кольцевой дороге.

Я читал молитвы, и вкрапленный в старославянский язык мед услащал горечь жизни, внутренний огонь переставал жечь и превращался в свет, ясеневский автобус преображался в метафизический транспорт и вез меня уже не от дома к метро, а от внутреннего хаоса — к внутреннему миру, к чудесной ясности. Временные эпохи сдвигались, сближались. Реальность развитого социализма нехотя уступала место кумранским ландшафтам. Я видел ослепительное небо, фиолетово-синее Мертвое море, желтые каменистые холмы с дырками пещер и провалами в преисподнюю, козью тропку между скал. По этой тропинке шел, почти не касаясь земли, Учитель праведности в белой одежде, за ним карабкались ученики, женщины с больными детьми на спинах, бездомные и юродивые... К этой группе пристраивался и я... Бил ногой валяющиеся повсюду камешки, пугал ящериц. Впереди мелькала белая фигура, я слышал звук шагов и тихое пение, ощущал щеками движение теплого воздуха.

Из автобуса я выходил преображенным... Но уже через несколько минут превращался в московского дьявола. Спускался в адскую пасть метро.

Метро не только ломало кости, испытывало на выносливость сердечную мышцу, но и убивало душу. Грохотом, теснотой, запахами, вынужденной близостью с чужими ненавистными людьми.

После метро — автобус, троллейбус.

И вот, я прохожу помпезную колоннаду, открываю тяжелую дверь и вхожу в здание института. Показываю пропуск, поднимаюсь на третий этаж и попадаю в «лабораторию».

Атмосфера в лаборатории была терпимой только до тех пор, пока не начинались дрязги, порождаемые постоянной борьбой за лидерство альфа-самцов. Или завистью дам. Липкина купила новые сапожки. Митькин получил премию на десятку больше, чем я. А он, между прочим, на овощебазу не ездил. И частушки пел... Просыпаюсь утром рано, нет Луиса Корвалана...

Или завлаб начинал демонстрировать свою власть. Или придурок-парторг. Или профорг. Ответственный за технику безопасности. Главный инженер. Научный руководитель. Замдиректора. Табельщица. Все эти рогатые крупные звери могли запросто забодать... отравить жизнь младшему научному сотруднику. И они бодали и отравляли.

Я пытался ни во что не вмешиваться, делать необходимое и вести себя тихо. Из себя меня выводило отвратительное подпевание советской пропаганде, которому с непонятным упоением холуйства предавались мои коллеги, независимо от своего положения и интеллектуального уровня. Когда сбили корейский самолет и погибли две с половиной сотни невинных людей, я был единственным участником чайной дискуссии, не поверившим, что Боинг-747 выполнял шпионское задание. Гомосоветикусы думали то, что им внушали, даже когда факты очевидно опровергали пропаганду. Переспорить их было невозможно. Когда советские пограничники расстреляли с вертолетов на замерзшем Беринговом проливе десятитысячное стадо оленей, которое наши чукчи решили перегнать чукчам американским, я никого не смог убедить в том, что это преступление. Мне отвечали — все равно мы этих оленей больше бы не увидели. К людям они относились еще хуже, чем к оленям.

Я не мог сдержать эмоций и говорил, что думал. За это на меня злились, обносили пирогом. Мне не нужно было их пирогов — я хотел только, чтобы меня не заставляли тупо отсиживать часы, когда работы не было.

Среди моих коллег были мастера ничегонеделания, достигшие в этом ежедневно практикуемом ремесле совершенства. Один, например, научился спать с открытыми глазами, а дру-

гая — читать, делая вид, что печатает на машинке. Я же бесился, сгорал... Моя дневная жизнь начиналась только после того, как я возвращался домой и брал в руки кисть или книгу.

Я жил, как и многие другие — двойной жизнью.

Из-за непрекращающегося давления советской системы на человека в его сознании образовалась стена. Она отделяла официальную жизнь от частной. Сооружена стена была из крепчайшего, крепче алмаза, материала — из страхов и ужасов. В ней не было пропускных пунктов.

Упрощенно ее можно представить как круг. Внутри круга — цвет зеленый, там человек живет, отдыхает, общается с семьей и друзьями и говорит правду. Вне этого круга — цвет красный, это зона казенная, зона лжи. Тут, чтобы выжить, надо лгать и изворачиваться, интриговать, отвечать ударом на удар, подсиживать, доносить, пожирать противников.

Это был, конечно, не один круг, а множество кругов, петель и всяческих загогулин, настоящий лабиринт, в котором металось бедное совковое «я».

Я пытался изобразить на бумаге подобные — карты сознания, линии на моей графике советского периода — это стены, цвета — оттенки страха и отчаянья.

...

Пошел я однажды на демонстрацию.

Собирались идти на Красную площадь, где на Мавзолее должно было стоять руководство СССР. Вдохновленные перестроечным духом граждане хотели продемонстрировать солидарность с Прибалтикой, рвущейся вон из СССР. Местом сбора была площадь напротив входа в Парк имени Горького.

От Ленинского проспекта до самой середины Крымского моста стояли люди. Над толпой реяли флаги. Гигантские желто-голубые знамена украинских националистов, черные полотнища анархистов. Были и русские националисты и еще кто-то. Но в большинстве своем в толпе стояли, переминаясь с ноги на ногу, ёжась от ледяного ветра — представители интеллигенции, для которых свобода и независимость Прибалтики была символом собственной свободы и независимости — от них. Советский

строй надоел, осточертел, как детям в пионерских лагерях осточертевала прогорклая перловая каша. Неодолимо влекло будущее. Тогда, в конце зимы 90-го, нам казалось, что история страны зависит от нашего мужества.

За несколько недель до проведения демонстрации телевидение начало кампанию запугивания потенциальных демонстрантов. Распускались слухи, что КГБ организует провокации для оправдания применения насильственных действий, цель которых запугать страну — для решительного поворота назад.

Тронулись. Толпа скандировала: «СВОБОДУ ПРИБАЛТИКЕ! ДОЛОЙ ПОЛИТБЮРО! СВОБОДУ! СВОБОДУ!»

Какое же это счастье, после годов молчания — не говорить, а орать то, что думаешь! И не в одиночке тюрьмы или психушки, и не в подушку, а на улице своего города, среди своего народа, в котором впервые видишь не злобное стадо, а собрание свободных людей, объединенных альтруистической идеей. Какие хорошие лица вокруг. Почему я раньше не замечал, что в Москве живет столько замечательных, светлых людей!

Подошли к Красной площади. Вышли на середину. И сразу увидели злобное лицо Горбачева, почти до носа закрытое шляпой и высокомерно-брезгливые лица других членов политбюро на мавзолее. И солдат на крыше ГУМа. И их пулеметы, больше похожие на пушки. В кого же они собирались стрелять?

ЗВЕЗДА
(для радио RFI)

Четыре предрождественские недели в Германии (называемые «адвентцайт») — веселое, шумное и суетливое время.

В это время работают специальные рождественские ярмарки или базары.

На рыночной площади рядом с городской церковью устанавливается украшенная однотонными огнями елка. Выстраиваются рядами открытые киоски, зажигается разноцветная иллюминация. Для детей устраиваются карусели, запрягаются ослики и пони, строится железная дорога, способная провести по

кругу пару дюжин малышей с бабушками и мамами. Вдоль дороги стоят приветливые снеговики и искусственные деревца. На их ветках сидят пестрые птицы. На стволах — реклама кока-колы.

Сладости продаются в каждом втором киоске. Мятные, медовые и другие пряники всех размеров, с вензелями и надписями, сахарная вата, покрытые сладкой глазурью жареные орехи, дрезденские Штоллен — круглые плотные пирожные из дрожжевого теста с изюмом и корицей, усыпанные сахарной пудрой; жареные каштаны, фрукты в шоколаде, картофельные оладьи, сладкие блины с взбитыми сливками, суп-гуляш в котелках из темного хлеба, бутерброды с сыром и помидорами, багеты с чесноком, бретцели, печенье… На огромных решетках жарятся сотни различных сосисок и колбасок — от маленьких, белых баварских, до полуметровых гигантов красного мясного цвета.

В круглых бронзовых сковородках тушатся шампиньоны, в специальных печах запекаются экзотические лазаньи. Все это обильно запивается душистым глинтвейном, пуншем или крепким пивом «Рождественский козел», перебрав которого можно заблеять и заскакать…

Тем не менее, пьяных я за свои двадцать немецких лет, на рождественских базарах не встречал, зато видел много счастливых детских лиц, и еще больше — с удивительным аппетитом, как будто после долгого поста, жующих и пьющих бюргеров…

Ассортимент несъедобных товаров, продаваемых и, о чудо, активно покупаемых на рождественских базарах включает: желтые, оранжевые и красные, бумажные и пластиковые, колющие во все стороны лучами рождественские звезды, подвесные шлифованные хрустальные кристаллы, в самые невероятные формы отлитое мыло, не менее невероятных форм свечи, свечи-драконы, мадонны, волхвы, дьяволы, симпсоны, елки, черепа, будды, белочки, свечи-рыбки и свечи-птицы, чудесные елочные игрушки ручной работы из тонкого стекла, разноцветные шары всех видов, глиняные, курящиеся ароматами домики, модели церквей, деревянные, точеные по частям на станках и расписанные фигурки из Рудных гор — щелкунчики, ангелы, ремесленники, шахтеры, керамику и фарфор всех видов, разнообразную

цветную пластику, крутящиеся настольные рождественские пирамиды размером от нескольких сантиметров до полутора метров, трикотажные изделия, вязаные носки, шапочки... Все это покупается для подарков, дарить которые принято в Германии в рождественский сочельник.

Поневоле спрашиваю себя — что же осталось тут от великого праздника явления Сына Божьего в мир? От дня рождения еврейского младенца из семьи плотника, распятого при Понтийском Пилате?

Увы, розовые упитанные ангелочки и незаконнорожденные потомки Николы Чудотворца, Вайнахтсманы, родные братья русских Дедов Морозов и американских Санта Клаусов — вытеснили того Младенца не только с рождественских открыток, украшений и всевозможных декораций, от уличных до интернетовских, но, похоже, и из умов. Вытеснили и кроткого Иосифа и таинственных волхвов и даже саму, разрешившуюся от бремени в ту зимнюю ночь, Богородицу.

Почему же, несмотря на запрограммированное разочарование и эстетическое возмущение, я каждый год по крайней мере один раз хожу на рождественский базар, хотя давно не ем сосиски и сахарную вату, не пью пива и глинтвейна и не покупаю подарки?

Может быть, потому что над киосками с сувенирами, над дымящимися жаровням и каруселями все еще надеюсь увидеть горящую Вифлеемскую звезду…

Пусть и электрическую.

ПЕДОФИЛИЯ

Сейчас все говорят о закрытии фотовыставки Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер в Москве. Мизулина назвала эту невинную выставку «пропагандой педофилии».

Посмотрел я на фото этой дамы… Мизулиной... и неожиданно вспомнил то, что трижды случалось со мной, во время моей скромной выставочной карьеры...

Была у меня выставка в Дрездене, в конце 90-х годов. В Кройцкирхе.

Это колоссальная церковь, которая, кажется, пережила бомбардировку с небольшими потерями. Там был отделенный от основного пространства зал — как войдешь, налево — специально для художественных выставок. Развесил я свою графику, прошло открытие, все вроде хорошо, меня похвалили...

А потом, дня через три, звонит мне ответственный — интендант или викарий — не помню — и говорит: «У нас из-за ваших работ скандал».

— Какой, — говорю, — скандал?

— Скандал. У вас там «Ангел» нарисован с грудями. Верующие возмущаются, говорят, у ангела не может быть грудей! Они бесполые. Мы сняли эту работу.

— Уже сняли? Быстро вы реагируете на пожелания трудящихся! Кстати, вот, к примеру, архангел Гавриил — он явно мужчина, стало быть, под одеяниями — у него член и яйца. Вы заметили, что все библейские ангелы — мужчины? А мне хотелось нарисовать ангела-женщину, чтобы не было дискриминации... надо было так объяснить вашим верующим...

— Если бы я начал что-то объяснять, выставку бы закрыли!

...

Другой случай произошел примерно в это же время в Доме актера города К..

Там огромное фойе. В этом фойе я показывал большую выставку графики. Работы были до полутора метров высоты. Был там и «портрет» еврея, изможденный такой был аид. Измученный жизнью и судьбой.

А в названии стояло что-то вроде «в память об Аушвице».

И опять — на открытии, где публика художественная, никто мне слова не сказал, аплодировали, цветы дарили, а потом...

Звонит мне организатор и предлагает через час прибыть в дирекцию Дома актера. Я естественно о плохом не думал, а ре-

шил, что они хотят мою картину купить, и уже начал было размышлять о том, как на эти деньги душевую отремонтирую... красок накуплю... и черешни…

Встречает меня директор, сам бывший драматический актер... Мефистофеля играл... и говорит: «К нам поступило коллективное письмо от публики. В нем утверждается, что вы издеваетесь над жертвами Аушвица».

Я опешил. К такому повороту дела готов не был. Начал что-то лепетать...

— Что вы? Я не издеваюсь... В нашей семье тоже есть погибшие...

Но смягчить Мефистофеля мне не удалось. Работу мне пришлось снимать самому. Кажется, даже две, так что в графическом ряду образовались прорехи.

Вроде как выбитые зубы.

А третий случай, смешной, произошел еще в доперестроечную эпоху, в СССР примерно в 1983-м году.

В Москве тогда, несмотря на закрученные в андроповщину гайки, регулярно устраивались «общие» осенне-весенние выставки «художников-нонконформистов» в подвале дома на Малой Грузинской улице, где еще несколько лет до этого жил Высоцкий, где он, к слову говоря, и умер от переохлаждения на балконе, куда его после того, как он напился и стал буен, якобы положили, связанного, друзья.

Выставки эти были московским начальством разрешены, но не одобрены, в газетах о них писали редко... Клеймили, осуждали...

Но очереди на вход были длиннющие — километровые.

Я показывал на них по две-три работы (приходилось каждый раз проходить специальную комиссию).

И вот... и тут после открытия выставки... вызывает меня к себе тамошний шеф Дробицкий по кличке «Дробила». Здоровенный такой мужик в прямоугольных очках.

— Слушай, — говорит. — Чего это у тебя за знаки на картинах нарисованы? Каббала? Или по-еврейски что-то?

— Что вы, какая такая Каббала? И по-еврейски я не умею.

— Тут ко мне группа зрителей обратилась. Утверждают, что знаки твои — антисоветские, могут как-то навредить… социалистическому строительству...

— Навредить? Строительству? Вы что...

— Ты рожу обиженную не строй, а садись и пиши объяснительную записку. Вот бумага. Диктую. Я такой-то, такой-то, проживающий там-то и там-то, телефон напиши, удостоверяю, что на моих картинах, выставленных в залах московского Горкома графиков — нет никакой непозволительной религиозной символики, нет каббалистических знаков или других вредоносных изображений, способных причинить урон… хм… нашей социалистической родине. И подпись поставь. Да не лыбься ты! Лыбятся все, шутки шуткуют... а мне потом — расхлебывать ваше дерьмо! Не понимаешь, с кем дело имеешь! Представитель горкома партии меня спрашивал... Он может и выставку закрыть из-за твоих каракулей... 300 человек пострадают...

Я бумагу написал и подписал.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭМИГРАЦИИ

(отрывки из интервью)

Решение об отъезде из СССР, принятое мной в феврале 1990 года, не было мимолетным капризом, оно было реакцией на страшные удары и бесконечные маленькие гадости, которыми наша советская Родина щедро одаривала и меня и других своих граждан.

Первым таким ударом, в буквальном смысле перебившем мне и многим другим молодым людям дыхание, был разгон летом 1971 года знаменитой московской «математической, с литературным уклоном», Второй школы, в которой я тогда учился, закончил как раз восьмой класс. Об этой школе, точнее — об этом островке свободы в советском океане лжи и подлости — написаны бесчисленные воспоминания выпускников и бывших учителей, разбросанных по всему свету, издано несколько книг. Поэтому я не буду распространяться, замечу только, что я никогда ни до своих неполных трех лет во Второй школе, ни после не встречал стольких умных, свободных, творческих людей как там. Мехмат МГУ, где я учился, казался после Второй школы — замшелым захолустьем. В институте, в котором я после мехмата десять лет сидел, работали, конечно, умные люди, талантливые, остро думающие ученые, но затхлая атмосфера госучреждения и страх за собственную судьбу и карьеру заставляли их забиваться в норы, превращали их в подобострастных совков, рабов начальства и государства, проповедников злобного советского обскурантизма. В Германии я познакомился с различными людьми. Встречались среди них и таланты и умницы, но второшкольники мне были роднее и ближе... Может быть потому, что среди них преобладали интеллигентные евреи, полуевреи или люди, находящиеся в родственных или дружеских связях с евреями, а в Германии таких людей по известным причинам нет.

В Москве-Ленинграде конца шестидесятых, начала семидесятых существовал неформальный еврейский культурный круг. Что-то вроде живого интернета. В этот круг входили не только евреи и ивановы-по-матери, но и тысячи их друзей и знакомых. Этот круг был хранилищем и распространителем знаний и культуры. Он вбирал в себя все хорошее, что тогда создавалось, писалось, снималось и щедро делился этим со своими людьми. На симфоническом концерте в консерватории, на показе фильмов Феллини в «Иллюзионе», на встрече с Роланом Быковым или Тарковским, на защите докторской диссертации по математике или лингвистике — везде присутствовали представители этого сообщества. Они же читали каждую заслуживающую внимания книгу, слушали иностранные «голоса», ходили на лучшие концерты, присутствовали на процессах против диссидентов — и вот уже по телефону или «по кухонным каналам» неслась проверенная и критически осознанная информация. Привлекалось внимание. Создавалось культурное пространство.

Одним из генераторов этого пространства и была Вторая школа. Она воспитывала самостоятельно думающих, умеющих учиться и читать тексты творческих людей, будущих ученых. Процент евреев-учеников и педагогов в ней был велик. За это ее и ненавидели советские начальники. Вначале в школу послали комиссию, потом сняли директора — Овчинникова и разогнали учителей. Ученики ушли сами.

Ушли мои любимые учителя. Наш класс опустел. Ушла и девочка, в которую я был влюблен. Мне больше ходить в школу не хотелось. Вместо того, чтобы идти на уроки, я с моим другом Женькой ехал в кинотеатр «Иллюзион» и смотрел там американские комедии тридцатых годов. После кино мы гуляли по тогда еще пустой Москве, ели мороженое и болтали... Расставшись с Женей у Октябрьской площади, я уходил бродить по переулкам Замоскворечья или ехал на Арбат, в Дом Книги, или заходил в Пушкинский музей.

Тогда, во время этих одиноких прогулок по Москве и по музейным залам я впервые ощутил странное блаженное чувство отторгнутости от «правильной» жизни, от коллектива, от общества, от моей безумной страны, безнадежно отравленной советчиной.

Это и было началом эмиграции. Вначале — внутренней, а после переросшей в настоящую.

К сожалению, этим первым ударом дело не ограничилось. После него последовали и другие. Один другого тяжелее.

Грянул Чернобыль. Утонул «Нахимов». Горбачев попытался оживить труп — перестройкой, а когда не вышло — попробовал было грубой силой скрепить разваливающийся СССР. В 90-м году стало ясно, что мы все стоим на краю пропасти. В магазинах пропали те немногие продукты, которые еще там были. Социальная духота предвещала бурю. Пора было уезжать.

...

Я приехал в Дрезден в конце сентября 1990 года по туристическому приглашению. Виза была мне открыта на две недели. После посещения Западного Берлина я твердо решил никогда не возвращаться на родину. О том, что в Германии можно остаться по «еврейской линии», я и понятия не имел.

Я, конечно, мог пойти в полицию и попросить на общих основаниях политического убежища. Чутье однако подсказывало мне — не ходи, ничего хорошего из этого не выйдет.

Был и другой путь — поехать во франкфуртский аэропорт, найти там каких-нибудь представителей израильского Сахнута, и заявить им, что хочу в Израиль. Они бы, полагаю, тут же меня отправили в Землю Обетованную. От этого шага меня удержали страхи. Не смейтесь, пожалуйста! Я боялся жары и языка иврит. Не хотел быть пушечным мясом. Как еврей по отцу я справедливо полагал, что стопроцентные аиды мне об этой моей половинчатости не раз злорадно напомнят. Да еще и арабы вокруг, и армейская служба. И жара, жара, жара... Надо было остаться в милой цивилизованной Европе, только как?

Помог, как всегда, случай. Гулял я по еврейскому кладбищу в Дрездене. Ни на что уже не надеялся. И вот, подходит ко мне маленькая такая старушка, смотрит в мою мрачную харю своими молодыми голубыми глазами, улыбается и говорит мне по-английски: «Вы еврей из СССР?»

— Да.

— Почему вы такой мрачный, что-нибудь случилось?

— Не хочу возвращаться домой.

— Поезжайте в Израиль, там здорово. Представляете, даже водопроводчики и таксисты там евреи!

— Это конечно обнадеживает, но там жарко. Я хочу жить тут, в Германии.

— Понимаю. Тогда вам надо поехать в Берлин и найти еврейскую общину на Ораниенбургерштрассе. Там вам помогут остаться. Спешите, дверка может и захлопнуться.

Я как мог, на плохом английском, поблагодарил мою спасительницу и на следующий же день на последние деньги отправился со своим маленьким рюкзачком в Берлин. Нашел общину. Там со мной говорила какая-то циничная тетка из наших. Тетка была, по-видимому, давно и хорошо в Германии устроена, поэтому на меня она смотрела не без отвращения, особенно ее возмущали моя засаленная анапская матросская фуражка с золотой кокардой в виде краба, подаренная мне две недели назад одним симпатичным рыбаком, и мои, анапские же, коричневые сандалии (сандалии и меня самого приводили в ужас, и не только сандалии, но и зеленоватая курточка с вышитой на рукаве надписью «Мосэнерго» и жёваные брюки и застиранная белая майка, но денег на покупку новой обуви и одежды у меня не было), но дело свое сделала, написала мне адрес на листочке и сказала: «Идите сейчас же туда, там с двух часов таких как вы принимает фрау Шмидт, она поговорит с вами и решит вашу судьбу».

Я поспешил по указанному адресу. Длинное казенное здание находилось где-то за улицей Унтер-ден-Линден. Я поднялся на второй этаж и попал в пустынный коридор, залитый светом. Нашел указанную мне комнату. Постучал. Вошел. И тут же мне захотелось уйти, пропасть, испариться.

В огромной пустой зале стоял стол, за ним сидели двое: импозантная женщина в светлой вязаной кофточке и мужчина в черном. Перед столом стоял стул — на него меня жестами пригласили сесть. А вокруг стола стояли люди с камерами и прожекторами. Много людей. Человек тридцать. Как мне потом сообщили, это были телевизионщики, которым дали задание — показать типичного еврейского беженца из СССР.

Что делать? Ко всему этому я подготовлен не был. Никаких интервью сроду не давал. Людей с камерами побаивался. Какой-то чёрт в голове шепнул мне доверительно: «Да наплюй на все! Вся твоя жизнь — дурацкая комедия. Плыви по течению и наслаждайся представлением. Изменить ты все равно ничего не можешь».

Я послушался чёрта и сел на стул перед столом. На меня смотрело много незнакомых людей (мне казалось — вся Германия), в лицо светили яркие, шипящие как змеи, лампы, я был оглушен, смущен, фуражку с крабом положил на колени.

Говорила со мной женщина — фрау профессор Шмидт. По-русски. Мужчине она мои слова переводила шепотом почему-то на английский. Как-то чувствовалось, что главный тут — именно он, этот черный человек. Хотя фрау Шмидт много лет преподавала русский язык в ...ом университете, говорила она неважно, а понимала и того хуже. Но была доброжелательной и спокойной. Говорили мы минут сорок.

Беседа наша записывалась телевизионщиками. Через две недели, когда я уже жил в лагере Глаухау, мое интервью показали по ZDF. Мои солагерники хмыкали. А я сгорал со стыда.

Вначале профессорша внимательно изучила мое свидетельство о рождении и мой внутренний советский паспорт. Потом спросила торжественно: «Господин Шестков, почему вы хотите остаться жить в Германии?»

Камеры и микрофоны впились в меня как скорпионы.

— Потому что в СССР евреи политически преследуются и дискриминируются государством, из-за бытового антисемитизма и страха погромов.

Все это было правдой и неправдой одновременно. Разумеется, евреи преследовались в СССР. Но только те, которые активно боролись за право выехать в Израиль. А я репатриироваться не хотел и с государством не боролся. Дискриминация евреев в СССР? Да, разумеется, была дискриминация. И это было отвратительно. Но моя семья от нее почти не пострадала. Мой папа-еврей окончил МГУ, защитил кандидатскую и работал в МГУ до своей смерти. Моя тетка еврейка окончила МГУ, защитила и кандидат-

скую и докторскую, работала в НИИ при Академии наук. Мой дед-еврей работал главным инженером крупнейшей строительной фирмы. Моя бабушка-еврейка работала конструктором точных приборов в обсерватории. Моя мать, жена еврея, доктор геологических наук, работала в московском НИИ. Мой отчим-еврей, тоже доктор, работал в НИИ под Москвой. Я сам, полуеврей, окончил МГУ и работал там почти до отъезда. Многие мои коллеги по институту были евреями. Почти все — кандидаты и доктора.

Бытовой антисемитизм? Был, конечно. Но где его нет?

Страх погромов — тогда действительно был.

Фрау Шмидт не унималась.

— Не могли бы вы привести примеры преследования и дискриминации. Если можно — на вашем примере.

Я растерялся. Не было примеров. Надлежало их, однако, срочно выдумать. Я начал с правды — рассказал, о том, что против моей фамилии в классном журнале кто-то все время писал — жид, затем о том, как меня дразнили маленькие хулиганы из соседней школы, как меня унижала учительница-антисемитка — а закончил враньем. Рассказал о том, что партийные органы запретили мне заниматься живописью, потому что я еврей (на самом деле меня не приняли в «Московский Горком графиков», несмотря на то, что общее собрание постановило принять, а почему — до сих пор не знаю), не пустили в Болгарию за то, что я еврей (на самом деле пустили, хотя и мурыжили долго — только я заболел отитом и поехать не смог).

Кажется, я придумал что-то еще, еще кошмарнее, не хочу вспоминать...

Следующий удар был ниже пояса.

— Господин Шестков, в вашем паспорте стоит «русский», и в вашем свидетельстве о рождении написано, что ваша мама — русская. Знаете ли вы, что, согласно Галахе, вы евреем не являетесь?

Начинается!

Я растерялся. Зловещее слово «Галаха» было мне незнакомо. Моя мама действительно была русской женщиной, хоть и с примесью турецкой крови, за что ее, впрочем, тоже дразнили

жидовкой, родилась она в Верее и жила во время войны с бабушкой в Москве. В паспорте моем действительно стояло — «русский».

Я вздохнул и ответил смиренно: «Я еврей только по отцу, потому и стоит “русский” в паспорте».

После этого я стыдливо потупился и изобразил «на морде траур».

Фрау Шмидт и телевизионщики остались таким ответом и выражением моего лица очень довольны. Именно такими, изможденными, изнемогшими от преследований и дискриминации — и хотела видеть тогда Германия евреев из СССР.

Следующая группа вопросов была тоже нелегкой.

— Считаете ли вы себя верующим иудеем?

— Когда вы в последний раз были в синагоге?

— Читаете ли вы Тору на иврите?

— Соблюдаете ли еврейские традиции?

— Едите ли вы свинину?

— Говорите ли вы или ваши родственники на идиш?

— Обрезаны ли вы?

— Почему вы не хотите репатриироваться в Израиль, на вашу историческую родину?

Отвечая, я и стыдился, и внутренне хохотал, и просил прощения у Всевышнего. Седовласый старик в ночной рубашке укоризненно смотрел на меня со сверкающего облака и неодобрительно качал головой.

В конце собеседования фрау Шмидт пожала мне руку, черный человек кивнул, но руки не подал, мне вручили маленькую бумажку и билет на поезд в саксонский Глаухау. И сказали, чтобы я сейчас же туда ехал, потому что там организуется «лагерь» для таких же, как я, евреев из СССР, и я к нему приписан.

Я отправился в Глаухау.

Страшно хотелось есть и пить. Голова разболелась от яркого света. Ехать нужно было долго. Денег не было. Приехал. Огляделся. Маленький городок. Захолустье. Улицы плохо освещены. С трудом нашел общежитие студентов Технического университета Цвикау, в котором должен был находиться лагерь. Обратился с

помощью жестов к вахтеру. По-немецки я не знал тогда ничего, кроме «Гитлер капут». Показал ему бумажку из Берлина. Он только развел руками, пожал плечами и показал на лавку. Я сел на нее и ждал, ждал, ждал.

...

Поздно вечером появился Вольфганг, переводчик, единственный смотритель лагеря. Он отвел меня в маленькую комнатку с окном, столиком, умывальником и двухэтажной кроватью. Сказал, что придет за мной завтра в восемь утра, и мы пойдем в полицию.

Я напился воды из-под крана и лег спать в нижней половине кровати. В соседней комнате часов до трех громко болтали студенты-арабы. Пахло неприятно, общежитием. Началась моя новая немецкая жизнь.

Побывал с Вольфгангом в полиции. Полицейские меня ни о чем не расспрашивали. Им было густо начхать на мои еврейские дела — их, как мне объяснил Вольфганг, интересовало только одно — не поддельные ли у меня документы. Они долго рассматривали мой паспорт и свидетельство о рождении в лупу и терли их какой-то дрянью. Потом унесли в другую комнату для просвечивания особым аппаратом. В конце концов, документы мне вернули и вручили мне крохотную бумажку с печатью. Из содержания которой следовало, что я — беженец, принятый в рамках гуманитарных мероприятий согласно параграфу... и что мне разрешено три месяца жить в Глаухау и не разрешено Глаухау покидать.

С этой бумажкой мы с Вольфгангом направились в социаламт, где мне, после заполнения многостраничных анкет, выдали в кассе 400 (кажется) марок. Вольфганг тут же попросил меня заплатить за месяц проживания в общежитии какую-то небольшую сумму, вручил мне квитанцию и побежал встречать следующих новоприезжих.

Я зашел в магазин и купил две булочки, мясной салат с майонезом, сухое молоко, пирожное «поцелуй негра» и банку растворимого кофе. У себя в комнатке я съел булочки и салат, и еда показалась мне небесно вкусной. Вскипятил воду в эмалированной кружке привезенным из Москвы маленьким спиральным кипя-

тильником. Выпил кофе с молоком. Съел «поцелуй негра». Блаженство! Потом опять пошел в магазин. Купил себе дешевые часы, носки, трусы, джинсы, пару приличных ботинок, бежевую курточку и синюю шапочку с козырьком. Старое советское барахло тут же выкинул. Затем не удержался, пошел в книжный и купил на сто марок альбомы по искусству и словари. Начал листать альбомы, даже попытался перевести несколько страниц монографии о Климте. Господи, как интересно и хорошо!

Походил по городку, посмотрел на архитектуру, на немцев, на природу.

Изумила бедность. Развалины. Лица у аборигенов — как будто вырублены топором. Пожилые женщины — похожи на ведьм на иллюстрациях к детским сказкам. Интеллигентных лиц нет вообще. Красивых девушек не видно. В нижней части города — неработающие текстильные фабрики.

По ночам в Глаухау почему-то невыносимо воняло. Вода в речке была цвета помоев и тоже скверно пахла. Зато леса вокруг Глаухау были замечательные.

Я тогда и не знал, что под ними — урановая руда. Ее добывал комбинат «Висмут», которым командовали советские. Недалеко от Глаухау до сих пор возвышаются гигантские пирамиды порожней породы.

...

Приехали остальные жители нашего лагеря. Начались ежедневные шестичасовые занятия немецким языком. Занятия эти были нудными, тяжелыми — трудно взрослому учить чужой язык. Не запоминаются слова, сколько их ни повторяй. Говорили наши преподавательницы на саксонском диалекте. С каждым днем занятий наши ряды таяли. Немецким языком овладело только около четверти обитателей лагеря. В основном женщины.

За всю мою московскую жизнь я не видел таких неприятных евреев, каких повидал в «лагере для еврейских беженцев» в Глаухау и потом, в городе К., в котором был перевалочный пункт для контингентных беженцев («контингентный» означает только, что каждая земля Германии обязана была принять свой «контингент», свое количество таких беженцев). Невежественные грубые

примитивные люди. Часто с криминальными замашками. Многие принципиально не платили в поездах. Некоторые подворовывали в окрестных магазинчиках. И бахвалились этим. Один еврей из Ленинграда, которого прозвали за его успехи в овладении немецким языком «Цвай нога», просверлил в монетке дырочку, продел в нее ниточку и бросал ее в телефонный аппарат. Аппарат монетку проглотить не мог и «Цвай нога» беззаботно болтал часами со своими неуехавшими ленинградскими родственниками и описывал жизнь в Глаухау примерно так: «Глуховка — кошмар, но Германия — прелесть. Приезжайте скорее все сюда. Эти идиоты платят нам деньги ни за что. Мне вылечили все зубы и собираются делать протез. Я купил электрический утюг с паром».

После звонка он вытягивал монетку за ниточку обратно...

Долгие его переговоры заинтересовали телефонную компанию, его вычислили и поймали с поличным. Цвай нога рассказывал: «Представляешь, беседую я себе с тетей Бертой. Убеждаю ее, что надо продать дачу и валить сюда. А она не хочет продавать дачу, она там с Сеней прожила сорок лет. У нее там райские кущи. Вот, говорю я, говорю, ну а в автомате моя монетка с ниточкой, понимаешь, автомат икает-икает, но монетку не берет. Ты ведь знаешь, я близорукий, вижу плохо без очков. На время разговора я очки снял, а потом надел, хотел тете Берте адрес продиктовать. И вижу я... Как в кошмаре... ко всем стеклам кабины с другой стороны какие-то люди носами прижались. Помнишь, в детстве, так делали... получается свинья, пятачок. И вот пять таких свиней смотрят на меня огромными глазами и лыбятся, лыбятся... Я чуть от страха не умер, а это были полицейские».

...

Моим соседом по комнате оказался интересный человек, Боря С. Он на всё вокруг нас смотрел еще более изумленно, чем я. Он освободился из тюрьмы за несколько дней до отъезда в Германию. Он и Москву-то не узнал. Просидел пятнадцать лет за убийство. На мой бестактный вопрос, кого он убил, Боря ответил: «Сдуру убили человека, неважно кого. При ограблении киоска».

— Боря, а ты проходил собеседование с фрау Шмидт?

— Да, мучила меня эта кикимора минут десять.

— Ну и что ты ей сказал, где ты был последние пятнадцать лет?

— Я сказал, что работал в угольных карьерах... га-га-га...

Боря получил в полиции такую же бумажку, как и я, сменил с моей помощью советские водительские права на немецкие и тут же уехал в Берлин. Он ни разу не ночевал в Глаухау. За это я его очень уважал.

Боря появился в Глаухау месяца через три для того, чтобы сняться с учета в полиции — его берлинские друзья уже обустроили его новую жизнь. Привез с собой целый чемодан различных мясных и рыбных деликатесов и бутылок восемь водки. Все это мы раздали нашим людям (один сосед по лагерю говорил мне: «Знаешь, тут такие консервы вкусные. Только не понимаю, почему на банках собачка нарисована...»).

После этого он уехал в Берлин на новеньком, только что купленном микроавтобусе. Через несколько недель Боря мне позвонил и рассказал, что с ним случилось на обратном пути из Глаухау в Берлин.

— Ты помнишь, я купил микроавтобус в Бонне. Оформил страховку на один перегон. Ну и поехал. У вас побывал, а потом значит домой. А по пути — туман страшный. Ни зги, а я, ты же знаешь, водить машину не умею, правил не знаю. Короче влепился я одному чугую в зад. Тот — другому, перед ним, тот дальше. Пробка там была. А я не видел. Тихо ехал, но затормозить не смог. Из-за тумана. И ты представляешь, сорок! Сорок машин в аварию попали из-за меня. Никто не погиб, только машины побили. Фашисты-мусора меня хвать, а я им страховку в рыло! Потом выяснилось — на полмиллиона ущерб. Бог меня спас с этой страховкой. Я пожертвовал пятьсот марок на синагогу. Завтра идем с дружками в баню обмывать аварию. Хочешь, приезжай — приветим, с девочками познакомим? А то ты там в Глуховке протухнешь!

...

Примерно треть моих коллег по лагерю не имела никакого отношения к еврейству. Некоторые мне даже об этом, не таясь, рассказывали. Это были украинцы или молдаване (был и один

армянин), купившие свидетельства о рождении и паспорта специально для Германии. Стоили они тогда долларов по двадцать за ксиву, не больше. Все эти документы проверялись и просвечивались в полиции Глаухау так же тщательно, как и мои. Ну никак доблестные тевтоны не могли понять, что документы эти были подлинные, не фальшивые... выданные действительно теми учреждениями, которые должны были такие документы выдавать, заверенные настоящими печатями, подписанные реальными чиновниками, которые и должны были подписывать. Но... содержание этих документов было насквозь фальшивое. Никого из таких — евреев не разоблачили, не отправили назад на Украину, все они получили статус беженца, социальные пособия, а позже «фремденпассы», немецкие паспорта для иностранцев.

Много было половинок, как и я. С русскими женами и детьми-четвертушками. Только процентов десять из нас были действительно стопроцентными аидами. Настоящих, верующих, живущих по обрядам, обрезанных евреев — не было ни одного!

Были в лагере и антисемиты. Были и всамделишные, вооруженные огнестрельным оружием бандиты. Хорошо еще, они вели себя сдержанно, только иногда по ночам, когда напивались, стреляли из пистолетов с крыши общежития по звездам.

Вольфганг говорил мне, что жители Глаухау нас ненавидят и боятся.

Боялись — потому что видели наши бандитские рожи и слышали выстрелы по ночам. А вот за что они нас ненавидели? Я спросил об этом Вольфганга.

— Понимаешь, тут даже не ненависть, скорее жгучая зависть. Посмотри, когда ваша очередь пособие получать... у социала — два десятка ваших мерседесов паркуются, а ведь социальщику иметь машину запрещено. Немцу бы и в голову не пришло на тачке за социалом кататься. Да еще на такой... А вы — на мерсах, бмв, ауди. Местные жители думают так: эти новые приехали, они все льготы получат от западников, а нам ничего не останется. Им и закон не писан. Жиды проклятые...

Откуда мерсы и ауди? Многие привезли с собой из СССР деньги. Борис мне показывал портфель, полный валюты. При-

везли деньги и тут же их вложили в дело. Начали перепродавать автомобили. Покупали в Нюрнберге и везли их в Дрезден. Пока гэдээровцы не расчухались. Наваривали бабки и покупали новые машины для перепродажи. У некоторых моих коллег через восемь месяцев «лагеря» уже было тысяч по сорок-пятьдесят марок — для того времени деньги огромные. У меня денег не было, но зато я мог общаться с немцами на их языке и даже пытался читать Кафку и Гессе в оригинале.

После окончания курсов все разъехались, кто куда. Я жил какое-то время в Дрездене, в пустующей квартире матери кузена моей жены, потом перебрался в город К..

...

Тут судьба взяла меня за шкирку и притащила в арбайтсамт (на биржу труда).

Не могу удержаться от соблазна, расскажу о своем первом посещении этого волшебного места, из окна коридора которого, очень к месту, была видна семиметровая голова борца за права трудящихся Маркса работы скульптора Кербеля.

Главное, что поразило тогда меня в этих узких коридорах — это выражение лиц посетителей. Тот, кто полагает, что у среднего немца нагловатое самодовольное лицо, должен непременно посетить арбайтсамт города К. Какая уж тут наглость, какое уж самодовольство! Униженные и оскорбленные, на все готовые, измученные, серые, больные... Безработные гэдээровцы. Они потеряли не только работу, но и родину, привычный уклад жизни, веру в человека и надежды. Сильные и смелые к тому времени уже давно покинули город. Остались неисправимые патриоты, растерявшиеся, пьющие, пассивные, неумные. Управлять ими приехали с Запада люди, не сумевшие высоко подняться по карьерной лестнице в свободном мире.

После недолгого ожидания (часа полтора) меня принял господин Шульц. Как я потом узнал, этот невзрачный маленький человек в недалеком прошлом состоял в комиссии — не знаю при каком учреждении — решающей, можно ли гражданину демократической республики посетить бабушку в Ганновере или дедушку в Кёльне. Господин Шульц был приветлив, но суховат. Ко-

гда я ему на моем плохом немецком объяснил, что окончил Московский университет, десять лет работал в НИИ, имею какое-то количество печатных работ, выиграл даже конкурс молодых ученых... он спокойно посмотрел на меня своими мышиными глазками и тихо сказал: «Нам не нужны ученые вашей специальности, у нас самих ученые — безработные. И я не вижу никакой необходимости предоставлять работу иностранцу, в то время как столько граждан ФРГ сейчас лишены постоянного заработка и вынуждены влачить жалкое существование. Так что на нас не надейтесь, ищите работу сами. В следующий свой визит, предоставьте, пожалуйста, доказательства того, что вы посылаете по почте ваши бевербунги (просьбы принять на работу), не меньше десяти в месяц, иначе мы начнем снижать вам пособие. Помните, никто вас сюда не звал, вы сами приехали и этим еще осложнили положение людей, которые тут родились и выросли. Долго эксплуатировать немецкую социальную систему, жить тут как пенсии, мы вам не позволим!»

На мою просьбу, устроить меня на курсы немецкого языка, господин Шульц отозвался так: «У нас нет денег на ваше обучение. Язык вам надо было учить до того, как вы прибыли в Германию. Раньше надо было думать! Впрочем, никто ведь вас тут насильно не держит. Поезжайте на родину, там вам учить язык не понадобится».

Как бы ни был мне противен господин Шульц и его поучения, крупицу правды они содержали.

...

Мне, обыкновенному советскому человеку, в московский период моей жизни и в голову не приходило, что где-то, почему-то можно жить, не работая, и жить не так уж и плохо. Такие понятия, как «социальное пособие» или «пособие по безработице» — были в СССР неизвестны. Да, наши инвалиды и пожилые люди получали нищенскую пенсию, на которую с огромным трудом, на хлебе и картошке, выживали. Более-менее приличную, так называемую «персональную пенсию», получали только немногие важные для коммунистического государства старики. Обычная пенсия составляла тогда от 50 до 110 рублей. Персональная — кажется 210

или больше рублей. За безработицу, которая считалась тунеядством, потерявших по каким-то причинам работу людей советское государство наказывало лагерными сроками. Был такой элегантный ход — уволить с работы еврея, подавшего заявление на выезд в Израиль, с «волчьим билетом», т.е. лишить его возможности устроиться на какую-либо другую работу, и посадить через два месяца «за тунеядство». То же иногда делали в СССР и с пытающимися уехать в ФРГ этническими немцами. В ГДР им уезжать особенно не препятствовали.

Помню, возвращался я с моим приятелем Володей с какого-то сабантуя. Шли мы по Лаврушинскому переулку, рядом с Третьяковкой. Я посмотрел на здание галереи, похожее на теремтеремок, и перед моим внутренним взором пробежали почему-то не любимые картины Врубеля, а типичные мрачные сюжеты: «Утро стрелецкой казни» (лобное место перед собором Василия Блаженного, могучие виселицы у Кремлевской стены, стрельцы в колодках, плачущие жены и дети, злобная морда Петра Великого), «Боярыня Морозова» (Чудов монастырь-тюрьма, еретичка-раскольница в цепях, нищие, юродивые) и «Иван Грозный убивает своего сына» (похожий на дьявола царь сжимает в объятьях своего истекающего кровью сына, которого только что ударил жезлом в висок)...

Я спросил Володю: «Слушай, а как поживает Юлечка М.? Что-то давно ее не видно».

У этой самой Юлечки были такие же глубокие эротичные синяки под глазами, как у несчастной суриковской боярыни. Может быть поэтому она мне тогда и припомнилась.

— А ты не знаешь, что ли?

— Что не знаю?

— Да она уже три года в Западном Берлине живет!

— Вот те на... Она же православная, все по монастырям носилась. Про батюшку своего заливала, про иконки... Как же она там живет? Где работает? Она вроде и языка не знает, и от всех наук отреклась.

— Да не работает она, живет на пособие.

— Какое такое пособие?

— А вот такое. Если ты на Западе не работаешь — пособие будешь получать. Не шибко велико, но на скромную жизнь хватит. У них безработные лучше живут, чем у нас профессора. Бананы все жрут и белое мясо. Порнуху смотрят и в фольксвагенах гоняют.

Так я узнал о существовании — пособия. И, признаться, мне, живущему в обнищавшей перестроечной Москве, получавшему позорно маленькую зарплату научного сотрудника, описанная Володей жизнь берлинского безработного показалась раем.

Порнуха! Бананы! Мясо! Потрясающе! И еще и на работу не надо ходить и делать там заведомо бессмысленные, вредные дела. Не надо смотреть на опостылевшие верноподданные рожи коллег и слышать с утра до вечера их разговоры. Можно сидеть себе спокойно и рисовать.

...

В счастливое — несмотря ни на что — время студенчества я осознал одну несчастливую для меня очевидность и одну, наоборот — прекрасную. Моим несчастьем стало то, что математика и механика, как быстро выяснилось, меня вовсе не интересовали. Лекции и семинары раздражали и злили, хотя я их посещал нерегулярно. Учиться я не хотел — и не учился, сдавал только кое-как зачеты и экзамены. Перспектива — после МГУ стать ученым и играть чужую роль десятилетиями — ужасала. Но деваться-то было некуда. Не на фабрику же идти работать! Работа на фабрике, на заводе, на стройке или на земле, крестьянином, считалась в государстве рабочих и крестьян страшнейшим унижением, позорным занятием безмозглых кретинов, последней перед тюрьмой ступенью падения человека.

Моим счастьем стало то, что я начал — самостоятельно — заниматься рисунком, живописью и историей искусства. Это было сказочно. Ван Гог, Сезанн, Дега, Гоген! Мунк! Рембрандт! Макс Эрнст! Клее! Брейгель и Босх! Что может быть лучше? Ничего. Я рисовал, малевал, искал и читал книги, рассматривал репродукции, бегал в Пушкинский музей. Позже, в середине восьмидесятых годов, неоднократно принимал участие в выставках художников-нонконформистов. Искусство стало для меня главным и

любимым занятием, содержанием моей жизни. К сожалению, за любовь к искусству в Советском Союзе денег не платили. Даже наоборот — если ты рисовал, к тебе относились настороженно, почти как к врагу. Не имея в руках удостоверения МОСХа (Московского Союза Художников) невозможно было участвовать в каких-то выставках, легально продавать картины, даже краски и холсты невозможно было купить...

Вы спросите: «Какого черта ты не поступил в Академию Художеств, в Суриковский, на искусствоведение или еще куда-нибудь, где учат малевать и изучают твоих ван гогов?»

Да, отвечаю я вам, вы были бы правы, если бы мы жили в нормальном государстве, а не в агрессивной диктатуре, использующей коммунистическую демагогию для закабаления и одурачивания собственного населения. Я чуть не полгода ходил на лекции — благо недалеко — по истории древнегреческого искусства. На которых профессор рассказывал нам не столько про Фидия, Поликлета и Мирона, сколько про восприятие античности — Марксом, Энгельсом и Лениным. Слава Богу, незабвенный козлотур Лёня Брежнев ничего о древнегреческом искусстве не написал, а то бы и его козлятину пришлось учить. Для контраста я посетил еще курс лекций по русской иконописи. Читал его доцент с кафедры научного атеизма. Внушал нам, — как церковники с помощью икон промывали мозги верующих. Помню, какой-то дерзкий студент спросил профессора, не является ли изображения Ленина иконами и не служат ли они той же цели. Доцент угрюмо посмотрел на студента, вздохнул и продолжил лекцию.

Все советские высшие учебные заведения заражали студентов коммунистическими трихинами. Эта идеологическая обработка и была главной целью любого вуза. Но если на мехмате МГУ помимо изучения истории партии и научного коммунизма нам еще и преподавали математический анализ и механику космического полета, то на так называемых гуманитарных факультетах — все предметы были насквозь пропитаны ядовитой идеологической галиматьей, учиться там было контрпродуктивно. Поэтому я и не пошел в «художества», а поступил на мехмат.

Когда Володя рассказал мне о том, что наша общая знакомая Юлечка не работает и бананы жрет, я естественно подумал, что... было бы неплохо и мне... не работать... рисовать... И по музеям ходить. И бананы, и мясо...

...

В 1992 году, летом, на мою жену, гулявшую с нашей полугодовалой доченькой в огромном городском парке города К., напал какой-то мерзавец. Вероятно, скинхед. Он набросил ей сзади на шею петлю и начал душить. Жена упала, а детская коляска с спящей дочкой покатилась в низину. Проехав метров двадцать, коляска врезалась в дерево, опрокинулась, ребенка из нее выкинуло. В этот момент жена потеряла сознание. Не знаю, что было бы дальше, но что-то испугало преступника, и он убежал. Может, прохожий какой показался или велосипедист. Жена пришла в себя, побежала к дочери. Та, слава Богу, не пострадала.

Меня в тот день в городе не было. Я приехал на следующий день, заплаканная жена мне все рассказала и мы пошли в полицию. Написали заявление, началась беседа. Высокая женщина с чугунным лицом прочитала заявление, потом мрачно посмотрела на мою маленькую, трясущуюся жену и спросила жену чугунным же голосом: «Он вас изнасиловал?»

— Нет.

— Нанес вам какие-либо телесные повреждения, которые вы можете нам предъявить?

— Я могу только показать вам красную полосу на шее от веревки. Видите?

— Это не доказательство. Не могли бы вы составить словесный портрет преступника?

— Он подкрался сзади, набросил мне на шею веревку и начал душить. Я потеряла сознание. А когда очнулась — его уже не было. Я его видела издалека. Он убегал. Заметила только, что он лысый, как скинхед, и высокий.

— Откуда вы знаете, что этот, убегающий, был именно тем, кто вас якобы душил. Может, какой спортсмен, не имеющий отношения... Мало ли кто. Вы действительно были вчера в парке? Что вы хотите добиться своими измышлениями? Знаете ли вы, что ложные показания — это уголовное преступление?

Беседа превратилась в допрос. Тон полицейской дамы становился все более угрожающим. Я попытался вмешаться, но безуспешно. Меня одернули. Пригрозили вывести из комнаты. Подошли другие полицейские и стали пристально на нас смотреть. Я разглядел в их бесцветных глазах плохо скрываемое презрение. Я тогда понимал только каждое четвертое слово. Переводчика не позвали. А по-русски, хотя все присутствующие его более или менее хорошо знали, с нами никто говорить не пожелал.

Жена вдруг зарыдала. Мы быстро покинули полицию. Полицейские орали нам вдогонку что-то гнусное. Не понял, что.

Мы ждали, что полиция потребует нас к себе или, по крайней мере, сообщит, поймали ли мерзавца скина, но так и не дождались. Жена через год оставила город К., уехала с дочерями в Баден-Вюртемберг, к родителям. А я остался в городе К. Года примерно через два я узнал, что в том же парке изнасилована и убита девушка. Задушена шнурком. А еще лет через десять, один знакомый левый журналист-краевед рассказал мне следующее: «В те времена, полиция в бывшей ГДР еще не пришла в себя от шока объединения и симпатизировала неонацистам. Хорошо еще, что ты и твоя семья от нее не пострадали. Преступника в парке, скорее всего, никто и не искал. Мало того, если бы он твою жену прикончил вместе с ребенком, да и тебя заодно, они бы только обрадовались. Они и сейчас тут у нас не шибко лучше. Иностранцев ненавидят. Хотя внешне — скрывают, конечно, ненависть. Мины строят вежливые, а в сердцах — бешеная злоба. Кстати, в том самом здании, где твою жену допрашивали, раньше одно время размещалось Гестапо».

После этого происшествия до меня дошло, что жизнь в Германии будет вовсе не тем, о чем я мечтал. Коемуждо по делам его.

ИЗ ДНЕВНИКА

Книга, рассказ — сеанс самоэкзорцизма. Очищение от демонов. Нет, не в высоком смысле. В низком. Недаром меня не читают. Кому нужны чужие демоны, когда и со своими жить тошно?

Нет… я их не гоню, они сами… бегут в разные стороны... двойники… Только пятки сверкают. Потому после окончания рассказа — я одинок как смоковница. Отдал им свою жизнь. А они — рады радешеньки от меня отделаться.

Мои герои... Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Сколько же я выгнал из себя чертей? На всех ни свиней не хватит, ни обрывов. Иногда, впрочем, они возвращаются.

Получил вчера звонок из Москвы.

Звонил мой литературный герой. Женя Бесноватый из рассказа «На Пасху».

Ну да, я его убил в конце текста. Хрястнул затылком по металлической ручке сидения в электричке. А что мне было еще с ним делать? Римской папой назначать? Или как Войнович со своим придурком Чонкиным — в Америку посылать, на ферму (вот уж фигня, так фигня)… Ну, нет! Я все ваши параболы-гиперболы в гробу видал, в белых тапочках. У меня ухо востро! Не потерплю!

Виноват, виноват. Но убил я его, господа присяжные, поверьте старичку-сиротинушке, только для того, чтобы текст заострить, чтобы в рассказе произошло нечто фатальное, необратимое и жуткое, после чего можно с легким сердцем какао пить и предаваться изнеженности нравов… а повествование тихонько так на нет свести. Завершающими аккордами. Вроде как Шопен в ноктюрне до-диез минор. С приятным сознанием выполненного долга… освободиться от ответственности за героя и его дальнейшую судьбу (дальше пяти страниц нет сил тащить на горбу такую тяжесть) и заняться своими делами, марки посмотреть, белье постирать, прогуляться по бульвару... Убил по закону жанра как бы. Облегчил читателю окончание чтения, проявил заботу о человеке. И стал убийцей. Поставил точку. А так хотелось поставить тире.

А в реале Бесноватый — на тебе — жив и здоров. В свои 80 лет. Чему я, признаться, очень рад. Пусть люди только в кино и в литературе умирают, а в обычной жизни — живут по 1000 лет, здоровые и счастливые.

…

В чем секрет графомании?

Что побуждает писателя в наше безумное время садиться за компьютер? Тратить время на коммерчески все более и более бесперспективный, не уважаемый более в обществе, нелегкий труд писательства…

Мне кажется, ответ прост. Писателю хочется находиться в тексте. Ему в нем приятно. Слегка преувеличивая, можно утверждать, что ему только в нем и хорошо, а вне него плохо. Ему невыносимо грустно покидать мир, который он сам создал. Хотя, казалось бы, весь рассказ автор только и делал, что пытался как можно дальше убежать от самого себя… раскалившись чужими страстями.

Ведь текст, это, прежде всего, составленная из буковок, знаков препинания и пробелов — среда обитания нашего брата, бумагомарателя. Не только автора. И многочисленных его двойников. Но и его антиподов. И, разумеется, милых игрушек — существительных, глаголов и прилагательных, персонажей, метафор.

Текст наш настоящий дом. Наше поместье, дача, лаборатория, наша территория, заколдованное место, на котором происходят непредвиденные встречи. Не антитеза, синтез. Храм нашей собственной религии, алтарь для особых жертвоприношений, подиум для мистерии…

Карнавал для посвященных.

Текст — это словесный сад, или пустырь, или город (строчки — улицы, абзацы — кварталы), или целый континент.

Место, где нас вроде бы и нет, но мы есть… где все возможно, и все позволено. Перекресток миров. Собственная галактика на кончике пера. Монада, теплица, роддом, в котором непрерывно рождается новая, чужая, независимая от автора и от правящей партии жизнь.

Там подсознательное вливается в сознательное. А надоевшая нам рутина предстает в своем истинном, потустороннем обличье. Там автор постоянно создает персонажа, а персонаж — автора.

…

Что вы такое говорите, скажет матерый читатель-оптимист мужского пола, консерватор, умеренный шутник, проглотивший за свою жизнь половину библиотеки Конгресса.

Нет, нет и нет! Текст — это всего лишь место для охоты на личные местоимения! Ха-ха!

И потрясет своей очкастой головой, как двустволкой.

Текст — это место любви, застенчиво проговорит его постаревшая Ева, проглотившая вторую половину библиотеки Конгресса. Это альков! Шатер. Свадьба. И нежно погладит сизо-розовую обложку любовного романа.

Нет, проворчит ученый-литературовед, написавший за свою долгую жизнь не одну дюжину многословных книг. Нет, книга — это кладезь знаний! Нарративные пространства… Дискурс-анализ… И любовно посмотрит на свою библиотеку, которую после его кончины с удовольствием выбросят в мусоропровод его потомки-неучи.

Идиоты, веско срежет знаток всего, текст — это прежде всего дорога для колесницы сознания, строка, длиной в километр, по которой надо проехать или проскакать, от слова к слову, от смысла к смыслу… По пути можно и поохотиться, и заняться любовью, и умные мысли пособирать, и метафорами насладиться, и местоимения попинать, и вволю повуайеристничать… Не запачкавшись, так сказать, чужой плотью. Ведь буквы не пахнут. Ну, как счастливый пастушок. Флейту в губы и давай свистеть.

…

Совет автору-сидельцу.

Понимаете, вы пишете в вашем дневнике — я имею в виду тексты о первой отсидке — голую неприкрытую правду. Такие тексты предлагать читателю, это все равно, что кормить его сырым мясом. Да еще и подтухшим — пусть себе жрет. Я понимаю,

что вы пережили. Но охотников читать отчет о правде нет. Все и так знают, что российская тюрьма и лагерь — это ад на земле, причем ад особенный, национальный.

Литература начинается там, где реальное зверство заканчивается. В тексте — все более или менее наоборот, как в лубке. Бык свежует мясника. Мыши хоронят кота.

Почему удался Дон Кихот? Потому что он смешон, неловок, он идиот. Так же как и князь Мышкин. Почему хороши Ставрогин и Онегин? Потому что они убийцы и мерзавцы. Так же как и Печорин. Почему невыносимо скучны Пьер и князь Андрей? Потому что они хорошие люди.

Чтобы интересно написать о тюрьме, надо поставить все с ног на голову. Надо найти в себе силы на иронию по отношению к себе и на сочувствие к последним тюремным гадам. Надо найти парадоксальные сюжеты, гротескные истории. Иначе проза будет скучной.

…

Лейтмотивы… невербальные сущности… скользят себе сквозь текст. Их трудно определить, невозможно описать… невозможно и за хвост поймать… и тем не менее именно они своим присутствием и задают тон всему массиву слов.

Массиву? Карнизу, готовому сорваться и упасть в пропасть, унося с собой и автора и его жалкие потуги… Ведь идти-то приходится по краю. Рисковать.

Нечто почти прозрачное, или призрачное.

Они — хоть и случайные гости, но хозяева рассказа. Ради них все и пишется.

Да, да — по хорошему тексту всегда бродят призраки, как ревизор по «Ревизору» или сам Царь в маске Наполеона по «Мертвым душам» в проклятой Богом тираноцентричной русской литературе.

Ну, а мы их поганой метлой…

…

Роман, написанный больше ста лет назад Фёдором Сологубом — ключик к русской жизни, к русскому человеку последующего столетия.

Гений писал: «В искусстве должна быть приподнятость».

Немцы говорят, например, так: «В этом фильме нет эспри...»

Федор Сологуб писал прекрасные стихи, в которых и приподнятости и эспри — половником хлебай. А в прозе предпочел опуститься в нижние миры полусмерти... Потому что в России ты можешь, конечно, долго себя обманывать и жить, например, в стихах Тютчева, в музыке Чайковского или Рахманинова, или в картинах Левитана или Кандинского, но потом… свинцовая мерзость отечества утянет тебя в глубину ада.

И тут уж выбора нет. Бога нет. Ничего нет, кроме нежити. Об этом роман «Мелкий бес».

А советским продолжением этого текста стала проза Хармса, наконец напечатанная на родине автора.

Романы Аксенова, Битова... — это попытка убежать от героев Хармса и Передонова или… раскрасить их внутренней свободой (самообманом раба), лирикой, интеллектуализмом, и так преодолеть этот ужас. Русскую правду. Попытка эта не удалась, и проза постаксеновская пытается нахрапом раздуть абсурд до критического, вселенского размера (Сорокин) и так взорвать этот баллон с выхлопными газами. Но и это не удается. Передонов не преодолен. А Недотыкомка все еще смотрит на мир своими тухлыми глазами...

…

Весело было. Ванька в рояль насрал.

Проговорил я это однажды по-немецки, в компании немцев.

Сказал и сам глупо рассмеялся. Потому что для меня вся Россия в этих шести словах помещается. Со всем скверным, плохим, хорошим и даже со всем русским космизмом... и русской идеалистической философией от Соловьева до Флоренского и обратно. Немцы посмотрели на меня косо. Афронт!

Что для русского здорово, то для немца карачун.

…

Начинающему литератору.

Не хотел вам это писать… Понимаете, если вы начнете сочинять — придется все остальное похерить. Ведь писанина сродни жертвоприношению.

ВСЕ сгорает на жертвенном огне творчества. Иногда это — семья, иногда и профессия, и вообще все наши потуги как-то устроить приличную жизнь. Жизнь писателя — жизнь неприличная. Попрошайничество. Тюрьма и сума.

Все разлетится в прах. Это очень серьезно. И кошмарно неотвратимо. Помните об этом — литературой нельзя заниматься «в свободное время», «по выходным», «между другими делами»...

Это или — испепеляющая страсть, служение... или мыльная пена дилетанта, литературного профанатора... Компромисса нет и искать его бесполезно.

В том-то все и дело — что если хочешь писать — жестоким надо быть не только с собой, но и с другими, с самыми близкими, с родными... иначе будет испорчен каждый день. Испорчен ничтожными делами. И тексты будут рыхлые и нудные.

Чтобы текст зазвучал — нужна полная свобода и одиночество. Безумие. Не школьное.

Я написал — «жертвоприношение», а правильнее было бы написать «кровавая жертва».

И это не метафоры. С кровью придется отдирать от себя все родное и близкое. Потому что текст должен владеть всем, а не родные или чужие. В первую очередь — владеть временем писателя. Потом и его любовью, эмоцией, памятью. Его телом, тоже превращающимся в текст. Только тогда начнут — как из тумана — выплывать абзацы, как будто выточенные из живого кристалла.

И единственной наградой будет — сам труд, сам текст. Все остальное не приложится никогда. Люди будут только травить… Даже самые близкие. Коллеги — завидовать и ненавидеть. Общество — презирать.

…

О немецкой тяге к самоуничтожению.

Процитирую разговор с моей подругой.

— Ты что, не понимаешь, что если в этом году приехало больше миллиона мусульман, то в следующем приедут два или три миллиона?

— Понимаю.

— Если понимаешь, почему не разделяешь моего ужаса. Ты же знаешь, что будет.

— А что такого ужасного будет?

— Будет хаос, вспышки насилия, кровопролитие на улицах, потом рухнет евро, будет плач и скрежет зубов... И немецкая цивилизация исчезнет, и все другие европейские культуры исчезнут, везде будут только мечети и озверелые муслимы... Еврабия. Они взорвут Кёльнский собор, они сожгут Дюрера и Кранаха в музее, они уничтожат все, что нам дорого.

— Мы сами все это сделали 70 лет назад.

— Исчезнет немецкая нация! Ты же дочь баронессы с 800-летней родословной, неужели тебе не жалко памяти предков?

— Исчезнет, и бог с ней. Если мы останемся, то рано или поздно опять устроим фашизм...

…

А вот и маленькая иллюстрация.

Ехал я в эту новогоднюю ночь с моей немкой в трамвае домой из гостей. Где-то полвторого ночи. В трамвае ехали арабы. Из близлежащего «лагеря беженцев». Громко играла арабская музыка — это они свои смартфоны так настроили. Слышалась громкая речь. Грубая, чужая...

Я видел, как арабы назойливо липли к немецким девушкам. Не насиловали, не лапали, а как-то наскакивали... Ржали и кривлялись, как обезьяны.

Все немцы-мужчины — а их было человек восемь — ушли в другой конец вагона.

Я давно ношу нож в кармане. Я готов был его вынуть и начать убивать пришельцев. Но я, конечно, никого не убил. А дома моя немка — сочувствующая беженцам, переводящая им деньги... сказала мне: «Ты так зло смотрел на эту веселящуюся молодежь... смотри, нарвешься».

…

О рассказе «Пальцев».

Главной мерзостью советской школы — была тотальная ложь об истории СССР, прошедшей и актуальной. Экзистенциальная ложь. Лажа. Из этой генеральной лжи вырастали много-

численные побеги-метастазы. Советский ребенок чувствовал фальшь в каждом слове учителя истории или литературы. Но только единицы — стали потом диссидентами, сотни тысяч — эмигрантами, остальные, десятки миллионов — позволили бацилле советчины полностью сожрать свою совесть и мозги... превратились в чудовищ, которых вы и сейчас видите вокруг себя, дорогой В.

В этом небольшом тексте я сознательно не касался главного, чтобы не превратиться в эдакого назойливого антисоветчика, поводыря слепых. Хотя класс, мной описанный — это, конечно, модель СССР, в котором всегда кого-то успешно коллективно травили...

Но… тут не одно «осмысление через описание», не только «вытеснение через запись», «покаяние, исследование» и прочее занудство. Тут создание новых, автономных миров на фундаменте хорошо знакомого материала.

Еще раз подчеркну, материал в этом рассказе, конечно, знакомый, совковый, но смысл его переработки... цель... не социальная критика. Нет, тут ракета текста несется и несет читателя, строчка за строчкой, не в прошлое… прочь от него… а перпендикулярно… в метафизическую, иррациональную мглу, являющую собой суть жизни, субстанцию, не поддающуюся определению.

…

Виктору К.

Сибирь забрала у меня отца — и теперь вашим великолепным чтением отдает мне долг. Этот рокот трущихся в стремнине камней, эта ледяная вода страшной речки... само небытие... и загробные видения… это то, о чем написан рассказ «Инес».

Ведь эмиграция — это жизнь после смерти. Попытка родиться вновь. Дыхание потустороннего я ощутил впервые тогда, осенью 1962 года. То, что я смог материализовать в тексте, вы смогли передать голосом. Почему нас не понимает читатель? Ведь впадение мертвых вод Стикса в нашу обыденность это не индивидуальное событие... нет, это происходит сейчас, на наших глазах... со всеми... об этом написано, и это надвигается и это слышно сквозь ваш голос. По-хорошему нас должны осаждать фанаты — но мы остаемся в пустоте... Это я заразил вас своим одиночеством.

У меня такое впечатление, что «время сарказмов» осталось где-то далеко позади, на брежневской кухне, а время «реальных действий» так и не пришло.

И бывшие советские люди висят в каком-то новом пространстве невежества, цинизма, отвращения, жестокости.

И это самое «обнуление» действительно произошло — где-то около 2000 года, как и предсказывали.

К сожалению — мои рассказы — это тоже явление из класса «сарказмов» — потому они и не воспринимаются современной российской публикой...

…

Ответ придирчивому читателю.

Да, у многих моих литературных героев нет «внутреннего мира». Прогорел. Пропит. Провран. Раздавлен. Нет и развития личности, только хроническая деградация. Нет и эмпатии. Мира нет, есть мирок. Простой, как коробок спичек. В этом мирке — у кого страхи, у кого похоти, у кого дурь, деньги, водка... И единственное, что делает этих особей людьми — страдание и смерть.

…

Переводчику.

Время прошедшее и настоящее, глаголы завершенного и незавершенного действия — я мешаю вполне сознательно. Этот микс должен создавать особенный гротескный эффект «тунельного текста» (по которому автомобили ездят в разные стороны). Понимаю, что это по-немецки трудно передать. Или невозможно. Поэтому, прошу вас переписать эту главу по-немецки так, чтобы было читабельно.

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК

ПОД ПЕРЬЯМИ

Венеция. Конец двадцатого века.

Жарко тут в начале августа. Каналы пованивают.

Но капучино вкусное.

Приехал сюда не ради Венеции, а чтобы посетить галерею Пегги Гуггенхайм.

Это та милая леди, которая завещала себя похоронить рядом с 14-ю своими любимыми собаками.

В ее прекрасном музее, выходящем оградой на Гранд-Канал, мне хотелось посмотреть одну странную картинку (Ива Танги).

Умница Пегги перестала собирать современное искусство где-то в середине шестидесятых — почувствовала, что эпоха искусства кончилась, и началось — непрекращающееся до сих пор — наглое шарлатанство.

...

Кончилась?

Разумеется, все подобные обобщения — что кончилось, что началось — это не более, чем субъективные спекуляции.

Но... европейское искусство действительно кончилось, умерло вместе с Малером, Скрябиным, Врубелем и подобными им великими людьми еще до Первой мировой. На его могиле выросли цветочки (клее-гессе-прусты-джойсы-кафки), которые хоть и были хороши, но классике все-таки уступали и как волны-последыши довольно быстро исчезли.

Вторая мировая война сорвала окончательно маску с «человека» и «цивилизации» и доказала бессмысленность, несостоятельность и «героического» и «человеческого» (индивидуалистического) искусства — и классики и модерна.

Ее главный итог — искусство, культура, цивилизация не спасают человечество от массовой бойни, от оргии самоуничтожения.

А гений, наука, технология, прогресс — только упрощают и ускоряют организацию и проведение массовых убийств. Истреблений.

И после войны по миру пошли волны.

И в них сверкали некоторые имена, группы, направления.

Но искусство становилось все более коммерческим, светлоили черно-развлекательным, антииндувидуальным, отвратительным. И никакими сказками про «постмодернизм» его не оправдать.

А где-то в середине шестидесятых то, что раньше называлось искусством (мастерство, красота, человечность, преемственность) исчезло окончательно, оставив после себя выжженное поле. На этом поле устроили свою тусовку наглые имитаторы (бойсы-уорхолы и их клоны).

Человека больше нет. Есть налогоплательщик, производитель и потребитель товаров и услуг.

Искусства — нет, есть товар, услуга.

Скверный товар, дурная услуга.

Скрежетать зубами бесполезно. Мы сами себя приговорили к скуке.

Занудили, замочалили, испоганили мир своей жадностью, жестокостью, тупостью.

Изолгались.

Вот и стало тошно и в парламентах, и на бирже, и на картинах, и в кино, и на улице...

Красный петушок полыхает то тут, то там.

Люди взрывают других людей хладнокровно, без раздумий и сожалений, как строители — скалы, стоящие на пути будущей дороги.

Дороги в никуда.

Падают как горы пыли башни Нью-Йорка.

Пылают чернобыли и фукушимы.

Инфляция и кровавый хаос, зевая, ждут свои грядущие жертвы.

И даже у алжирского дея нет больше под носом никакой шишки.

И самого дея тоже нет.

Но у всякого петуха все еще есть своя Испания...

Под перьями.

В СЕВЕРНОЙ КАЛИФОРНИИ

Скалы на берегу.

Разрушение...

Выветривание.

Казнь водой. Светом. Теплом. Солью.

Растрескивание.

Выперли страшные тектонические силы когда-то упрямую гору из земли. А потом миллионы лет ветер, вода и малые жизни ее разрушали, растирали в порошок, превращали в отложение.

Вселенная дробится, дробится...

А потом... материки засасывают всю эту дробь в огненное чрево матери Геи, в плавильный котел ядра...

Земля тужится, выпирает наверх свои внутренности...

Лава застывает скалами и опять начинает дробиться.

Геологическая круговерть мироздания.

Сколько законов природы задействовано!

Сколько энергий!

Какие драмы и трагедии!

Какие величественные картины.

Толчение воды в ступе.

Грандиозная бессмыслица.

Мелкие камешки на пляже — старые друзья.

Нет ничего вас милее...

Лестная метафора для когтистого человечества.

Резные камни Калифорнии.

Кто резчик?

Кто плавит и пузырит недобрые тяжести?

Слепоглухонемая сука-природа.

Тяжести, тяжести...

Ребра, массы, кристаллы, структуры, текстуры.

Свидетели чудовищных сил, чудовищных процессов...

Страницы книги хаоса...

Листай эту книжку с картинками, смотри, любуйся на чудеса, пока и тебя не раздавят, не размелют в пыль безжалостные жернова.

Сколько раз, стоя на берегу океана, я смотрел на волны и слышал его рев, грохот, свист, его утробное урчание.

Безумное курлыканье (пролетали журавли).

Голубые скалы.

Голубые они — только когда их океан прозрачной водичкой сполоснет.

А когда отлив — они серые.

Так и мы.

Плавник на пляже.

Забавные картинки. Театр легких палочек.

Ветер тоже участвует в представлении.

И солнце.

После прилива все тут будет по-другому.

Кто мы такие?

Нет, не плавник.

Тени на песке.

На пляже.

Вода. Песок. Свет.

Вот она, сокровенная суть мира.

Святая святых.

Под ногами.

Сколько ни творили муры и бранкузи, лучше этого им не создать.

И трудиться не надо.

Комаров смешить.

Коттедж на берегу в поселке Сии-Рэнч.

Там много прекрасных деревянных домов. Сотни.

Некоторые — архитектурные шедевры.

В одном из таких коттеджей мы жили в мае 2007-го года.

Моя мама, мой отчим, сестра с сынком и я.

Я бродил по окрестностям, часами смотрел на волны. Нюхал свежий солоноватый ветер.

Снимал, снимал...

Потом камеру спрятал. Не берет камера Тихий океан.

На берегу.

Ни черта я не понимаю ни в ботанике, ни в биологии.

Ни в чем.

Но, когда на душе тяжело, знаю, ничего лучше нет, чем на лютики-цветочки посмотреть.

Вот я так сидел на теплой калифорнийской земле и глядел на цветы.

И забывал, что есть душа.

Хотел быть и был, как они.

Больше и не надо...

В нескольких метрах от соленой воды.

Икебана.

Смотрел, пока муравьи не стали задницу кусать.

В Форт-Россе.

Как же повезло Америке, что Россия убралась отсюда!

Испоганили бы все.

Какая-то есть в русаках невыносимая безнадежная заторможенность. Упертость.

Особенно ярко проявившаяся в последнем царе.

Ему говорили-говорили, убеждали-убеждали, все как о стенку горох.

Все пересидел, а потом, вместе с семьей — в подвальчик... жалко смертельно детишек.

Но поделом. По делам папки.

Тихий океан.

На другой стороне — оставленная Родина, Япония, Китай...

Другая сторона земной чашки.

Вода, вода...

Откуда на Земле столько воды?

Ученые говорят, кометы занесли.

И даже не улыбаются.

Трудно признаться в том, что даже этого не знают.

Небольшая волна — чуть выше двух метров — может запросто сломать купальщику или серфингисту хребет. Поэтому и купание и серфинг на этом пляже запрещены.

Я влез в воду.

Очень хотелось рассказать всем, что купался в Тихом Океане.

Вода была градусов шесть-восемь.

Три раза окунулся, потом выскочил и еле отогрелся на солнышке.

Купался я, купался, только не на этом пляже, а в защищенной от волн бухточке.

Вокруг меня валялись грудами кусочки изумрудных раковин...

НА РЕКЕ ТАНАНЕ

Осень на Аляске.

Начало сентября.

Хоть похоже на Россию — только — слава Богу — не Россия.

Перед приходом зимы — природа тут застывает. Засыпает, как медведь. Перед сном хочется подумать и поговорить о вечности. О беспредельности. О мире без нас.

О покое.

Об уходе без бессмысленных укоризн.

Прах — в прах.

Свет — в свет.

Вода — в воду.

Деревянная колонна. Ястреб. Волк. Медведь. Змей.

Объяснили аборигены — это не идол, а рассказ в лицах.

В масках.

Путешествие по реке Танане мы начали с посещения ресторана и сувенирной лавки.

Из лавки был хорошо виден наш колесный корабль, который слишком красив и велик, чтобы его фотографировать.

А раньше по Танане возил туристов маленький кораблик.

Плывем. Смотрим на окрестности. Хорошо.

Лес успокаивает. Елочки лечат хвойным запахом.

Склон горы умиротворяет. Одним своим склонением.

Что-то было и сошло постепенно на нет...

Остался только прочерченный в пространстве невидимым пальцем уход.

Примирение.

Забвение.

Мир тебе, река.

Слева, на обрыве, — вилла местного судьи...

У судьи губа не дура...

Можно порыбачить.

Можно и о вечности подумать.

И о пожизненных сроках для убийц.

Странно то, что и в этом холодном крае есть преступность.

Казалось бы, людей тут мало — надо и можно любить друг друга.

Помогать...

Терпеть...

Нет. Люди и тут, перед вратами ледяной вечности, завидуют, оскорбляют, воруют, ревнуют, дерутся, убивают.

Хорошо, что есть полиция и судья.

Там, на вилле, над обрывом.

Танана — приток знаменитого Юкона. Мощная величественная река.

Течет параллельно несколькими руслами, переплетающимися, расходящимися, сливающимися. Коварная, опасная, холодная река.

Отмели ее часто превращаются в зыбучие пески.

Вечная мерзлота не позволяет корням деревьев уходить глубоко в землю. Елочки на Аляске худенькие, жиденькие. Чуть что — падают.

Как первоклассницы на коньках.

Нас водили в хижину индейца.

Шкуры и черепа.

Медведей жалко.

Каждый год в Америке убивают не то 40 000, не то 20 000 медведей.

Охотники.

Мрази.

Жалко и лося.

Выглядит лосиный череп с рогами — монументально.

Как будто кошмарный марсианин раскрыл свою жуткую пасть.

На горизонте — вершины Аляскинского хребта.

Бирюзовый мир.

Мне хорошо на Аляске.

Не только потому, что повидал маму, отчима и поглядел на удивительную природу.

Люблю просторы.

Я — старый летун, люблю летать в голубом поднебесье и смотреть на Землю.

Самолеты терпеть не могу — они вонючки. В них душно.

А тут, на просторе, можно подышать..

Тут понимаешь, как мелка и суетна жизнь.

Мышиная беготня, амбиции, эгомания.

Горы на горизонте.

До них от Фэрбенкса километров семьдесят.

Выходишь из дома — и перво-наперво бросаешь взгляд на горы.

Хорошо ли видны?

Порозовели?

Везде ли снег лежит?

Аляска.
Ясность.
Одиночество.
Танана.
Хочу побыть пару миллионов лет горой в Аляскинском хребте.
Видеть только небо и елки.

Возвращаемся в Фэрбенкс.
Наглотались свежего воздуха.
Насытились пространством.
Напились голубизны вечности.
Мой отчим-профессор — в университет.
А я с мамой побеседую за жизнь.
Поговорим об оставленной много лет назад Москве.
Очень хочется горячего кофейку попить.
Со сливками и черным шоколадом.

Озеро недалеко от аляскинского университета.
Лучше всего об озере написал Торо.
Почитайте, не ленитесь, «Уолден или жизнь в лесу».
После русской литературы — как глоток свежего воздуха.

Озеро.
Так и тянет в воду.
Вспоминали с мамой чудесные озера Эстонии.
Отепя.
Отдыхали там от страшной Москвы.
Хорошо, что этот народ оторвался от России.
Может, поживет спокойно несколько десятилетий.
Пока новая заварушка не началась.

Озеро.
Решил все-таки влезть, хоть по колено.
Попробовал воду — лед.
А дно — черная грязюка.

Засосет с концами.

Отошел.

Красоту лучше со стороны наблюдать.

Как женщину.

В ДЕНАЛИ

Дорога в национальный парк Денали перекрыта.

Почему?

Загадка мироздания.

Залетевшая из глубин галактики черная дыра?

Десант марсиан?

Оленьи стада?

Может быть — элементарно — пробка из-за слишком интенсивного движения?

Ну да, конечно, пробка... на пути из Фэрбенкса в Денали мы повстречали машин десять.

А может и пять.

Позади нас стоял ФОРД.

Люблю старинные машины, не позже семидесятых. Что-то в них есть настоящее. А современные — как и кино и искусство и музыка и литература — мыло!

Как-то все замылилось.

Прокисло.

Потеряло смысл и формат.

Мы не заметили, что потеряли что-то важное.

Потеряли. Выронили. Или проворонили!

Самое важное.

И покатили налегке по мыльной колее....

Фотографирую из машины. Ведет ее мой отчим. Мы едем на юг.

Дороги в Аляске хороши. Вроде, губернатор постарался. Содрал с материка немеренную деньгу. Но не украл, а дороги построил.

Камни, река, лес, горы.

Что еще надо?

Горячую ванну.

Я уже начал дрожать от холода.

Поехал в Денали в коротких штанах!

Еще одна гора.

Не семитысячник, конечно, но мощь так и прет от тектоники.

На фотографии — мощь не чувствуется. А рядом с этой громадой — давило каменной силой грудь.

Аляска. Просторы, не загаженные большевиками.

Рай для зверей и фотографов.

Где же ты, большая ледяная гора?

Елочки стоят стройные, как девушки.

Горы лежат тяжело и накатывают на равнину, и скатываются в нее.

Где ты, гордый белый патриарх?

Там, за этим хребтом, должна была открыться великая белоснежная, как Моби Дик, гора Мак-Кинли, названная так в честь двадцать пятого президента США Уильяма Маккинли, республиканца, убитого анархистом.

Но не открылась!

Или облака помешали, или неизвестные нам высшие силы похитили гору нам назло.

А потом, когда мы покинули парк, возвратили на место...

Хитрецы!

Рильке писал: «Деревья складками коры мне говорят об ураганах...»

Эти камни говорят о таких катастрофах, по сравнению с которыми все ураганы — тритатушки-тритата...

По ущелью речка течет.

В ней можно и золотишко намыть.

Если властей не бояться.

Мы — боялись.

И хищно намывали на сетчатки глаз только зелень леса да лазурь неба...

На Аляске цветочки — редкость. Потому так хороши, синенькие стервочки.

Камень с ржавчиной.

Руда?

Железо?

Бактерии?

Тяжесть.

Потрогал его с удовольствием.

Камень — брат.

Пока не раздавил.

Треснула тяжеленная щербатая глыба.

Или кто хрястнул ее промеж ушей.

Или сама разорвалась — как кулебяка — от внутренних напряжений.

И ее приятно потрогать — на солнце нагрелась каменная плоть.

Был бы я огромным котом — грыз бы камни и ел бы землю, пока все не сожрал.

Хорошо на речке!

Только прохладно. Палец сунул в реку, как грека.

Палец тут же заныл, застыл, как будто я его в жидкий кислород опустил.

Господин Мак-Кинли, где твоя белоснежная шуба?

Холодные камни на берегу холодной речушки.

Видели они когда-нибудь гору Мак-Кинли?

Нет.

Так и мы проживаем всю нашу глупую серую жизнь, а главной красоты мира и не замечаем.

А ведь мы ее часть.

Речка.

Вода — как жидкий нефрит.

Очень холодный нефрит.

Каменное лоно.

Его прочертил гигантским ногтем великан Мак-Кинли.

Прочертил и спрятался от нас за близлежащим хребтом.

Сидит там и на флейте играет.

Закутался в метель.

Никого и знать не хочет.

Скала.

Как кусок зуба во рту старухи-ведьмачки.

Метров двадцать.

Смельчаки залезают, позируют.

Кто-то наверно и прыгнул.

Притягивает.

Ищем гору Мак-Кинли.

Машину оставили недалеко от главной конторы парка. Там туристы и хотдоги.

Пошли пешком.

Куда глаза глядят.

Небо очистилось от облаков.

Гору не видно.

Воздух холодный, вот-вот снег пойдет.

Дышать легко.

Скала.

Гора Мак-Кинли похожа на эту скалу.

Только в тысячу раз больше.

И в миллиард раз тяжелее.

И в одежде из льда и снега.

Камень и малая жизнь на нем.

И крохотные вирусы в тамошней академии наук обсуждают, что находится за пределами их вселенной, за камнем...

Выдвигают гипотезы, строят модели...

Защищают диссертации...

Как же эту каменюку корежило!

Какие силы!

Есть изначальная бессмыслица во всех потрясающих природных процессах.

В движениях материков.

В полете планет вокруг звезд.

В столкновении галактик.

В существовании великой горы Мак-Кинли.

Кому все это надо?

Только туристам.

Долина километров в тридцать шириной.

Широка долина, а подошва горы Мак-Кинли — еще больше.

Где ты, снежный медведь Аляски?

Почему прячешься от моих линз?

Елки издалека смахивают на кипарисы.

Но Мак-Кинли не похож на Ай-Петри.

Едем обратно.

Великую гору Мак-Кинли мы так и не нашли, отчего она в наших душах еще больше выросла и потяжелела.

И стала еще прекраснее.

Потому что мы можем ценить и любить только то, что не имеем.

Восторгаться и благоговеть только перед тем, что никогда не видели или навсегда потеряли.

Прощай, Денали.

До свидания, Мак-Кинли.

Провались в тартарары, о возлюбленная гора.

Увидимся в конце времен.

Соединимся — вместе со всей вселенной — в точке схода-коллапса.

Адье!

Сделали привал.

Посмотрели в лавке-вигваме сувениры — под индейцев.

И тронулись в путь.

На север, в Фэрбенкс, где мама сварила для нас гречневую кашу.

СОВА

И сова кричала, и самовар гудел.

Вы захотели меня в «друзья» для коллекции, а я то думал, что Вы прочитали мои книги и решили подружиться с автором. Как бы это было прекрасно!

Прочитали бы хотя бы одну мою книгу.

Или хотя бы один рассказ в одной из книг.

Или абзац.

Предложение.

Одно хотя бы слово!

Или запятую!

Точку!

Хотя бы пробел увидели и восхитились!

Ох уж, эти пробелы... Сколько в них тайных смыслов!

Погода в Берлине сегодня — первый раз за этот проклятый год — хорошая. Тепло, светло.

Долгих лет обещать не могу.

Жизнь у нас дурацкая.

Двадцать два несчастья.

...

Литература — разговор автора с читателем?

Ну да. Разговор.

Ни в коем случае — не с самим собой.

Зачем забираться с ногами в собственное горло? Можно задохнуться.

Но скорее — охота.

Надо уловить читателя, чтобы пропасть в нем без следа. И если уж побеждать или проигрывать, ломать дрова и показывать кузькину мать, пускаться в разглагольствования или бессовестно блудить, то только в нем, в ней, не в себе.

Без читателя текст — пустышка, а автор — мертвяк.

Буковки оживают только в его живинках.

Фронтальная атака? Вздор. Отскочит, как от стенки горох.

Отсюда и сюжеты и диалоги и рассказы и метафоры и катарсисы — это сорокалетнее вождение за нос по пустыне, дуликарамельки и другие хитрости ловитвы.

Подсласти — читатель клюнет, проглотит горькую пилюлю, и твой фантом надолго поселится в его башке и будет оттуда зырить на белый свет.

Зачем тебе эта вторая жизнь, если ты и с первой-то справиться не смог?

Батюшки, целое кольцо противоречий. Вот на этом кольце и висит художественное творчество, как ключик.

Ключик этот открывает дверь, за которой вроде бы ничего и нет. Невежи называют это параллельной реальностью. Потусторонним миром. Зазеркальем. Королевством золотого слоника.

Помилуйте, всякому безобразию есть свое приличие!

Вот, пробежал лисенок.

Упорхнула бабочка.

Ветер поднял пыль.

Дождик закапал.

Мясник скабрезно улыбнулся.

Пожалуйте к столу!

Скатерть пахнет мылом.

Ни смерти, ни бессмертия, ни параллельной реальности.

Нежная ты стала, Дуняша!

...

Из письма переводчику Кафки.

Прочитал по-немецки главу из Замка.

Замок по-немецки — дас Шлосс — это ОНО.

ОНО, оно, оно, расползшееся на вершине горы чудовище, спрут...

А по-русски это грамматический вечно ОН — зловещий карбункул, солевой кристалл. Как переводить?

Да и вообще — непонятно, зачем этот очевидный кошмар, этот мазохистский бред несчастного туберкулезного еврея тянуть-тянуть как резину?

Единственный твой шанс победить гладковатую, смазанною маслицем для комфортного прожора Р-Ковалеву — это передать терпкость, неприятность немецкого языка автора. Это будет приближением к настоящему Кафке — но читатели возопят.

У тебя там «Крепостная гора» в первом абзаце отсылает сразу в фальшивое пространство. Нет у Кафки никакой крепости. У Ковалевой — «Замковая гора», это тоже плохо.

Я бы написал так: «Вершина холма, на котором расположился Замок, была окутана туманом и тьмой...»

...

Помните, как на вузовских экзаменах по идеологическим предметам нас заставляли «суть» излагать? Как будто у всей этой коммунистической отрыжки была какая-то суть. А мы с мордами, изо всех сил демонстрирующими энтузиазм и страстное желание изложить эту самую сокровенную марксистско-ленинскую суть, продолжали лить бессмысленную словесную воду. На школьном выпускном экзамене по литературе в далеком 1973 году меня попросили изложить суть конфликта между главными героями в пьесе Тренева «Любовь Яровая». Это был удар ниже пояса. Потому что пьесу эту я не читал. Как кстати не прочитал ни в школьные времена, ни потом, ни «Как закалялась сталь», ни «Молодую гвардию», ни одной работы Маркса и Ленина. Потому что интуитивно чувствовал, что эта ядовитая гадость отравит мне внутренности. На мою беду, я не только не читал пьесу Тренева, но даже не знал, что «Любовь Яровая» — это имя женщины. Не обращая внимания на то, что «Я» — это заглавная буква, я сам для себя решил, что «Любовь Яровая» это некая любовь на яру. Что такое «яр» я тоже толком не знал, хотя «Бабий яр» в урезанном виде и читал. Родители дали книжечку, заклиная никому не показывать и не рассказывать... Я тогда, на экзамене, подумал и вообразил, что «Любовь яровая» — это пасторальное описание любви колхозников к Ленину и партии после сбора урожая. В овраге. Соцреализм в зените. Потом поправил себя — не в овраге, а на берегу реки. Какой реки? Натурально, Волги. Собрали мол советские труженики урожай и начали праздновать на яру, на берегу великой реки Волги, водить хороводы, заплетать венки, жечь костры, танцевать (зипуны, плисовые шаровары, усы, сдобные бабы, ансамбль Моисеева), славить Ленина и партию, и петь

хором патриотические песни. Но, почему, черт побери, они от меня требуют рассказывать о каком-то конфликте между главными героями? Ага, догадался я, в пшенично-серебряную компанию с серпами и балалайками, втерся сорняк-вредитель. В то время, пока все мирно празднуют и любят, он, злодей и сын кулака, никого не любит, он жжет собранное в непосильной битве за урожай зерно и одновременно отравляет колхозные колодцы. Одной рукой жжет, другой отравляет. И мерзко посмеивается. Но один из колхозников — сын полка и сознательный пионер Павлик Морозов давно разоблачил кулацкую гадину и пытается в одиночку, не испросив разрешения и совета у старшего товарища, седовласого парторга Сидорчука, пресечь преступные действия негодяя. Вот вам, товарищи, и конфликт. Борьба хорошего с еще лучшим. Сознательный пионер рвется вперед, седовласый парторг пытается направить его энтузиазм в единственно верное русло... Фантазия моя побежала дальше легко-легко, как фея по тропинкам Зазеркалья, и я начал, не называя имен, вдохновенно пересказывать экзаменационной комиссии мой собственный сюжет «Любви Яровой». Я так увлекся, что даже не заметил, как вытягивались лица экзаменаторов, вытягивались, вытягивались, а потом еще и покраснели. А затем и побурели от справедливого гнева. А потом...

Да-с, потом...

Потом было еще смешнее. Поскольку моя возмутительная галиматья не противоречила фундаментальным советским идеологическим установкам, меня не стали топить, а начали задавать мне наводящие вопросы. Я отвечал — впопад и не очень — стихотворными цитатами.

Меня спросили, в каком здании помещался ревком.

— Ревком? Аааа... Режу в среднюю. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я поменял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы...

На меня недоуменно посмотрели и спросили, что рассказал матрос Шванда машинистке Пановой. Тут я, неожиданно для самого себя запел.

— Я расскажу тебе много хорошего / В ясную лунную ночь у костра. / В зеркале озера звездное крошево...

— Крошево?

— Ну да, крошево, от крошить. Как у Горация. Дева, узнать не стремись, когда перестанет Юпитер, скалы у брега крошить волнами Тирренского моря. Будь разумна, вино очищай...

Ну и дальше в том же духе. Экзаменаторы не знали, что делать, дуровозку вызывать или пятерку ставить. Стихов и песен я знал тогда чертову кучу — через полчаса меня отпустили с миром.

...

Об «Архиерее» Чехова.

Единственное наслаждение — это припасть устами к метафизическому источнику бытия. К устью существования. Ощутить радость от соприкосновения с исконной неопределенностью, безначальностью, трансцендентностью всему профанному. И элегантно маскируя реальностью — непознаваемое — написать рассказ об этом, ни разу не упомянув главное...

Таков и Архиерей.

Так и будет, бедный, кружиться над нами, мотылек.

А мы будем о нем плакать...

...

Письмо пианисту.

Репетиции слушать интереснее, чем полный концерт, может быть потому, что все устали от этих больших законченных классических форм — прослушали их уже сто раз в очень хороших исполнениях. А тут — контраст между словами, паузами, шумами — и вдруг возникающей и, главное, пропадающей прекрасной музыкой.

Большая форма — что музыкальная, что живописная, что литературная — это диктат, тебе диктуют сорок минут, а ты должен восторгаться и воспарять, и падать, и разбиваться...

Осточертели, мамочка, эти американские горы уже в юности (романы-жан-кристофы, историческая живопись аля утро стрелецкой казни, оперы-лоэнгрины, первые концерты, седьмые симфонии).

А репетиция — подготовка — это то, что люди уже почти и забыли после сотен парадных-королевских-торжественных и торжественнейших концертов — это живая музыка, игра, игра на рояле и других инструментах, чудесный теннис, где не только дирижер неистовствует и его музыканты наяривают, но и сами Чайники-Рахманы-БетховЕны по площадке бегают в коротких штанах, и мы, слушатели, вместе с ними. Убежден, что крохотными лучезарными кусочками, твоя репетиция была лучше премьеры...

Белого дуплетом в угол!

Мне люба только литература-репетиция.

С английским языком я тебе помочь не могу — когда-то болтал свободно, а потом немецкий его из моей головы выдавил.

Если ты не забудешь золотые правила мемуариста, то и без меня справишься:

Поменьше размышлений (это мыло)!

Рассказывай истории — малые и большие — как будто они произошли с тобой, сухо, кратко. Пиши прямо то, что хотел написать, не финти.

Старайся избегать оценок. Пусть читатель делает выводы сам.

Описывай подробности со смаком.

Относись иронично к самому себе. Не жалуйся. Щади других.

Но если бьешь, то насмерть.

Был на свете такой-сякой... Симеонов-Пищик.

...

Восьмое марта близко, близко...

Эти, пахнущие папиросами Беломор, совейские сантименты — отвратительны и у Р.

У него, человека, постоянно живущего в России — как и у многих других — есть специфические девиации сознания. Несмотря на то, а может быть и потому что — он их каталогизирует, собирает и даже ими литературно вдохновляется.

Домашняя библиотека, табуретка, прокуренная кухня, непрекращающееся соревнование альфа-острословов, примитивная архитектура, регулярное самопознание перед сном, удушающая атмосфера третьего Рима... — это бытие определяет сознание россиян.

Перенасыщенная интеллектуальными миазмами проза.

Тараканье ристалище.

Соцарт на крови.

Епиходов биллиардный кий сломал!

...

У вас руки белые-белые.

Бессмертие было бы адом.

То, что мы называем жизнью, возможно только при условии постоянной сменяемости — клеток, организмов, правительств, народов, государств, цивилизаций. И цель и смысл жизни — не

ты сам, не твое творчество, здоровье и счастье, и даже не здоровье и счастье других, лучших чем ты, не звено цепочки и не сама цепочка, а только вечное обновление...

Поэтому так смешны попытки стареющих художников и писателей построить для себя нечто вроде защитного кокона или саркофага, мумифицировать самих себя в картинах и гравюрах, закодировать себя на страницах своих текстов, до потолка набить погребальную камеру своими подобиями.

Единственное, что требуется от отживающего свой век человека — это умение вовремя заткнуться, убраться... и не мешать росткам новой жизни прорастать сквозь колючую проволоку никому не нужной старческой мудрости. А уж какие это будут ростки — не нам судить.

Все наши музыкальные, живописные, бронзовые или словесные памятники самим себе — с точки зрения новой жизни — не более, чем отстриженные ногти мертвеца.

Не надо вылезать из гроба и сосать кровь у младенцев!

Не надо обижаться на осиновый кол — единственную награду, которой награждают нас молодые!

Вот так, лай, не лай, а хвостом виляй!

...

Дорогой С., получил Вашу маленькую книжицу, перевязанную такой родной веревочкой.

Мешочек иголок.

Нет, мелконарезанной смысловой лапши.

Или — пастерначьей икры.

Копошатся бесенята. Лупятся, вылупляются...

Металлические слова-головастики — смарцы-самарцы-кузнецы.

Ты кузнечика за кривой усик — хвать!

А он уже улизнул.

На его место — уже другой смыслик лезет, крылышками железными шуршит, фацетными глазками поводит, стрекочет...

Автор — сучий пес — отдышаться не дает читателю-мне. Не успеваешь проявить негатив — а он уже крохотной сабелькой — по сусалам. Беги дальше по строке, дядя!

У ваших стихов пульс за 180, а давление невысокое.

Ваши строчки ранят мне нёбо.

Ранят небо.

Позвольте пригласить на вальсишку?

Барин покойный всех сургучом пользовал.

Помолился за С., положил в церковный ящик евро и попросил Бога за ее душу.

Когда музыкант заиграл хорал — ужасно плохо заиграл, как деревяшка — у меня по щекам полились слезы.

Понял простейшую вещь — не надо играть как-то особенно хорошо. Все от лукавого. Достаточно честно, бегло и сухо отыграть произведение. Бах и Шопен свое дело все равно сделают...

Продавайте и меня вместе с садом.

...

Как приятно играть на мандолине!

Пошли мы всей компанией гулять в секвойный лес.

Гуляли-гуляли.

Потом вдруг поняли — мы тут не одни.

ОН смотрит на нас.

Не человек.

Хорошо, если медведь.

Поспешили к машине, да в соседний городок — в супермаркет.

Там сразу успокоились.

Гуляли вдоль полок с овсяным печеньем, орехами и конфетами.

Так-то лучше...

...

Океан.

Глядя на эту тяжелую воду до горизонта, понимаешь, что время и пространство и материя и пустота — только различные побеги одного и того же дерева.

Корень его растет из неопределенностей, в них же исчезают его плоды.

И вообще все.

Так что... надо радоваться тому, что удалось хоть немного на это посмотреть, подышать, попищать...

От шара направо в угол!

Не мельтеши в предбаннике вечности.

ПОСТСКРИПТУМ
К КНИГЕ «АЛКОНОСТ»

Времени у меня полно — но для мысленного перехода из моего — бездуховного вакуума в твой перенасыщенный — духовным кислородом православный мир требуется мужество, которого у меня нет. Трудности — языковые. Отвык от высоких слов, на Западе давно обесценившихся. И, к сожалению, неспроста.

Девушек с узкими лицами и длинными бедрами я в нынешней Москве тоже заметил. Некоторых даже смог сфотографировать. То, что их раньше не было — неправда. У тебя просто была тяжелая юность. Армия... А у меня было много милых длинноногих узколицых подруг. Почти все — дочери гэбэшников, космонавтов или партийных боссов. Были они милы и нежны, но для пропахиванья — духовных полей не годились. Фиалки.

...

— Время связано с частотой дыхания или, например, взмахов крыльев бабочки. Колибри машет крылышками и дышит примерно в 500 раз чаще, чем человек. И соответственно в 500 раз быстрее течет время маленькой птички.

Россия, сама не замечая, живет в замедленном времени, постоянно отставая от других. В моменты «Х» происходит страшное ускорение, возникают разрывы. Ужасы.

Когда жареный петух клюет, Россия прыгает как кенгуру, падает и разбивает себе морду.

Россия не упилась, а обожралась пространством, отравилась им, как алкаш — древесным спиртом из брошенной цистерны.

Что она с этим пространством сделала? Средняя полоса вырождается, деревни исчезают, средние и малые города дряхлеют и пустеют, великолепный Урал загажен радиацией, Зауралье осваивается китайцами...

Москва крепнет, провинция скудеет. Страна ничего не производит, кроме того, что из земли можно взять. Украсть у самих себя. Что? Все не так? Тебе виднее.

…

Будь осторожен с математикой и особенно с физикой. Метафизика, как выяснилось, стоит куда меньше физики, алхимия спасовала перед химией. Очень тяжелые камни легко транспортировать с помощью самых примитивных орудий. Небесные великаны — олигофрены, умер не только Фауст (недавний ураган сломал две огромные ели, которые росли рядом с его башней), но и Мефистофель.

Боги уже и не смердят. Воскрешать их искусственно — занятие опасное. Их отсутствие сильнее, чем их присутствие. Поживем, друг, в темноте, без света.

Или включим электрический свет.

Тешить себя «духовностью и боженькой» сладко. Так блондинистые девки зажигают свечи, курят ароматы и развешивают шелка прежде чем вульгарно отдаться. А потом ограбить клиента.

Я всегда ценил в тебе непримиримый к фальши аттический дух. Куда тебя занесло?

…

Рассказ «Мне было 19 лет» 39-летний Л. написал в лагере. Отсюда порнографический стимул — как у маркиза де Сада, расписавшегося вволю тоже только в тюрьме. Этот рассказ — смесь достоевщины и эротизированной живописи мирискусников. Откровенная порнография была бы интереснее — тут философская начинка и культурное — ля-ля не помогает, тут сила слов нужна. Чтобы ширинка порвалась.

Твой текст — сатира на публикацию этих, порожденных зудящими яйцами и постящимся брюхом, больных цветов — родился из желания отомстить мертвому старику. Прокалывать шилом эти яйца не надо — они и так пахнут нехорошо, их надо было бы похвалить... С трибуны.

Плохо, что трибуны нет.

…

Ты задел меня замечанием о материи в обмороке, о жизни, невозможной без высших сфер, без высших сил.

Всю жизнь я тоже так думал, потому что так нас учили мудрые, так легче противостоять судьбе, безразличию природы, неизбежности смерти.

Так интереснее. Так тебя кто-то слышит (эти самые высшие силы). Постоянно наблюдает.

Опыт эмиграции научил меня, что одиночество абсолютно. Никто не слышит нашего курлыканья...

Смерть крепка. Не путешествие, а конец.

Конец — сильнее путешествия, крепче ада и рая, интереснее мистических построений.

…

«Материя, которая в обмороке» существует только для людей не видевших фотографий микромира (электронный микроскоп) и макромира — слияния галактик, рождения и смерти звезд...

Тут не просто — панта рей. Тут и следа «материи» не видно. Сгустки энергии. Облака вероятности. Взрывы. Коллапсы. Скорости не человеческие. Взаимосвязи не антропологические. Постоянные обмены энергией. Активные химические процессы. И полное равнодушие к апломбам человека.

Мы на все смотрим из своего масштаба времени и пространства, мы все очеловечиваем. Любой кусок «материи», будь то статуя Праксителя или космический челнок в масштабе час — сто тысяч лет, рождается и исчезает за несколько секунд.

В другом масштабе звезды возникают и сгорают за несколько мгновений. Для нас вселенная — миллиарды световых лет. Для других — один шаг. И это вовсе не значит, что эти другие — выше нас. Скорее всего, они кретины.

Каждая раса живет в своем масштабе времени и пространства. На уровне сантиметров совершенство — насекомые. На уровне двух метров — человек. На уровне парсеков — звезды.

…

Человек не выше муравьев. Совершенства возникают в своих масштабах. И судят о мире по своему локтю. Материя не стоит (как нам кажется), не течет (как мы догадались), а кипит, возникает и исчезает, постоянно меняет свои формы и свойства, пре-

вращается в энергию. В плазменном реакторе природы (отдадим и мы дань мирискусникам) празднуют свой дьявольский карнавал кварки и нейтрино. Не бытие, а вероятность бытия. Не пространство, а постоянно возникающая и исчезающая субстанция, временно-пространственная бурлящая каша, которой в нашем (кажущимся) трехмерном, ньютоновском мире ни аналога, ни названия нет.

И «высшие силы», если они и «есть» (что они едят?) существуют в своих нишах бесконечномерного пространства. Если им и есть какое дело до нас, что очень сомнительно, то это — экологические проблемы, «заповедники», «аквариумы».

Не исключено, что «элохимы» создали Эдем именно как аквариум с золотыми рыбками. Для потехи. Или на продажу. И смылись, когда надоело вмешиваться. Или просто когда деньги кончились.

Человек в лучшем случае не уничтожает муравьев.

— Жизнь это самоорганизация материи не на кварковом уровне, а на уровне протеинов. Биокомпьютер. С волей. Кто запрограммировал? Высшие силы? Возможно.

А может, и нет. Программировать то пришлось только первую, исходную клетку. Дальше все пошло-поехало само (говорят биологи). Мы все потомки этой клетки, мы несем в себе ее свойства. И этим ограничиваем наши ментальные возможности. Наша жизнь возможна лишь в этой временно-пространственной нише. Между двумя ударами кометы.

…

Да, обычный ответ — мертвенное молчание, в котором слышится презрение к само-званцу, само-позванцу, само-писцу и отсебятнику. Не будь слишком строг, не трудись ставить меня на место! Доказывать, что русский писатель за границей — мертвый писатель. Быть мертвым не так уж плохо. Гораздо хуже — себя на родине чистить. От чекистского помета...

Я свое место в мире мертвых обжил и обустроил. Но упрямое само-позванство и само-посыланство берут свое — и я посылаю, упрямо посылаю электронные письма с того света в редакции света этого, жду сюрпризов... И получаю.

Дозвонился я до редакторши одного из престижных московских литературных журналов. Скверная, видимо, баба. Голос капризный, визгливый. Говорили мы минуты две. Только потому, что у меня протекция была. От доброго старого Бориса Х-ва. — Просто так она бы со мной и двух секунд не проговорила...

— Получили вы мои тексты?

— Да.

— Прочитали?

— Нет.

— Семь месяцев у вас лежат...

— Многие по десять лет ждут. И вообще — мы на компьютере не читаем!

— Почему не читаете?

— У нас компьютеров нет...

…

Позвонил мне главред журнала эмиграции «Другие берега», выходящего в Италии, господин Ободзинский. Он не стал мне петь песню «Эти глаза напротив», а сообщил, что моя проза одобрена редакцией к публикации в их журнале. Я помягчел, ободрился, пустил слюну.

Еще через несколько недель на интернетной странице «Других берегов» появились мои рассказы... Гордости моей не было пределов.

— Ага! — говорил я сам себе, — вот оно, новое! Пришло! Изменится моя никчемная жизнь. Напечатали! Да еще и такой огромный кусок! Не пропадет мой скорбный труд!

Начал я считать и пальцы загибать. Один экземпляр для мамы, второй для первой разведенной жены (чтобы знала, какого парня потеряла), третий для второй жены (чтобы оценила и прониклась), четвертый для близкого друга, который обиделся на мой отъезд и прекратил со мной отношения (знай, мол!), пятый для... Всего, для начала, заказал десять книжек журнала. И жду и жду.

Нетути. Звоню — глазам напротив. А они мне отвечают — наш журнал, извините, издание виртуальное, не бумажное... Вы, — говорит, — не поняли... Может быть, когда в будущем... Того... Напечатаем. И слышу я на другом конце звонкий девичий хохот. Вот так гундосых и учат, как говорили в застойное время.

Вы умеете сердиться! А я умею сердить. Ваши тексты из металла, зубам больно, мои из теста. Специально недопечённого.

Поймите, из меня критик или читатель, как из говна пуля. Застреваю на первых же словах, застреваю на согласованиях, читать мне больно, как языком по наждаку елозить.

Не люблю молочную московскую поэзию! Прокисает, когда на подоконник поставишь... На свет.

Я писал о хвостах образов, а у вас тут — их веснушки, родимые пятна и шрамы, шрамы... Страсти-мордасти. Высоко залетели!

Залезайте лучше под кожу, вы, певец сукровицы!

…

Почти две недели торчал в Иерусалиме. Фотографировал для выставки. Достали меня и спесивые евреи, и злые арабы. Пришел в ярость — написал на Золотых воротах (замурованных еще в седьмом веке) старого города короткое русское слово. Ничего умнее из себя выдавить не смог. Обратился так и к арабам, и к евреям, и к Мессии. Написал карандашом, мелко, чтобы Мессия все-таки не прочитал. Случайно.

…

Отлетев и погрузившись (эмиграция), теряешь дыхание, и ясный смысл в голове тухнет. Надо денек в барокамере посидеть, а то кислород в легких и в мозгах закипает.

Вы написали про Р. правильно. Отсутствие поэзии, этого прелого горького листа, который нам так дорог... Бездушие, мертвенность — хороших текстов. Трупный яд — концептов и других красивых слов, призванных морочить читателю голову. Точка, точка, запятая... Р., действительно, не грибница, а камень. Если страницу его текста потрясти, все словеса и буковки, как сухие муравьишки с нее слетят. Ни слезинки, ни жиринки не останется.

…

Тема моей жизни.

Бегство живого в потустороннее. В общество людей, ставших словами. Отторжение от группы. От коллектива. Вон из людского потока, из нормальности, из города, из страны, а потом и из реальности. Шаг в потустороннее.

Спрятаться в потустороннем. Убежать от рутины, от всепроникающей вульгарности вещей и людей. От их плотского запаха. Спрятаться в потустороннем, уйти, дать оставшимся возможность занять твое место, позволить их железным челюстям разгрызть кость реальности, вылакать кровь твоей современности. Скрыться в пустоту...

…

Текст П-ва демонстрирует симпатичный инфантилизм москвичей. Птолемеевское сознание. Он заставляет богов и духов крутиться вместе с Москвой, летать вокруг провинциальной звездочки, мчаться вместе с ней в бессмысленной пустоте вселенной. Нелепо приписывать нечто месту и времени. Суть существования — вечное ускользание. И от нашего места в пространстве и от нашего времени. И от богов, тщетно взывающих к нам из-за стенки аквариума...

…

О запахах. Вы большой мастер их описывать. Но их у вас слишком много. На одной странице я насчитал сорок. Этого ни один нос не выдержит. Запахи у вас живее людей. Как у Гоголя. Но Гоголь не разъясняет, оставляет абсурд висеть в воздухе. Когда ударился в разъяснения — пропал.

Ваши предложения меня изнасиловали, в них есть клацанье зубовное, отражение-повторение внутри зеркального шара и астматическое задыхание... Не может мысль из предложения выдраться. Застряла в словах.

«Т.» — книга чудовищная. Вполне оправдывающая свое безобразное название и ужасную обложку. Огромный розовый ком словесной пены. И трахают в ней не часто упоминаемых автором толстозадых женщин в розовом пеньюаре с кружавчиками, а читателя. Трахают бесконечными замечаниями, разъяснениями, пояснениями, немотивированными переходами, лишними подробностями, лишними именами, словами, словами... Нельзя так упиваться писательством. В павлина можно превратиться.

500 страниц текста разъяснений. Разъяснения, нотации, жалобы. Мотивации не поспевают за фантазиями, приходится привирать, пытаясь наверстать темп. От этого на и без того дряблой коже вашей прозы образуются складки и дырки.

Позиция рассказчика — над повествованием. Поэтому трудно сопереживать. Со-жевать. Со-сношать. С помоста не с руки. Диалоги не заостряются, позиции героев расплываются, яды и соблазны не действуют, отстраненная философия раздражает...

Не получилась многоголосица — ревнивый автор затыкает всем рот. Дублирует собственных героев. Размышляет сам с собой, распиная повествование на классических литературных схемах. Наворачивая бесчисленные завитушки, чтобы скрыть свой усталый образ.

Книга страдает словесной водянкой. Диабетом. Крови в ней мало. Поддался автор соблазну большой книги. Написал. А из нее льется сладкий глицерин.

…

Открыл «Прозу», «Вавилон»... И поспешил закрыть. Десятки тысяч авторов. И все потрясают текстами как копьями. Понимаю людей, которые не читают. Не хочется протягивать километровую корявую нитку чужого бреда сквозь мозги.

Как вы не задыхаетесь в этом болоте? У вас жабры, вы — человек-амфибия.

В Москве не волны, а хаос, рябь Азии. Рябь эта сквозь ваш текст прошла и подарила ему форму. Используйте! У вас достаточно на это сил.

Если бы я возвратился — был бы без угла.

Вы работаете в поте лица своего, а я в поте лица отдыхаю, разжирел безмерно и пишу только про детство. Потом неинтересно. Лет в двадцать семь человек входит в зону смерти и оцепенения. Если вынырнет, лет в пятьдесят — то может что и поймет. Если очнется... А так... Туман, свинец, рутина.

У вас есть любовь, а у меня только боли и заботы. Перед вами солнечная мельница — Москва. Бросайте слова на ее крылья, и она их сама разбросает в прозу или стих.

Упивайтесь квасным молоком этой суки.

Если я вас раздражаю, не читайте. Мой бегунок не по лесенке смысла бегает, а по желёзкам, как небесный кузнечик по звездочкам.

Для разумного — каторга. Я хочу в простых словах не смыслы донести, даже не образы отчеканить, а образовы следы потрогать... Мелькунчики.

Согласитесь, все, что на «Гранях» пишется — и старо и не оригинально. Все уже было и говорено и переговорено и переварено и забыто. От этих разговоров — колики. Говорить то не о чем. Все проболтала сорока лет сто назад.

В небесах от русских гениев тесно, а на земле — Вий стоит на страже. Там дубинки положены архангельские. Одна дорога — к муравьям, к мышам, в грязь. Хоть и это было и до совершенства даже доведено. Подполье. Подлавочье. Шесток.

…

На Россию я давно махнул рукой. И на себя, и на мир, и на Бога. Тут не нигилизм и распущенность, тут — простите, не вышло, стройте свои вертикали сами. А я в речке хочу поплавать. На другой стороне собачка лает. А во рту монетка медная.

Ни с кем мне не хочется спорить.

Умные люди приводят меня в ужас. Как они могут там жить?

Русские слова пропадают. Смеются боги... Всю жизнь гоготал как ящер над языком Набокова, — благородным, но без сока современности. С бабочками, но без гнилой капусты советского продмага. Фиолетовым стерильным языком чистилища... А теперь и сам попал под стекло.

…

«Грани» мне надоели. Реагируют на меня только бригадники. С ними воевать все равно, что честной женщине соревноваться с б...

И винить некого! Все мы, жившие в брежневскую эпоху, виноваты в том, что тогда происходило. Не одни только гэбисты и коммуняки. Они были молотом, а наковальней были мы. И сегодня — все виноваты в том, что происходит.

Хотите, чтобы я в эту Россию возвратился? Закукарекал и жертвой заделался на старости лет? С моим брюхом?

…

Империи нет, а бородавка осталась.

Сковырнешь — еще тысяча вырастет.

Последние месяцы мне непрерывно грозят в интернете. Както вычислили моих дочек... Грозят убить.

В сентябре 1990-го взял я перпендикулярный курс. Слез с печи. Захотел от русского языка оторваться. А он меня догнал. В полете. Вот и стал я стрелком. Стреляю. И все в молоко, в молоко.

Уползаю в подробности. В густую травку. Уж-замуж-невтерпеж. А там рыщет волчок.

…

Это Рождество проведу один.

Обижаю всех. Как старый павиан. Всех царапает, бьет, а потом сидит на высоком суку. Смотрит на виднеющееся за зеленым мохнатым ковром серое море. На его белесые волны. И тоскует. Не хочет смириться. Боится вкрадчивости. Знает, что во всем сам виноват. И от этого ему еще горше.

…

После первой моей большой выставки в Германии пригласил меня один критик в гости. Коллекцию старого китайского фарфора смотреть.

Я спросил, нравятся ли ему мои работы.

Критик ответил — ты делаешь такое же цветное чувственное говно, как и твои братья славяне. И наглые восточные евреи. Как в вашей литературе — истерические излияния, бессмысленные подробности, самолюбование, юродство, подлость и чернуха. Какие в жизни, такие и в искусстве. Посмотри на китайцев, — ни одной лишней линии, ни одного бессмысленного прибамбаса, а цвет — это атомное оружие, появляется только в хорошо отмеренных дозах. Какая сдержанность! Сила! А ты цветом пишешь, масло в масло льешь, сахар в сахар сыплешь. Пестрая блевотина, а не живопись. Старые иконы — это класс! А вы все — ослепшие в чувственном кретинизме провинциальные скоты!

Что-то тогда я ему возразил.

Но он был прав.

Я оставил цвет, перешел на тона.

Но чувственную природу сублимировать так и не сумел.

Пришлось загнать самого себя в текст как непослушное стадо бодливых яков — в загон.

Мое потерянное среди квадратных эпох поколение должно обрести голос. Родились мы после того, как генный остаток старой культуры разошелся, растворился, сгинул под жерновами сталинщины. Из нас наросло дикое мясо современности. За нами идущие смогли нас оттеснить. Раскрыть рот мы так и не успели... Пьем теперь чужое пиво на последней площадке...

…

О моей писанине мне с тобой говорить не хочется. Эти строки продавлены из фонетики в голый смысл. Колющие палочки. Клинопись. По линии отторжения реальности от сознания бежит слово... Тут музыки нет. Одни грубые ударные. Дым над водой летит. Задницы по-скрипачьи пердят. Ни тебе литературы, ни приподнятости, ни вековой культуры — только личное дерьмо.

ВСЕ ОБО МНЕ
И НЕМНОГО О ПОГОДЕ

В моем мире — тихо. На концерты я уже много лет не хожу, нет желания чужую карму ложками хлебать. Композиторскую, исполнительскую... Когда-то очень любил сумрачную музыку — Софроницкий играет Скрябина в его музее.

Потому что сентиментален, к глотке подступают спазмы, из глаз сыпется песок. В голове начинают потом звучать услышанные ноты, и нет от них спасения… Воспоминания лезут в душу, как мертвецы на палубу заблудившегося в Бермудском треугольнике судна.

Проза — белый квадрат, внутри него, о боги, тишина. Только хруст челюстей буковок и слышен. И их притоптывание. Дотошные, едкие насекомые. Проедают ткань судьбы. Но смирные — со странички никуда. Только гладь их глазами, слушай их перекличку и строй себе свои карточные домики.

...

Кто я? Как и все — биологическая машина с набором простых программ для получения удовольствия.

Редко думаю, не философствую (тоска берет), живу себе.... Наслаждаюсь водой, воздухом, тишиной, едой и любовью.

Мой внутренний зверь настороженно слушает пространство. Внешнее и внутреннее.

Фиксирует ритмичный разговор сердца с смертью... Сколько ударов осталось?

Я с удовольствием смотрю. Смотрю на деревья, на картины любимых художников.

Еще больше радости доставляют мне облака и небо.

Стараюсь не нарушать тишину разговорами. Блаженное ничегонеделание — бессмысленными делами...

Хожу гулять с моей доброй подругой. Если я не говорю, она молчит.

Мы идем вдоль узкой речки, тополя шумят, над двадцатиметровой кирпичной трубой вьется легкий фиолетовый дымок, вороны каркают бешено, воробьишки чирикают, серо-белые облака летят над головой.

Стараюсь не давить огненно-красных жуков на асфальте. Они выползают почему-то все время на середину пешеходной дорожки. Парами, сцепившись задами. Любовь делает их безумными.

Над речкой носятся темно-синие стрекозы. Мы замираем и завороженно смотрим на стрекоз, пока они не скрываются за кустами с нежными белыми цветами. Что это за цветы, спрашиваю я мою подругу. Она отвечает: «Спиреи…»

Вы думаете, что я такой активный, строчащий на компьютере бесконечные тексты автор...

Таким я и не был никогда. Даже когда в семнадцать лет писал шариковой ручкой в толстой тетради в клеточку свой первый роман про неудавшееся самоубийство подростка, приуроченное к первому мая.

Живу бедно и тихо, у меня нет ни планов, ни проектов, я не ставлю перед собой никаких задач, не думаю о сроках, ни о ком не забочусь, разве что сумку нести Уте помогаю.

Один раз в неделю посещаю дочку и внучку. Ни с кем не переписываюсь. Погряз в блаженной мизантропии. Ем яблоки. Наслаждаюсь нежностью бытия, пока не сдавит сердце или колено не заболит.

Вы рассуждаете о духовном слое, о бесконечных мистических пространствах и мистериях...

А мне надоели мистические пространства, не нужны мне больше и мистерии.

Я никуда не стремлюсь, я застрял в каменном гробе реальности.

Метафизика, эта измученная профанами кошка, согнула свой многоцветный хвост. Мяукает, норовит щеки оцарапать. Я говорю ей — тссс…

И принимаюсь за розовые креветки, сваренные Утой в соли Мертвого моря и обрызганные лимонным соком…

Не забывайте, что Вы пишете автору, который ВСЕ собирает — и драгоценности и мусор — и лепит из этого колкого материала своих героев. Вроде скульптора стиля модерн, сваривавшего различные железяки…

Я пишу рассказ не о Вас, а обо мне самом, думающем о Вас...

Напряжение будет возрастать и падать. Текст будет мягко пульсировать.

Перед самым концом эта маленькая вселенная взорвется как огненный шар...

Слова и буковки разлетятся во все стороны.

Останется — пустое пространство...

Гром. Звон. Гул.

Так гудит рояль после завершающих аккордов.

Так гудит и текст. Всеми своими пробелами.

Раковина.

...

Моя жизнь — отчаянье, оно сгустилось как туман из старого фильма, в котором приходят мертвые прокаженные мстить мне, еще живому.

Хотя я никого никогда и пальцем не тронул, пишу я только о тех, которых убил. Мои рассказы — рассказы палача, молящего свои жертвы о прощении, о забвении. Я отдаю им долг. Когда расплачусь — замолкну навсегда.

...

В начале восьмидесятых я впервые участвовал в выставке нонконформистов в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице. Остался на сабантуй после открытия.

В сабантуе участвовали люди вроде Н. (со свитой), Я. (тоже со свитой), а также В., Д., К. и другие. Ну и их подруги боевые…

Расселись все в каком-то широком подвальном коридоре на досках и ящиках, начали жадно пить водку и курить. Затрясли бородами, засверкали лысинами...

Вдоль стен штабелями стояли картины. Московский запах — табачный дым, перегар, пот, асфальт, выхлопы, отбросы — смешивался с тошнотворным запахом рыбьего клея...

Глаза у художников и их бойцовых подруг налились нездоровым соком, как ядовитые сливы в балладе Пушкина. Начались выяснения отношений матерых самцов. Некоторые рычали как псы, казалось, готовы были укусить... Другие ерничали, братались... Их развязные дамы в болгарских дубленках не отставали от властителей дум — наскакивали друг на друга, как курицы, впивались друг в друга долгими мрачными взглядами, иногда целовались взасос.

Люди не разговаривали, а развешивали свои словеса на сизых простынях табачного дыма или бросались репликами, как будто плевались. Сипели, хрипели, кашляли.

— Ну ты, ета, взял тон! Ета...

— Блин! Баальшая такая картина, баааальшая... И тижолая... Холст провис, такая тижолая... Со зверями. Желтые коровы и саблезубые тигры, да... Как у Марка, блин буду... И Христос распятый над ними...

— Клёво! Концептуалка! Не пропустит вохра!

— Концептуалка твоя — сопли синие! Вот я в Ельце видел картину. Мужик дерет гиппопотама!

— Сам ты гиппопотам, Друзя! Не люблю я тебя... Сделай милость, подохни поскорее!

— Не дождешься, мазила... Застрелись дробью, чувак...

— Как же я тебя не люблю, лианозыч! Сдохни, пожалуйста, я некролог напишу для Правды... Дворницкая твоя душа... Хрр, хрр...

— А ета, его новая вещага с иконами и крестами... Светы-пересветы на пресвятой... Вот же залупил... По самое не могу запялил. Ета... Русь...

— Да, ништяг, картина. Трубка Сталина и котики. Клевый тон... Чувак лессира положил грамотно... Колёры, плавочка... Краплаки на мраморе...

— Как я тебя не люблю! Космический ты мой... Ну подохни, прошу...

На Малогрузинке выставлялся еще раз восемь. Тешил тщеславие. Но с художнической стаей больше не общался — не мог победить отвращение…

Знатоки и умельцы говорили мне — если хочешь чего добиться, побегай за водкой для Немухи или Дробилы годок-другой. Тогда тебя и в стаю примут, и в каталог вставят, и продаться помогут... Никого не трогает, ни как ты рисуешь, ни что. Для них одно важно — не допустить чужака к деньгам, к иностранцам, к сучкам…

...

Слушал сегодня Ноктюрн Шопена (опус 9 B) в исполнении пианиста А..

Начинается вкрадчиво, меланхолично, потом раскидывается веером и начинает укорять... Укорять и поить публику молоком мелодизма, а затем, после нескольких перистых сердечных терзаний, этим же веером слушателя по башке. С треском — хрясь! Проснись и живи, мертвяк!

А. — осторожный фехтовальщик, изящно прокалывает слушателю грудную клетку.

Музыка находит волнами, и мелодия, вдосталь постучав по сердцам нежным мелодическим молоточком, замолкает. И возникает вновь... Сладкие слезы источает рояль-супермаркет.

Мотив повторяется, повторяется… как будто из жалости… А. медленно вытягивает звуки из вечности. Голубоватые звезды мерцают… Выглядывает Луна…

В лунном свете показывается казак-полотер из фильма Чапаев. По сцене пробегает козлоногий Бетховен в парике, вытаращивает глаза, прислушивается глухим ухом, хватает со столика стакан молока, быстро пьет и убегает…

Дьявол-пианист скалит зубы и бросает на стол хрустящие белоснежные кости…

...

Люблю фильмы Федерико Феллини. Моя бедная удмуртка Уля видит во сне лупанар из «Сатирикона», незабываемое волшебное пространство, как будто внутри многоэтажного зиккурата. В каждой комнате соблазны — голая женщина или ребенок. Языком — тремоло.

Наверху — черная дыра, выход в пустоту вселенной. Из человеческого потного рая…

Люблю музыку из Казановы.

Пряные ароматы ночи, тихие говоры умерших, нежные всхлипы прошедшего.

Плитка времени ломается с легким хлопком.

Слаще шоколада.

…

Странно, почему мы не воем в сумерки? Ведь уже в двадцать лет видны жесткие лошадиные космы гойевского Сатурна, пожирающего нас, в тридцать пять — до наших носов доносится смрад из его пасти, а в пятьдесят пять, немногие, еще не сожранные им — ощущают чешуйчатость его кожи, ощущают настойчивое копошение червей в его отвратительных порах…

Казалось бы — вся мудрость человека, весь его талант и энергия должны уходить на борьбу с этим единственным настоящим врагом — временем, пожирающим нас заживо, но нет, мы знать ничего не хотим и пляшем, пляшем как безумные свой тотентанц…

Выжимаем до последней капельки дохлую кошку.

С удивительным равнодушием заколачиваем умерших родных в ящик и отправляем в крематорий. Смиренно ожидающий и наши божественные чресла.

Нет вечного искусства, нет и не будет вечных людей. Как бы ни было хорошо искусство Шопена — и оно устарело. И должно умереть. Если его слишком долго реанимировать — оно начнет смердеть. Уже смердит.

Потому что главный закон жизни — приход и уход, сменяемость. Земля не должна превращаться в музей, в долгоиграющую пластинку или в палату для коматозных пациентов...

Экспонаты музеев не надо реставрировать вечно — надо дать картинам умереть, они заслужили это. Тогда у людей появится желание писать новые картины.

Я видел достаточно картин, которые хорошо отреставрированы, но от оригинала ничего не осталось. И на месте чудесной органической плавки — кричит красками добротный, мертвый новодел.

Старый Бах поморщился бы, если бы услышал свои фуги, исполненные на рояле, а не на клавесине. Слишком много звуковощей. Мы все превращаем в сверкающие вкусные овощи.

Жизнь без Баха была бы для многих из нас — жизнью без Бога. Без надежды.

Старый Бог умер. Пока Бах не похоронен, а бродит по земле, новый Бог не появится… незачем.

Добротолюбие, религиозная философия… Это — мехи ветхие. Их молодое вино рвет и проливается на землю.

Бери удар на себя. Не бойся говорить правду. Мистика конца, философия бессмысленности и неопределенности, торжество смерти — интереснее и убедительнее религиозного опиума.

Когда ты переходишь к общим оправданиям жизни и творчества, к надеждам и упованиям, то начинаешь лукавить, вытягивать как жулик из рукава — туза Флоренского, туза Саровского, Евангелие...

А шестерка (обычная жизнь) бьет туза.

...

Разглагольствования, рассуждения, мнения и прочее — все это имеет для меня смысл, только если разглагольствует литературный герой… Сам я молчу. Все, что пишу — это представление. Мой домашний плейбек-театр одного актера.

Я не знаю, что я думаю о том или об этом. Мое мнение — мне вовсе не интересно. Мне неохота его развивать, проверять... Как только я слышу какое-либо высказывание, которое проговаривает мой внутренний голос, я начинаю искать соответствующего героя и подходящую ситуацию, в которой герой может высказать или подумать что-либо подобное.

Мое собственное мышление начинается и завершается в чертовом гипоталамусе, а весь мир действует и раздражает исключительно мою вегетативную нервную систему.

Все мои герои — суть эти раздражения. Генезис этот, естественно, оставляет на них своеобразный отпечаток — чертового копыта…

На мои робкие попытки поиграть с тобой в эту игру — загнать тебя в героя моей прозы, ты отвечаешь ударами дубины и плевками желчи. Твоя желчь прожигает на моей тонкой шкуре дыры, а дубина оставляет синяки.

В Рим, к девкам, вину и сладким кренделям?

Девок, друг, и в Берлине достаточно. Высоченные, как телебашня.

Винище пить не могу — отдам концы на Аппиевой дороге. Кренделя ел бы каждый день, но и так толстый как боров, впору под Луной летать.

А Гутузо твой — художник говённый.

У меня из-за него случился конфуз. В Пушкинском висит его картина. Или висела. Называется «Воскресение римского рабочего». И противный на ней такой рабочий изображен — цветастый и на крокодила похож. Курит, гад. И проигрыватель слушает. А я студентом водил экскурсии по Пушкинскому. Неофициально, для знакомых. Веду я людей, Рембрандт, Мунк, Сезанн... И вдруг этот рабочий хренов показался. Почему-то я решил, что рабочий этот, вроде как Иисус — воскрес. И нарисовано его воскресение. Теорию развил. Смотрели на меня люди, как на сумасшедшего. А я плел и плел… Только дома, вечером, до меня вдруг дошло, что в названии картины — всего лишь день недели...

Вино, девки и кренделя? Заманчиво, конечно.

Помнишь, в «Сладкой жизни» приезжает к Мастроянни отец из провинции. Симпатичный старикан, в костюме, с воспоминаниями. Казенный такой человек. Состарившийся. А сын хочет отца развлечь, коктейлями его поит и с девушками знакомит. Отец хорохорится, раззадоривается, танцует...

И вдруг становится этому неуместному отцу плохо. Всерьез.

И всем почему-то безумно неловко — и актерам и зрителям.

Вот так будет и со мной, если ты меня из-под коряги вытащишь, да в Риме к девкам с кренделями потащишь. Я конечно заведусь… А потом сердце схватит. И ты будешь думать — на кой черт я этого чувака из его норы вытащил, возись с ним теперь... И всем будет неловко...

Не плачь! Ничто не уходит. Твой римский 1979-й никуда не ушел, ты все еще там, в объятиях божественной Ивы. И останешься там навсегда. Выковырять из времени, застрявшего в нем человека, не может даже смерть.

Все наши мгновения — остановленное время, кристаллы вечности. Фауст ни черта в жизни не понимал...

В каждой нашей секундочке — и только в ней — мы бессмертны. Мы боги.

Иного бессмертия нет и не надо. Иное бессмертие было бы дурной бесконечностью.

Ты ведь наверняка еще в юности играл в мою любимую детскую игру — в Бога. И знаешь, что вселенную нельзя улучшить. Каждое, кажущееся таким желанным, изменение привело бы к фатальному ухудшению творения.

Даже человека, эту дрожащую тварь, эту бескрылую курочку, полную всяческих подлостей — улучшить невозможно. Потеряется жизнь.

...

Рихтер играет чисто, сдержанно, понимая, что его музыка вызовет бурю эмоций у слушателя, Рихтер оставляет в душе слушателя для этой бури место.

Рихтеровы звуки, узкие как графические линии, напомнили мне немецкую и голландскую зимнюю графику, со снегом, с замерзшей рекой, птицами-галочками, с замершими в нелепых позах детьми, с деревьями, с их четко прорисованными веточками, покрытыми иногда цинковым снегом…

Рихтер играет Генделя… его игра интровертна, ледяной мастер как бы впитывает, вбирает в себя звуки, он как бы высасывает Генделя. И посматривает на слушателя украдкой... так, как будто хочет высосать и его.

Посмотрел фильм Монсенжона. Жалко Рихтера до слез.

Он дрожит и стонет, просит оставить его в покое. А его всё спрашивают, спрашивают. Рихтер там как гоголевский колдун перед неминуемым наказанием. Презирает мир и публику, ненавидит себя. Музыка ему опротивела... И он швыряет ее в грязную канаву. И сам тихо уползает в смерть...

...

Есть ли у меня машина?

Был у меня велосипед «Диамант», когда я жил в Саксонии, в городе К. Гонял я на нем по горам, по долам, пока однажды меня сзади машина не ударила. Среди бела дня. В сентябрьскую жару.

Я взлетел и упал, треснулся башкой об асфальт. Машина умчалась в бескрайние дали, а я без сознания валялся. Очнулся — на середине дороги. Морда, рука и бок в крови.

Солнце слепило так, как будто оно приблизилось к Земле и встало у меня перед глазами… Побрел домой. Ни одна сука не помогла. Вызвал такси и в больницу поехал. С тех пор я и на велосипеде не езжу. Только на общественном транспорте катаюсь.

...

Во времена студенчества распускал я язык на семинарах. Задавал неправильные вопросы. Стукача одного чуть не утопил в Черном море. Гэбисты меня приметили, вызвали и пригрозили, что из МГУ выгонят, а на следующий день придут с милицией и забреют в армию, отправят солдатом на урановый рудник. Я представил себе все это и пасть заткнул…

И открыл рот только во времена перестройки.

...

Отдыхали мы гопкомпанией — человек в восемь, несколько комнаток снимали на диком побережье. В начале сентября. Бархатный сезон…

Мой друг Алеша, по прозвищу Дуремар, любитель и знаток музыки и живописи, вернулся только что из Англии. Рассказывал за завтраком торжественно: «Оскотинились они там. Влюблены все в этого урода — Фрэнсиса Бэкона. С жиру одурели. Разговаривают за столом — только о еде, выпивке и деньгах. Здоровые все, благополучные и богатые. Нет в них ни любви, ни боли, вообще ничего духовного, все только на уровне пищеварения… Какое-то мутное сытое прозябание. И искусство такое же, животное, и музыка — дегенеративная какая-то гадость, бездушная…»

Я тогда его предупредил: «Любезный Дуремар, говори о чем угодно, только, не о боли. Ты знаешь, я не верю в Бога, но уверен, что каждое наше слово, словечко, восклицание, каждую нашу мысль — слушают большие мохнатые уши дьявола. И он наверняка очень радуется, когда натыкается на этот стандартный набор юродивого — боль, духовность, соборность, жертвенность… Моли своего Бога, чтобы пронесло».

Посмеялись. Поболтали о Фрэнсисе Бэконе. Пошли купаться...

А вечером — у Алеши пошел почечный камень. Без всяких причин.

Ночью он уже не мог терпеть, бредил и громко стонал, к утру — только кричал...

С огромным трудом уговорили мы какого-то аборигена за десять рублей отвезти его в больницу. Оклемался Дуремар довольно быстро и уже вечером следующего дня вещал за ужином: «Вы все равно не поверите, но после нашего разговора, перед сном, услышал я вдруг жуткое шуршание… Представилось мне, что вся комнатка наша, все ее немногие кубические метры заполнены до потолка огромными волосатыми ушами… И все кто-то ими гадко так поводил… А потом разглядел я в темноте красные глаза Сатаны. И двинулся во мне камень — и всего болью проняло, вначале слабой, вроде как беленькой, а потом — яростной бордовой волной прошило... Как пулеметной очередью... Закусил Сатана своим кривым зубом мне бок и не отпускал… Все, никакой духовности, боли и метафизики. Хочу жить в Лондоне, есть по утрам бананы и говорить только о еде и деньгах».

Алеша Дуремар лет до шестнадцати играл на скрипке, потом ему сломали руку хулиганы на Чистых прудах, где он жил со своим стареньким папой. Играть Алеша больше не мог. Но любовь к музыке сохранял всю жизнь. Собрал огромную коллекцию пластинок. Больше всего любил музыку Густава Малера и Генри Пёрселла, из исполнителей — Альфреда Деллера, Элизабет Шварцкопф и Дитриха Фишера-Дискау...

Я часто приходил к нему в гости. Он кормил меня жареными баклажанами «под грибы» со сметаной и гречкой. Ставил пластинку какого-нибудь хриплого итальянца вроде Тото Кутуньо, мы пили кофе и болтали обо всем на свете. Так проходили мои лучшие московские вечера. Не с девушками в постели, и не в домашнем логове, а в небольшой квартирке у Ногатинского затона, в которую Алешу выселили из центра.

Был Алеша гомосексуалистом, а я, дурак, этого не знал, даже и не догадывался.

Дуремар безумно любил Италию. Выучил итальянский. В конце перестройки основал какую-то фирму, возил в Рим и Венецию директоров советских заводов, чему-то их там учили…

Разбогател в начале девяностых. Сошелся с римскими гомиками.

Дуремар почувствовал себя плохо впервые на пляже, на Мадагаскаре. Приехал домой — отошло. Затем опять началось. Рак легких. И не курил никогда. Оперировали его в Москве. Раскрыли, посмотрели и зашили. Он задыхался, страдал.

Умер он, милый, в Италии, в больнице. Не дожил и до сорока лет.

Побоялся я тогда приехать в Москву, проститься. Струсил.

И КГБ я боялся и еще больше боялся увидеть лицо умирающего друга.

Никогда себе этого не прощу.

...

В Москве у нас была кооперативная трехкомнатная квартира. Библиотека приличная, иконы, картины… После того, как мы уехали, в квартире остались жить друзья. Библиотеку разворовали, мои иконы и картины — пропали, а квартиру нашу продали за смехотворные деньги.

С тех пор я отношусь с иронией к вещам и деньгам.

А когда понял, что мои рисование, которым я страстно занимался почти тридцать лет, никому не нужно — стал с иронией относиться и к самоотдаче, дарению себя, единственному, ради чего стоит жить…

Я дарю себя миру — а мир фыркает в ответ как обиженный пес и делает кучку. Все правильно. Не сваливай свою ношу на других. Тащи сам, пока не сдохнешь.

Мои тексты — вовсе не подарок читателю, а щелчки по носу.

...

История эта произошла в студенческом лагере «Зеленая гора». В семидесятых годах прошлого века. Действующие лица — Гришка-очкарик, моя нежная подруга Эля и я.

Присутствует и хор, состоящий из студентов и преподавателей, но непосредственного участия в действии не принимает. Только мычит и тяжко стонет, как старый прокаженный еврей в образцовом лепрозории имени Кирова на Кольском полуострове...

Оговорюсь сразу, море в этой истории — не одухотворено, хотя оно и является главным злодеем. Что с него взять? Просто море, довольно грязное. Соленое, как вспотевшая задница советской теннисистки.

Устроили лагерные начальники соревнования по настольному теннису.

Я играл прилично, учился в свое время у знаменитого однорукого игрока Димы Калинина, грозы пинг-понговских турниров в Парке культуры в конце шестидесятых. Умел закрутить подачку-неберучку, короткую, над самой сеткой, ошарашить противника горбатым топ-спином из-под стола или элегантной подрезкой…

Летит, летит китайский шарик, как будто выточенный из легчайшей слоновой кости, летит на бреющем полете, а в самом конце, на предательской белой полосе, касается слегка шероховатой поверхности и падает камнем вниз. Противник, приготовившийся гасить, в ярости лупит ракеткой по столу…

В финале встретился я с Гришкой-очкариком. Подоспевшим с другой стороны турнира.

И вот, играем мы наши десять партий, а весь лагерь смотрит. 400 внимательных глаз и 200 сопящих студенческих рыл. Но и меня и Гришку тревожат и занимают только одни глаза, одно милое рыльце.

В Элю я влюблен параллельной, второй влюбленностью. Моя первая любовь — черноволосая красавица Марина, отдыхает в это время в другом студенческом лагере — в Абхазии и проворачивает там небольшой, уютный романчик с аспирантом-филфаковцем. Целуется и обнимается с ним на пляже после отбоя. Я их ласки чувствую и за триста километров. И бешусь. И исключительно, чтобы не сойти с ума — ухаживаю за Элей.

Какая декадентская хрупкость! Плечики узкие. Как будто из японской бумаги вырезаны. Блондиночка. Губы мягкие-мягкие, как пластилин, плавятся, когда я их целую, а длинный жадный язык — как пятнистый питон, жмет мои гланды мертвой хваткой…

Гришка тоже влюблен в Элю. Каждый раз, когда подает, кидает в ее сторону вопросительно-нежный взгляд. Через свои пижонские узкие очки. Как персик ей бросает... А она, вроде, этот персик

ловит, надкусывает, целует и с благодарностью ему обратно запускает. Закадрил очкарик мою девочку вчера на танцах, когда я с дружком моим умным, Роником, о смысле жизни беседовал.

Гасит Гришка хорошо с моих подрезок. Змееныш. Резкая, сухая кисть у гада.

Чувствую, дело идет в засып. Продуваю.

И тут… начал я Гришку проклинать. Честерить-материть.

А когда он последнюю подачку подал, я в ответ закрутил, а он мне в самый угол влепил, как мушкетёр шпагой, а я не только не взял, но растянулся, шорты порвал и ветры громко пустил — тогда я его к смерти и приговорил.

Странный, как будто и не мой, холодный, будничный голос прошептал в моем кудрявом еще тогда резонаторе: «Ты, гадина очкастая, утонешь сегодня ночью, утонешь, утонешь…»

Я встал, поправил штаны, по-иудиному пожал победителю руку, небрежно поцеловал Элю в щеку и помахал болельщикам. После этого ушел спать в нашу комнату.

Меня разбудили под утро. Привели на пляж. Показали труп и сломанные очки. Я помогал тащить Гришку в лагерь. Истерические крики ломающей хрупкие пальцы Эли, я почему-то не слышал. Наверное, уши заложило.

...

Если бы этот текст прочитал знаток моего творчества...

ПОКА, впрочем, таковых знатоков не имеется в наличии, что не так уж и плохо по различным причинам. Так вот, вышеупомянутый знаток скептически посмотрел бы на меня и сказал бы следующее...

Интересно, почему читатели обычно смотрят на автора скептически? Или даже сардонически. Как царь Сарданапал глядел на своих наложниц, рабов, коней и на свои несметные сокровища. После того, как приказал зажечь дворец.

Итак, знаток сообщил бы мне, что в одном из моих рассказов схожий с Гришкой герой, тоже, кстати, очкарик, тонет в Черном море в схожих обстоятельствах, и что не гоже писателю так нагло испытывать терпение читающей публики и безбожно повторяться.

В ответ я бы потупился, тяжело вздохнул и погрузился бы в длительное молчание... А потом ответил бы... Почему писатели часто тяжело вздыхают, потупляются и погружаются в молчание? Что так угнетает нас, несчастных служителей Эрато и Евтерпы?

— Видите ли, майн либер Херр, вы правы, в рассказе Псоу герой, соперник автора, тоже тонет. И действительно при схожих обстоятельствах. Все правильно. И ваш сарданапальский тон вполне уместен. Но... Рассказ Псоу — выдумка, лирическая фантазия на тему детства золотого студенческого... Кстати, а вы знаете, почему в слове студенческий нет мягкого знака, хотя все студенты любят студень? Так вот, повторяю, Псоу — фантазия, а вышеприведенная история — чистая правда. Что, срезались? Так что не советую вам играть со мной в пинг-понг!

...

История эта долго не давала мне покоя. Совесть меня грызла. Неужели я виноват в смерти человека?

Поэтому я рассказал ее при оказии одному известному московскому мистику и алхимику, тайно разводившему золотых карасей в собственноручно вырытой на дачном подмосковном участке яме. Алхимик замаскировал яму густыми кустами малины — чтобы соседи не увидели и не донесли. Карасей он жарил в маленькой сковородке на краденном подсолнечном масле, которое ему поставлял сосед, Колька Пивоваров, работавший тогда поваром в огромной столовой какого-то секретного завода под Кубинкой...

Так вот, мистик этот карасевый выслушал меня внимательно и сказал: «Приговорил к смерти... Ты? Чепуха. Ты просто почувствовал его судьбу. И озвучил ее как смог. В тех обстоятельствах... Ревность, горечь поражения... Так что, не переживай, пойдем, карасиков моих попробуешь. С кардамоном и перчиком... Малыши, а по вкусу не уступают зеркальным карпам!»

...

Знаешь, что народ говорит о воробьях? Как объясняет то, что воробышек ходить не может, а только двумя ножками вместе прыгает-прыгает? Ему черт связал ноги. Или Господь, в христи-

анской традиции, что, впрочем, одно и тоже. Якобы за то, что чирриканьем своим выдал свистун-предатель место, где Христос от палачей прятался, а потом и гвоздики таскал, те, которые в рукиножки, и в пах распятого клевал. Чирикал бешено, пока Спаситель не умер, подавал всему торжествующему аду знак, что и дальше мучить можно.

Чем-то мне всегда и сам Прокофьев, и его музыка этого чирикающего воробья напоминают.

И ритмическое устройство его музыки, очевидно птичье или даже насекомое, напоминает быстро скачущего на своих тоненьких ножках, как на двух ходульках, соединенных палочками, воробьишку. У Прокофьева музыка не льется, а скачет.

Не знаю, какую роль играл он у усатого — что-то слишком много сталинских премий ему надавали, да и за восьмую тоже наградили… И чирикал Прокофий ровно столько, сколько мучительство продолжалось — в один день с дьяволом дух испустил.

Жену-испанку в лагеря отправили. А он в сторону метнулся, на дороге не встал. И из людей его выкинуло, стал чирикающим свистуном-воробьем…

Что-то в лице Прокофьева — лисье… Чирикает… На двух ножках по клавиатуре прыгает, носик о клавиши чистит.

Сквозь его сюр — советские артефакты проскальзывают. Разглядел я старомодные выутюженные брюки с отворотами, даму в шляпке, нелепый вычурный романчик…

А потом тревога…

От своих тощих теней бегут тощуны.

Корчатся в конвульсиях несчастные звуки.

Чириканье, клекот, свист — лютует птичья дьявольская рать.

...

31 января прошлого года я умер. Грудь сперло, дыхание прервалось. Страх, потом — холод и тьма небытия. Продолжалось полминуты. Затем какая-то сила меня из тьмы вытащила. Скорая, больница только навредили.

Теперь я ценю немногое оставшееся время.

Люблю каждую травинку на ржавых берлинских газонах.

Гулял сегодня через шесть мостов — в глубоком восточном Берлине, на темной стороне Луны...

Сколько форм, сколько разнообразных существований.

Симфония, бескрайние поля елисейские, сказочные ландшафты…

Ута приготовила сырники с изюмом — ты бы и есть не стал, а для меня это лучшие деликатесы, потому что добрые старые руки Уты сырники лепили…

...

История о двух передних зубах...

Или о том, как надо разговаривать с российскими дипломатами.

Учился я в начальных классах в английской школе номер четыре за универмагом Москва.

В этой мерзкой школе учились дети начальства, из соседних цековских домов и из некоторых близлежащих громадных домов на Ленинском проспекте, от Октябрьской площади до ресторана Кристалл.

Вот как раз там, на Ленинском, в доме напротив магазина Лейпциг жил один ученик нашего класса, некто Венеров, сынок дипломатов.

А я был тогда влюблен в индианку Притьку, смуглокожую дочку индийских торговых представителей в Москве. Втюрился глубоко, до дрожи. На мою беду звали этого Венерова, отличника и зубрилу, тоже Игорь.

И вот, однажды, на уроке написал я своей девятилетней любимой записку — мы все тогда записки писали друг другу: «Напиши, сколько букв в имени того, кого ты любишь...»

Она мне возьми и ответь — букв пять, первая «и», последняя — «ь».

Я, конечно, обрадовался, мне и в голову не могло прийти, что она другого Игоря, отличника с примерным поведением и заячьими зубами, дисциплинированного и высокомерного Венерова любит. Потому что я, хоть отличником и не был — первенствовал по математике и, чем особенно гордился, слыл самым сильным в классе. Из-за плаванья. Погнали меня в спортивную школу в на-

чале второго класса, из-за искривления позвоночника. Боялись, горбатым стану. Так я и пахал все детство, неизвестно зачем. Каждый день после школы — тренировка, плаванье до посинения. Тренеры — грубые туповатые дяди. Помнится, один из них часто пенял мне за то, что я не расту. Заставлял глотать пилюли для роста. Хватало у меня тогда детского ума пилюли выплевывать… Товарищи мои, которые пилюли глотали, и росли хорошо, и результатов добивались, и мускульную массу имели как баобабы, все уже давно в могиле…

К третьему классу сколиоз мой прошел, позвоночник выпрямился. У меня раздались плечи, и фигура стала как у Антея. Много лет спустя говорил мне мой отчим — ты тогда выглядел, как силач Бамбула.

Я гордился шириной плеч и математикой. В случае конфликтов с одноклассниками, применял в качестве метода убеждения — стальной зажим, а одноклассницам гордо демонстрировал широкие плечи. Не мог я себе даже представить, что избранник моей черноокой индианки — вовсе и не я, Антей-Бамбула, а узкоплечий очкарик, субтильный, с нервными руками и выпирающими худыми челюстями Венеров.

Несколько недель я был в эйфории, дурил и важничал…

Затем до меня медленно, как до жирафа, начало доходить, что что-то тут не так. Любимая моя на меня не смотрела, глазками оленьими в меня не стреляла, зато с Венеровым несколько раз на перемене гуляла. И явно к нему подлизывалась, а он запрокидывал противно голову, от чего-то очень по-взрослому отказывался... И домой он ее провожал, но ранец ее не носил…

И вдруг — страшная догадка укусила меня прямо в сердце как бешеная собака. Понял я, что Игорь-то Игорь в записочке, да не тот. Пришлось мне в первый раз в жизни узнать, что такое ревность. Какая это холера зубастая. Стала она меня грызть, отравлять мне детскую кровь.

Долго терпеть я не смог. На большой перемене взял я могучей дланью гаденького Венерова за грудки, отвел в пустующий класс, дверь изнутри закрыл, как тогда делали — засунул ножку стула сквозь две ручки. Толкнул Венерова в грудь так, что он

полкласса пролетел как голубок и об стену с треском ударился. Подошел к нему, приподнял его над полом, чтобы ножки в узких брючках в воздухе болтались, и проговорил грозно: «Игорек, хочешь, сейчас же выбью тебе твои заячьи передние зубы? Говори прямо, хочешь или нет?»

Венеров протянул: «Не хочууу».

— Вот тебе мое условие — с Приттькой больше не ходи. Не кадрись и не разговаривай. Понял? Больше и предупреждать тебя не буду — вышибу зубы, будешь щербатый как Евграф (беззубый школьный сторож)...

После этого, ткнул я его молодецким кулаком в живот. Не сильно, только чтобы он слова мои запомнил получше. И из класса его выкинул.

С этих пор Венеров больше с Притти под ручку не ходил, домой ее не провожал, и не разговаривал — даже тогда, когда меня рядом не было. Мне классные шпионы доносили. Я таким развитием любовной интриги остался очень доволен и, не торопясь, домогался моей индианки еще два года, и она не была ко мне совсем уж неблагосклонна.

Венеров, видимо, пожаловался на меня родителям, но они меня не преследовали, а сына в другую школу забрали.

И совсем я уже было эту историю забыл, как вдруг, уже сейчас, в новое смрадное время, разгуливая в интернете, натолкнулся на злобное заявление российского МИДа в отношении Америки. И хотя далеко не все мне во внешней американской политике нравится, поразил меня наглый, подлый и лицемерный тон заявления. Смотрю подпись — главный представитель России где-то там — Игорь Венеров. Я давай его фотографию искать — и нашел. Он это, одноклассник мой бывший! Дополз, гнида, до самого мидовского верха. Та же рожа надменная. Скулы. И зубы те же, заячьи.

...

Не бойся, Амфитеатровым ты не станешь — ты останешься самим собой. Из каждого пробела, из-за каждого слова твоего текста будет на читателя выглядывать маленький автор...

Это прозаическое уменьшение автора ты не должен воспринимать как принижение твоего значения, твоей роли...

Все мы лилипутики божьи. Надо уметь сохранять достоинство, даже если не умеешь писать как Марсель Пруст или Лоренс Стерн.

Я ни с кем не враждую и не соревнуюсь. А ты все летишь, как на тройке, в первачи. Если ты презираешь и ненавидишь публику — лучше не пиши. Текст пишут для публики. Для себя пишут только мерзавцы. Для Бога — неизлечимые кретины.

...

Берлинская ночь бежит, как рысь, я чувствую ее асфальтовое дыхание, мягкий нажим ее упругих лап.

Ночь бежит к трем часам — моему часу волка. Сколько раз просыпался около трех в поту от одного и того же кошмара. Я бегу по странной потусторонней Москве и ищу свой дом, ищу родных и друзей... и не нахожу никого. Жуткое темное метро тащит меня по каким-то пещерам, норовя упасть в самый черный центр Земли, ставшей огромной Москвой... Я не узнаю домов — темные воды текут по улицам, я лезу вверх по лифтовым шахтам гигантских домов, в их квартирах — запустение...

...

Однажды у нас под ванной, неизвестно откуда, появилась крыса. Это было мучительно. Крыса бегала по квартире и пугала меня до смерти. Я поймал ее ведром. Подсунул под ведро кухонную доску и так отнес крысу на двор, в сосновый лесок. Пока нес, крыса тяжело билась о ведро, прыгала на стены и плакала. Я выпустил ее в кусты, она убежала.

Крысиный специалист сказал мне, что крысы, побывавшие в плену у человека, умирают потом от инфаркта...

...

Большинство слов в предложении должны играть вспомогательные роли, как темные фигуры в театре Кабуки. Они должны подводить читателя к неожиданному слову или смысловому удару. Зернистые слова должны встречаться в тексте редко, как звезды во вселенной. Иначе они станут враждовать друг с другом и бороться за первенство. Чрезмерная экспрессия густопсового текста — не признак таланта, а свидетельство непонимания автором самой природы прозы.

Внутри фразы, как внутри комнаты, должно быть достаточно воздуха. Хорошо написанное предложение — резонатор.

В процессе писания, как и в процессе богослужения должна совершаться жертва.

Жертва чудесных метафор, образов. Отбор. Фраза должна звучать и жить. Не быть как комната идиота забитой словесной мебелью.

Твои боевитые фразы-войны часто перевооружены, носят слишком много кинжалов, мечей, арбалетов, тащат тяжелые пушки... От этого у них начинается одышка.

Надо тебе набраться мужества и выбросить из каждого ожерелья лишние камни, чтобы одна жемчужина засияла в простой благородной оправе.

...

Я хоть и пишу иногда о голубом огне, но сам никогда не держал обнаженного мужчину в объятьях. Никогда не был в мужчину влюблен. Дружил, уважал, жалел... А влюблен не был.

Голубых понимаю. Их чувство из какого-то другого источника любви. От сердечной, душевной близости, от нежной дружбы — близость телесная, братская, нежность.

Тогда все работает наоборот. Похоти и извраты — святы и прекрасны, безобразие становится красотой, дурные запахи начинают возбуждать и привлекать.

Пространство наполняется радостью. И любовь побеждает все — законы природы, дарвинизм, десять заповедей, эстетику, этику.

Влюбленность — это как бы разрешение богов.

...

Площадь какая-то паршивая. Пешеходная зона вроде. Дома невысокие, три-четыре этажа. На площади — маленький домик стоит. Рядом с другими домами, покрупнее.

Развалюха кирпичная. Краска облупилась. Двери нет, только окно. Подхожу к домику с улицы, знаю — там моя комната, там я живу.

Смотрю в окно с улицы. Комната унылая, железная кровать каким-то хламом завалена, старый стул стоит посередине, у стены — засиженный мухами, трехстворчатый, зеркальный шкаф. Влезаю через окно в комнату. Сажусь на стул. Смотрю на кровать. Мне тяжко, постыло, одиноко.

Замечаю, что на кровати лежит набитая соломой кукла. Мальчик. Это мой сын.

Тереблю куклу, трясу, прижимаю к себе. Пытаюсь ее оживить — открыть губами ее нарисованные глаза. А потом выбрасываю куклу через окно на площадь.

Смотрю из окна. В затененном углу площади копошатся неприятные маленькие существа.

Среди них мой оживший сын. Он показывает на меня пальцем, скачет, гогочет, кидает в меня камешки...

Я отхожу от окна, подхожу к изъеденному ржавчиной зеркалу.

Смотрю на себя. Вижу изможденного, худого, страшного старика. Кожа как пергамент, глаза красные, полуслепые...

Иду по пляжу. Пляж песчаный, пустой, бесконечный, с раковинками, крабиками, цветными камешками... Только море — не простирается в даль, а стоит вертикально... Тяжелая бурая водяная масса подергивается, грозит обрушиться и раздавить. Высоко-высоко на этой водяной стене вижу белое лицо утопленника...

...

Был я влюблен в одну даму, встречался с ней. Писал ей письма, но не отправлял. Потом жизнь развела нас, мы перестали встречаться, но я любил ее больше и больше. В какой-то момент я вдруг осознал, что уже пять лет ее не видел, а люблю как в первый день. Тогда я написал мой первый рассказ. О печати и не думал. Рассказ сжег. Но через двадцать лет восстановил его по памяти. Этот рассказ называется «Свидание».

...

В Гудауты я приплывал из Пицунды на пароходике, сидел там на пляже...

С одной милой, часто краснеющей девочкой. На пароходике мы пили чешское пиво, а на пляже — Псоу и Гурджаани. Купались вместе, а потом отходили подальше от людей, заворачивались казенным зеленым одеялом и потихоньку совокуплялись. Одеяло кололось...

Я ее встретил через тридцать лет. В один из моих коротких приездов в Москву.

Вошел в автобус у клубной части МГУ, кажется в 108-й. Она сидела на первом от кабины шофера сиденье. Я случайно сел рядом с ней и узнал ее. А она меня — или не узнала, или не захотела узнавать. Сказал ей что-то веселое про Пицунду, про пиво, про одеяло. Она покраснела до ушей, посмотрела на меня косо и не без ужаса, решительно встала и вышла у метро. А я дальше поехал. В книжный на Ленинский. В котором я купил еще первокурсником свой первый альбом Пауля Клее, изменивший мою жизнь. Отдал за него половину моей месячной стипендии — двадцать рублей.

Одна моя хорошая знакомая, с которой мы встречались не один год, заявила мне: «После того, как мы с тобой расстались, я забыла все, что нас связывало. НИЧЕГО не помню».

...

Черное небо. Звезды — открытые чернобыльские реакторы.

Расширяющаяся вселенная — жуткая вакуумная пустышка с пылающими атомными маяками.

Космическое излучение обжигает наши мозги. Понятно, почему человек непрерывно бредит.

Нет, я не хочу выбивать у тебя табуретку из-под задницы.

Только хочу напомнить тебе, что там, под табуреткой — не паркетный пол, а дурацкий земляной шар, несущийся сквозь темную вселенную... Неизвестно откуда, неизвестно куда, неизвестно зачем...

...

Базары в Ташкенте хорошие и плов замечательный... И чай неплохой.

Был я там, поехал из любопытства на Съезд механиков. Какой-то докладишко стендовый у меня был. Не помню, про что.

Потом наш директор института на общем собрании объявил: «Среди делегатов нашего института на международном съезде механиков в Ташкенте — только ОДИН не был ни на одном заседании, ни на одном докладе, в том числе и на собственном... Это — младший научный сотрудник такой-то...»

И назвал мою фамилию. Я встал и откланялся. Зал зааплодировал.

В Ташкенте я бродил по городу. Набрел случайно на книжный. Купил там сразу томов двенадцать Достоевского, по пять томов Лескова и Чехова и еще штук двадцать других книг. В том числе сборник повестей Константина Воробьева «Вот пришел великан». И пошел в метро все это богатство листать и смотреть. Там было прохладно, в мраморном зале. А на улице — 38 градусов в тени. В конце октября 1987 года.

Запомнились изюмные ряды на большом ташкентском базаре. Люблю безумно изюм. А там — один только изюмный рынок величиной с Черемушкинский. Изюмы всех цветов и сортов. Я брал дыню-красномяску, разрезал ее дольками, ходил вдоль изюмных рядов, пробовал и дыней заедал. Часа по три... А потом в парке на лавочке «Дневники писателя» глотал. Подлая книга, но затягивает. Затем принимался за «Великана». Сладкое чтение, тот же изюм.

Дело в точке, откуда смотришь на мир... Поднимешь ее слишком высоко — увидишь одни материки, моря, горы. Сам себе будешь казаться горой... Константин Воробьев смотрел на мир с уровня глаз высокого мужчины.

Его книги портит только одно — невозможность прямо в лицо сказать коммунистам, какие они скоты. Хотя, может быть, именно поэтому он это удивительно художественно доказывает в тексте.

...

Бегаю по Берлину, как старый облезлый волк. Люди смотрят сумасшедшими овальными глазами... Местная архитектура — апофеоз бездарности. Свидетельство тупика цивилизации. Геометрия идиотов. Камни тяжелы. Мостовые обрушиваются на человека как каменный дождь. Мосты давят спинами наши бока...

Берлин — город-диссонанс. Единственное, что его объединяет, это грубость его обитателей.

Почему-то именно тут чувствуешь особенно остро — черемуха и романтика давно человечеством пройдены. Нет больше влажной пестрой идеалистической кожуры, защищающей нас от безумия реальности.

Нет смысла играть в мистику, в таинственные бездны, в тайные смыслы, в судьбу, в высшие силы, нет сил изображать даже вульгарных инопланетян. Все это — страусиные перья на дамских шляпках. Старомодно и смешно. Похерено.

Нету тайн, нет и таинств. Только кошмар реальности. В котором нам, счастливым обладателям телесных болванов почему-то и зачем-то надо жить. Ни почему, ни зачем никого больше не интересуют. Потому что по качану, потому что незачем.

В мире царит неинтересная нагота. Невежество и грубость побеждают все...

Устарел, покрылся пылью и порос грибками не только боженька на извечной фреске нашего сознания, прокис и протух и век девятнадцатый со всеми его прелестями... Никому не интересно больше читать так много слов — герои Достоевского несносно много говорят, а Толстой — тошнотворно много и долго описывает... Современный человек не верит в болтовню. Слова — ложь, книги обрыдли.

Мой рубленый стиль — это ответ человека интернета на невыносимые длинноты великой русской литературы.

...

Музыка Шопена — это тревога, печаль, любовное томление. Все эти атрибуты предварительной игры перед совокуплением не интересуют современных людей, похеривших и предварительную игру... И вместе с ней — подлинное искусство.

Во времена Шопена еще любили и ценили вещи.

Современного человека интересует только одно — покупка и продажа... Наслаждаться вещами, ценить тонкую благородную работу мы разучились. Похерены и вещи.

Вещи уничтожил телевизор, главный заменитель и имитатор жизни. Он же сожрал кино, эстраду, театр... Теперь пришел конец и глупому ящику.

Его прикончили интернет, компьютер и мобильный телефон. Жизнь не надо больше заменять. Ее просто больше нет. Все мы провалились в кошмар реальности.

Вскоре мы потеряем и наши красивые тела и станем уродами. Мы станем, наконец, похожи на самих себя. Ведь тела — фор-

мировались не по чертежам ангелов, а в жестокой борьбе за существование, в убийствах, в охоте, в смертном страхе и ужасе. Мы больше не боремся. Мы преем в стрессе. Существования нет. Мы владеем тем, что не заслужили. Мы пропиваем и проедаем сейчас то, что наработали, наголодали, нажаждали наши зверские предки.

Будущее человечества ужасно. Избежать окончательного погружения в безумие реальности можно только одним способом — навсегда уйти в виртуал. Добровольно отказаться от тел, домов, атомных станций и прочего. Выстроить матрицу.

...

Читал вчера для избранной публики «Смерть Саши» по-немецки. Немцы трепетали и проникались...

После чтения шли мы с Утой домой по ночному центру Берлина, дождь лил как из ведра, ветер ураганный по черным улицам дул, мы промокли и продрогли...

Три градуса в Берлине и сыро как в погребе. Люди — как вампиры-фантомы из плохого кино. Готовился к воспалению легких... Спасло Шерри, которого я выдул полстакана перед отходом.

В НАЧАЛЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ
(отрывок)

В начале восьмидесятых... в странное время...

В 1981-м году мне исполнилось двадцать пять. Самое время задуматься над тем, как собственно хочешь прожить жизнь. Как и многие другие совки, я ужасно не любил размышлять на подобные темы, строить планы, ставить себе какую-то цель и брать преграды, а просто жил, справедливо полагая, что жизнь не имеет никакой цели, кроме самой себя, и что глупо поэтому тратить ее на нечто отвратительное — например, на делание карьеры в коммунистическом государстве, на обогащение, на возню с автомобилем или дачей и тому подобное. Я к тому времени уже заметил, что самые сладкие изюминки лежат себе, невостребованные, в придорожной канаве или в лесочке неподалеку, но озабоченное мнимыми проблемами, обезумевшее, тщеславное, жадное человеческое стадо несется и несется дальше по главной дороге смерти в погоне за призраками... осознал, что мне с ним не по пути.

Единственное активное действие, которое я бы совершил, если бы представилась возможность — это эмиграция на Запад. СССР был лживой и агрессивной общественной системой, граждане его, в подавляющем большинстве, были безнадежно испорчены советчиной. Жить в СССР было неприятно. Но возможности эмигрировать, как раз тогда, когда я наконец созрел для этого, у меня не было. В начале восьмидесятых ручеек эмиграции из СССР, и в конце семидесятых не сказать, чтобы полноводный, совсем обмелел. Коммунисты и послушный им советский народ — добились того, что хотели, превратили свою страну в огромный лагерь, а самих себя в заключенных.

СССР перегородил своей когтистой лапищей единственную дорожку, по которой я бы мог пойти. Освободил меня (как выяснилось — временно) от борьбы за выживание на новой родине. Все остальные, советские, пути я отмел сам.

Что же мне оставалось?

Не так уж мало! Рембрандт и Гойя, Пушкин и Гессе, Бах и Бенни Гудмен, улыбка милой девочки и задушевная беседа с другом, галька в Пицунде и церкви Пскова... творчество... метафизика... любовь... и редкие, не испоганенные еще окончательно островки реального мира.

Так в чем же «странность» начала восьмидесятых?

В предчувствии свободы на дне советской ямы.

Рассудок наш не верил в скорые перемены, а «воздух», который мы ощущали не только легкими, но и кончиками пальцев... начал как бы вибрировать, изменяться.

В Москве было особенно трудно дышать из-за царившего в ней торжественного и торжествующего холуйства... а невидимый, недоступный коммунякам эфир... дрожал... переливался новыми цветами... источал изысканные ароматы... и мы обоняли их чувствительными ноздрями и не падали духом... хотя и было от чего.

И вот... генсеки и другие зловещие старцы начали, один за другим, играть в ящик, а к концу восьмидесятых в темном зловонном царстве ватников и сапог неожиданно повеял свежий ветер перемен... и сама собой открылась светлая сцена... а за ней — дорога в огромный, неизвестный нам, свободный мир...

И мы ушли по этой дороге, напевая чудную мелодию из «Серенады Солнечной Долины», ушли навсегда... И не жалеем об этом.

* * *

Ну что же, все здорово и хорошо?

К сожалению, не совсем. Последовательно и разумно было бы выкинуть из памяти все, что касается нашей советской жизни. И жить себе новой, американской, европейской или израильской жизнью, забыв о проклятом прошлом.

Но, увы, мы не компьютеры, а люди, очистить диск мы не можем, и, прожив двадцать или даже сорок лет на Западе, сделав или не сделав тут карьеру, купив или не купив дом, посмотрев

или не посмотрев полмира — мы все равно несем в себе родовое проклятие ленинщины-сталинщины-брежневщины, остаемся совками. И наше прошлое, зловеще прошуршав жестяными лопастями, обрушивается на наши седые или лысые головы неумолимым бумерангом. Командор-Сталин обнимает нас своими гранитными руками и утягивает в ад воспоминаний. И мы не властны что-то изменить...

Особенно больно это ощущать русским писателям-эмигрантам. Потому что почти все, что ты пережил, почти весь твой навоз, из которого только и растут цветы прозы — это твое советское добытие и другого, как ни старайся, как ни прилепляйся, ни присасывайся, ни мимикрируй, ни убеждай себя — если ты уехал после тридцати пяти — у тебя никогда не будет.

Вторая боль — это наш читатель. Заграничный русский читать нас не хочет, потому что он старается или догнать свою новую родину и читает по-немецки, по-английски... или понять нынешнюю Россию — и углубляется в Сорокина и Пелевина. Для оставшихся в России мы навсегда останемся «предателями». Сами уехали, а нас теперь учат. Для аборигенов — немцев, американцев, израильтян, мы чужаки, ничьи люди, пишущие о непонятном для них мире.

Поэтому мы пишем только для себя. Тела наши наслаждаются комфортом западной цивилизации, сладкими ее плодами, а неприкаянные души — бродят по безводной пустыне прошлого.

Слава богу, наши дети не умеют читать по-русски!

ПОЧЕМУ МНЕ НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ НАБОКОВА

Да, неприятно. Несмотря на неоспоримые достоинства его прозы. Но почему?

Давно уже спрашиваю себя и недоумеваю…

В голову лезет брань и банальности — потому что он чванливый кот… барин… литературный садист-манипулятор, позер… умен, конечно, как дьявол, но… ум его противный… холодный… шахматный. И язык у него ужасный, неловкий, искусственный, похож на плохой перевод. Спотыкаешься на каждом десятом слове…

Дошло до того, что пришлось, скривив соответственно морду, спросить себя прямо… ты что, ревнуешь? Завидуешь? Как никак, Набоков — гений… признанный читательским сообществом… а ты — кто?

А тут еще Батшев подлил масла в огонь. Спросил, не навеяна ли моя «Обновка» Набоковым… Рассказом «Лик».

А мне-то так хотелось, чтобы пытливый читатель разглядел в «Обновке» гоголевскую «Шинель» (новые ботинки — новая шинель, потеря ботинок — потеря шинели, обида и страшная месть маленького человека миру, безумие и гибель, в конце — озарение… вполне советское, но не без «Записок сумасшедшего»).

…

Перечитал рассказ «Лик» (написанный Набоковым в Ментоне и опубликованный впервые в «Русских записках» в феврале 1939 года).

Лик — это псевдоним русского актера-эмигранта, из аристократов, играющего на театре во французской пьесе «Бездна» роль бывшего русского. Лик — интеллигентен, худ, высок, робок и вдобавок неизлечимо болен. Он предчувствует скорую смерть. Мечтает умереть на сцене и попасть после смерти в метафизическую реальность этой самой «Бездны».

В южном французском городе, на гастролях, он встречает бывшего своего мучителя, в эмиграции — бедняка и неудачника — Колдунова. Тот терзает его юродивыми словоизвержениями, пытается выдрать из него деньги, приводит к себе. Лик убегает из его логова… у него начинается сердечный приступ. Лик едет на такси к Колдунову, чтобы забрать забытые у того новые туфли, и обнаруживает, что Колдунов покончил с собой выстрелом в рот.

…

Представляя читателю пьесу «Бездна», автор иронизирует: «…словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж конечно ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия…»

Вот эти «толчки таланта» мне и не нравятся в набоковских текстах, потому что их очень-очень много. Понимаю, что хотел сказать Набоков. Понимаю, что он не хотел использовать клише вроде «проблеск таланта». Но «толчок таланта», даже без сортирной аллюзии — это не по-русски.

О «штемпеле серьезной фирмы» я и не говорю.

Набоков описывает реакцию главной героини пьесы на ночное явление героя: «В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом, входит к нам со стеком в руке; волнуясь, докладывает, что в имении его благодетельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем…»

Все хорошо в этом издевательском описании, но некоторые сочетания царапают.

«В разгар грозы» — плохо. Я не могу это доказать, но это так. Ну да, звукоподражание. «В разгар лета» — да, пойдет, а «в разгар грозы» — почему-то плохо. Может быть, общие согласные «г», «р» и «з» превращают это сочетание в переопределение. «Во время грозы» — вполне достаточно.

У грозы нет разгара.

И «сосняк может тоже заняться» — плохо, лучше было бы просто написать «загореться».

Еще хуже — «юношеский блеск» (вроде как начищенного сапога).

И «опуститься на пуф» (на табурет) — неважно. На диван или софу можно «прилечь», а на табуретку — «присесть», но не «опуститься». Опускается только занавес.

Набоков боится штампов… а литературный язык только из штампов и состоит. И мастерство писателя состоит не в том, чтобы придумывать новые сочетания-занозы, по четыре дюжины на печатный лист, а в том, чтобы штампы наполнять свежим содержанием, новой мыслью, новой жизнью — и давать им прорасти новыми побегами.

Описывая Лика, Набоков пишет: «…получивший небольшую известность благодаря фильме, где он отлично провел эпизодическую роль заики».

«Провел роль» вместо «сыграл роль» — это типичная набоковская заноза…

Затем Набоков срывается с иронии — на лирику: «Такого рода существа напоминают помещение с множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одной предназначенные сокровища».

«Помещение» — тут плохо, надо было написать «комнату».

«Лунная глубь чудной человеческой ночи» — китч.

«Предназначенные душе сокровища» — это и китч и клише… Подобные поэтические тривиальности сводят на нет все попытки Набокова избежать штампов.

В следующем предложении Набоков развивает метафору с дверями и сокровищами: «Но как бы то ни было, этой двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы не проявленной, местности, где ему не бывать никогда, никогда». Прекрасное развитие. Но возвышенное «отворил» тут лишнее.

«Попал на путь»? Попал на рельсы. Правильно «пошел по пути актера».

Нельзя «идти без увлечения» или «идти с увлечением», «идти» можно быстро или медленно.

И «путевые приметы» — плохо, размыто.

И «не проявленная местность» (местность не фотография) тоже неважно.

Не подумайте, что я придираюсь. Что имеет в виду Набоков — почти всегда ясно. Голова его работала блестяще. Образный его строй — богат и разнообразен. Но его язык — неточен, занозист. А метафора только тогда работает, когда она сформулирована чистым, ясным языком. Стоит на ней появиться пятнышку… и все «толчки таланта» перестают достигать цели.

Есть в этой фразе кое-что еще, что мне не нравится. Это — проявившаяся в ней (по умолчанию) уверенность автора, что онто в этой «не проявленной местности» — завсегдатай, мэтр, законодатель мод, что у него-то есть ключик от той самой, заветной двери, ему-то «лунная глубь чудной человеческой ночи» отлично знакома…

Разумеется, поэту и прозаику Набокову была доступна «сокровищница души»… но автору нельзя искусственно ограничивать возможности своего гомункула, нельзя своей волей устанавливать границы его личности… нельзя быть деспотом… даже таким блистательным деспотом, каким был Набоков. Литературный герой не должен оставаться пешкой… ему должна быть предоставлена возможность превратиться в ферзя… дорасти до автора и перерасти его… хотя бы в ту самую критическую минуту, когда словесные декорации и одежды падают… и начинается таинственная метаморфоза, ради которой и пишется рассказ. Пресловутый «соколиный поворот»…

…

Набоков продолжает представлять нам Лика: «В условном же плане земного быта, ему было за тридцать, но все же на несколько лет меньше, чем веку, а потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, ра-

ботающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами, — у него эта память оставалась в зачаточном виде, исчерпываясь туманными впечатлениями детства, вроде соснового запашка дачного новоселья или ассиметричной снежинки на башлыке».

Автор начал говорить, потом увлекся метафорой, потерял мысль… затем нашел, нарочито неловко повторился и закончил фразу поэтической нелепостью.

Знаете, что такое «башлык»?

Это капюшон с обмотками вокруг шеи. Что он забыл в этой фразе? В этом печальном рассказе? Да еще и покрытый декадентски «ассиметричными снежинками»… Перемудрил бабочковед.

«Сосновый запашок» — это ужасно. «Запашок» из сортира доносится. А у сосен — «запах».

Кроме того — ни «сосновый запашок», ни «ассиметричные снежинки на башлыке» (какой такой вояка влез в текст?) — никак нельзя причислить к «туманным» впечатлениям детства… Острые и колючие они…

Определение «в условном плане земного быта» — (просится «бытия») хоть и саркастично, но нехорошо… Земной «быт» — условный план? Нет. Еще какой безусловный.

«Пожилые люди, застрявшие за границей собственной жизни» — тоже плохо.

Набоков ведь всего лишь хочет сказать, что пожилые люди живут своим прошлым. Можно написать «застряли в собственном прошлом», но «застрять за границей собственной жизни» — невозможно, потому что получается, что они застряли в пространстве (в котором есть некая ползущая граница), а речь-то тут идет о времени. Набоков часто сознательно мешает пространственные и временные характеристики, но получается это у него часто неловко.

«Память о России — орган, своей секрецией возмещающий исторические убытки» — идея хороша, хотя на мой вкус излишне физиологична (как ни странно, неприятные физиологические

метафоры встречаются в текстах Набокова довольно часто, чаще, чем кажется, например, дальше в «Лике» мы встречаем — «после возни с ним всегда пахло зверинцем». Почти все мужчины в «Лолите», кроме главного героя, «пахнут козлом»).

Меркантильное слово «убытки» тут чужое. Ведь дело явно идет о «потерях». А «исторические убытки» — это просто никуда не годится.

Еще одна физиологическая метафора — «память о России — раковая опухоль души». Вроде бы сильно. Но плохо. Если уж «раковая опухоль души» — то конечно не «память», а сама Россия. Память опухолью быть не может, даже в метафоре. Другое дело — оставленная родина…

«Его родители умерли, жил он один, любовь и дружба, перепадавшие ему, все были какие-то сквозные, никто к нему не писал писем просто так, потому что хочется, никто не интересовался его заботами живее его самого, и, когда недавно он узнал от своих докторов — француза и русского, — что у него, как у многих литературных героев, неизлечимая болезнь сердца, как-то не к кому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кишат здоровенными стариками».

Ужасная фраза. «Здоровенные старики» — (Гренадеры? Полифемы? Голиафы?) это конечно всего лишь старики «здоровые».

«Сквозные» любовь и дружба тут — это «недолговечные», «проходящие», «проходные» связи. «Сквозными» бывают не дружбы и любови, а раны или темы.

«Неизлечимая болезнь сердца» — это конечно никакая не «шаткость его бытия», а смертный приговор Лику. Вынесенный не судьбой, не природой, и не внутренней необходимостью прозаического повествования… Даже не жанром, требующим драматической развязки. Это приговор автора, капризного судьи и палача, своему «тщедушному и нежному» герою. Облегчение литературной задачи.

Доведи героя до припадка, покуражься над его мучениями и смертными видениями и… заверши рассказ его смертью. Чего проще.

Колдунова Набоков представляет как некоего злого демона, «крокодила», засевшего глубоко в подсознании героя: «Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая, легкая губка; кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, т. е. лишенные явного присутствия Колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность, — и этот мучительный колдуновский фон, на котором развертывалось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых сноявлений Колдунова, каким он запомнился, — грубым, мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица: их правильность портили слишком близко посаженные глаза, снабженные тяжелыми замшевыми веками, — недаром его прозвали крокодил, — в самом деле, было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде».

Что мне не нравится в этой, три раза подавившейся собственной лексикой, фразе?

Ее длина, ее неловкость, ее проседающий ритм и очевидный перебор.

«Романтические, даже декадентские, лишенные явного присутствия» Колдунова-крокодила сны?

«Зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений»?

Это не сны, это навязчиво нетривиальная набоковская проза, нашпигованная авторскими изюминками-занозами.

«Тени положений»?

«Тяжелые замшевые веки»?

«Нечто мутно-глинисто-нильское во взгляде»? У подростка? Бред.

Опять Сирин перестарался.

«Колдунов учился безнадежно плохо: особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стоймя погружается

сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенении страха и потом, через год, с облегчением оставляют его позади».

И тут тоже — образ понятен, хорош… но написано ужасно.

«Стоймя погружается сквозь… слои».

Набоков так описывает отношения Лика и Колдунова в детские годы: «Лик между тем был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком, значит — собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного, но всегда ерзающего; громадная, распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест, забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем, на час-другой, он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно-бессмысленной фразы, обидной для Лика, у которого спина была в меловой пыли и горели замученные уши; когда же опять надо было поразмяться, Колдунов со вздохом, даже с какой-то неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы».

Прекрасное описание, написанное со знанием дела. Но и в нем есть неприятные шероховатости.

«Собой представлял».

«Жертва неистощимая» (телец упита́нный).

«Наплывал без слов» (лучше бы — «молча наваливался»).

«Судорожные, обезумевшие глубины» (Это пах и гениталии? Как поэтично!).

«Горели замученные уши» (лучше «измученные»).

«Роговые пальцы».

«Впивался под ребра».

Вообще-то по неписанному кодексу детства после того, как кто-то сядет и отдохнет на твоем ЛИЦЕ, да еще и не один раз, — полагается при случае поднять первый попавшийся камень и раскроить обидчику череп. Если мальчик этого не делает — то обрекает себя на унизительное рабство у гнусного палача. Таков Лик Набокова. Он не раскроил череп Колдунову. Настоящая достоевская дрожащая тварь.

Впрочем, Набоков так холодно описывает болезнь Лика и его предсмертные мучения, что у читателя почти не возникает к тому сочувствия.

Колдунов — наглый палач, «проходимец с тяжелым лицом римского кесаря». Органичный персонаж. Знакомый каждому. Он читателю противен, и автор не без удовольствия заключает с ним постыдный договор об убийстве и разбрызгивает в конце рассказа кровь Колдунова на рубашке его сына «Васюка» и на лбу его жены, «громадной белобрысой женщины с толстыми босыми ногами».

Русскую диаспору Набоков представил «ликом» и «колдуном». Жертвой и палачом.

Кстати, и Лик и Колдунов — из аристократов.

Простите, запамятовал, в рассказе фигурирует еще один русский — «болтливый русский старик» Гаврилюк, подленько сообщивший Колдунову адрес Лика.

Набоков не только презирает русских эмигрантов, он их представляет безнадежными нравственными уродами. Лика — делает трусливым, склизким, бессильным, Колдунова — развязной агрессивной скотиной. А старика Гаврилюка заставляет чмокать.

Хуже Лика и Колдунова (какие нелепые, неудавшиеся имена!) — только русский полковник в «Лолите», забывший спустить воду после опорожнения своего мочевого пузыря в туалете Гумберта Гумберта.

Свое особое презрение к Лику (и к человеку вообще) Набоков выражает следующей фразой: «Противно признаться, но Лику случалось на людях в редких разговорах о прошлом вспоминать мнимого покойника [Колдунова] с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далекое, доброе, мол, время…».

«И хотя Лик превосходно понимал, что живой, настоящий [Колдунов], ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий, обид, известных Лику».

«Встреча казалась»… «глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий».

«Встреча» сопряжена с «системой», да еще и «глухо»?

«Дурных предчувствий страданий» — это переопределение. Одно из слов лишнее.

…

И вот, Лик и Колдунов наконец встретились.

«Поцелуемся, — мрачно сказал Колдунов и на мгновение приложился к детским губам Лика холодной, соленой щекой. — Я тебя сразу узнал, — залепетал Лик».

Как Лик узнал, что щека у Колдунова — соленая? Он что, ее лизал? Я бы понял, если бы Набоков написал — «щетинистой» или «усеянной короткой рыжей проволокой». Или это слово потребовалось Набокову, чтобы отослать читателя к литературному отцу Колдунова — Соленому из «Трех сестер»?

И почему «залепетал», хотя тут должно стоять «пролепетал»?

Плохой русский у Набокова после 20 лет жизни на чужбине. Уверен, что он сам это понимал, потому и перешел позже на английский.

Никакого конфликта у Лика с Колдуновым не было.

Садист встретил мазохиста. Кинжал вошел в ножны. Хотя ножны и страдали и, вяло улыбаясь, отбрехивались, а кинжал умудрился чуть позже сам себя прикончить…

Садист-то Колдунов, садист, но единственное, что ему Набоков разрешает — это затащить Лика в свою квартиру и немного перед ним поюродствовать. Кроме того, он купил на деньги Лика пачку папирос и две бутылки вина, ну и еще немного позадирал лавочника и его тещу, которым был должен. Лик, хоть и был слаб и безволен — денег ему не дал, не «озолотил» его. Проявил твердость? Ножны?

Нет, это скупой автор не позволил ему дать Колдунову денег. Хотя, исходя из логики повествования… Колдунов должен был вначале «закошмарить» (без всякого удовольствия употребляю это новое русское слово, что поделаешь… подходит) Лика вербально, а потом распотрошить его как куклу… на лице которой он так любил прежде посижывать.

Автор этого текста сильнее своих персонажей, он не только как папа Карло вырезает их из дерева и раскрашивает их одежду, он вмешивается в их судьбу, в их поступки, он не слушает их речь и записывает ее для читателя, он диктует… делает за них ходы.

...

Пьяные рассуждения Колдунова, обиженного на судьбу (а стоило обижаться только на автора), зацепившую его «крючочком за живую шею» и превратившую его в «мерзавца, на которого все харкают», «в последнюю хамскую тварь», которые еще немного и переросли бы в мордобой, прерывает не Лик, а жена Колдунова: «Олег Петрович расстроен, вы, может быть, теперь пойдете, — вдруг из угла сказала жена Колдунова с сильным эстонским произношением [лучше «акцентом»]. В голосе ее не было ни малейшего оттенка чувства [не «оттенка», а «следа»], и оттого ее замечание прозвучало как-то деревянно-бессмысленно [очень даже не бессмысленно — она хотела предотвратить позорную потасовку ее мужа с гостем и предотвратила]. Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положения руки, лежащей как мертвая на столе, и уставился на жену восхищенным взглядом.

— Я никого не задерживаю, — проговорил он тихо и весело. — Но и меня попрошу не задерживать. И не учить. Прощай, барин, — добавил он, не глядя на Лика, который почему-то счел нужным сказать: — Из Парижа напишу, непременно...

— Пускай пишет, а? — вкрадчиво произнес Колдунов, продолжая, по-видимому, обращаться к жене».

Самое неправдоподобное в этой сценке, можно даже сказать, самое фантастическое-фантасмагорическое — это словечко «восхищенным». Жена усмирила мужа одним своим деревянно-бессмысленным замечанием! Вызвала его восхищение. Оказывается, он был у нее под каблуком. И то, что Колдунов на нее не набросился… а заговорил «тихо и весело» должно означать, что он сломался, смирился (т.е. переборол свою злобную природу) и действительно решил отпустить с миром Лика, перестать бороться с миром… и покончить с собой.

Мне все это представляется абсолютно неубедительным… Налицо абсурдное вторжение автора в драматическую сцену, в заваренную им самим кашу.

«Тих и весел» тут вовсе не «озверевший» Колдунов, который, будь его воля, прибил бы Лика как тлю и еще и жене-эстонке (или, скорее, эстонской немке) и сынку своему Васюку показал бы, где раки зимуют, а писатель, автор, манипулятор, царь и бог… Он повелел, Колдунов подчинился. Потому что пришел его, автора, черед — мучить больного и слабого Лика. Что он и делает следующие две страницы… а Колдунова он решил списать в расход, а его тело использовать в роли куклы с открытым ртом, дыркой в черепе и с белыми тапочками на ногах.

…

«Лик бочком [«бочком» — слишком фривольно для такого момента] выплыл [«вышел» было бы лучше, хватит и «бочка»] на улицу. Сперва — облегчение: вот ушел из мрачной орбиты [нельзя «уйти из орбиты», можно «уйти из мрачной конуры», а с орбиты можно разве что «сойти»] пьяного резонера-дурака, затем — возрастающий ужас: тошнит, руки и ноги принадлежат разным людям, — как я буду сегодня играть? Но хуже всего было то, что он всем своим зыбким и пунктирным телом чуял наступление сердечного припадка; это было так, словно навстречу ему был наставлен невидимый кол [идея хорошая, но плохо сформулировано], на который он вот-вот наткнется, а потому-то приходилось вилять и даже иногда останавливаться и слегка пятиться».

«Он шел, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие оглядывались на него, — к счастью, их попадалось немного, был священный обеденный час, и когда он добрался до набережной, там уже совсем было пусто, и горели огни на молу, с длинными отражениями в подкрашенной воде, — и казалось, что эти яркие многоточия и перевернутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове».

Тут Набоков одним словом («сквозисто») уничтожает собственную прекрасную метафору. Хотя можно было просто выкинуть это ужасное слово. Интересно, откуда оно пришло в текст

Набокова, держу пари, из французского, на котором он возможно думал там, на Ривьере… Для писателя — опасно свободно владеть многими языками.

Все простить можно Набокову за следующую его фразу: «…все закружилось, сердце, страшным глобусом отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться, и чтобы это прекратить, он принужден был зацепиться взглядом за первую звезду, за черный буек в море, за потемневший эвкалипт в конце набережной»…

…

Умирающий Лик вспомнил, что забыл у Колдунова свои белые туфли. «Зацепился» за эту мысль, как за звезду… Поехал на такси, чтобы забрать свою собственность.

Рассказ кончается следующей сценой: «К дому, где жили Колдуновы, автомобиль подъехал со стороны площади. Там собралась толпа, и только с помощью упорных трубных угроз [плохо] автомобилю удалось протиснуться [тоже плохо, автомобиль не прохожий, тут должно было стоять «проехать» или «подъехать»]. Около фонтана, на стуле, сидела жена Колдунова, весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови, слиплись волосы, она сидела совершенно прямо и неподвижно, окруженная любопытными, а рядом с ней, тоже неподвижно, стоял ее мальчик в окровавленной рубашке, прикрывая лицо кулаком… Полицейский, принявший Лика за врача, провел его в комнату. Среди осколков, на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом в рот, широко раскинув ноги в новых белых...

— Это мои, — сказал Лик по-французски».

Конец рассказа хорош, хотя и не без картинного позерства автора-престидижитатора.

Чувствуется торжество мастера… умело завершившего литературную жизнь в тексте двух неприятных ему героев.

Нет… скорее нашедшего изящное решение для шахматной задачи.

ВОКРУГ НОСА ГОГОЛЯ

Россия, Петербург, снега, подлецы…
(Гоголь — Жуковскому)

Гоголь. Уникальное сочетание: гомерически смешно и жутко, и абсурдно.

Сам бы не смог — хавронья-матушка помогла, Россия. Прижала так своим свинцовым брюхом, что алмазы посыпались.

Лирические отступления и описания природы пропускал в детстве, пропускаю и сейчас. Отступать-то некуда. Леса или реки не предметы для лирики, а часть страшного биологического мира — из леса доносится стон растений, от реки несет тухлой рыбой и гнильем.

Не люблю и «Выбранные места из переписки с друзьями». Что думает и что проповедует писатель Гоголь — не интересно. Интересно посмотреть, какие картинки дома у Собакевича на стенах висят.

…

Гоголь был болезненным ребенком.

Сильно страдал от золотухи.

Из ушей у него текло.

Взрослый Гоголь уверял своих друзей, что он никогда не потеет и что желудок его вверх ногами.

Одноклассники звали его — таинственный карла.

…

Когда представление гостей кончилось, Юзефович… просил его сесть откушать, но Гоголь, взглянув на закуски и на чай, сделал брюзгливую гримасу, еще брюзгливее посмотрел на своих почитателей и закрыл глаза рукой, брюзгливо глянув в сторону заходящего солнца.

(Ясинский со слов Михольского)

Доктор мой отыскал во мне признаки ипохондрии, происходившей от геморроид, и советовал мне развлекать себя…

(Гоголь — Жуковскому)

…

Почти все известные нам сочинения Гоголя (кроме очевидных исключений) — плоды развлечения самого себя. Это и есть настоящая литература. От ипохондрии помогает. И от геморроя. Все остальное — пропаганда или коммерция.

…

Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться…

(Гоголь — Высоцкому)

Так чувствовал себя Гоголь среди людей. Не только в Нежине, везде. Всю жизнь.

О Петербурге он высказывается в том же духе: «Никакой дух не блестит в народе… все погрязло в бездельных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их…»

Романтик! Как будто где-либо, когда-либо люди жили иначе.

…

Добрый знакомый Гоголя Чижов писал о вечерах у Языкова в Риме: «Большею частию содержанием разговоров Гоголя были анекдоты, почти всегда довольно сальные».

Соллогуб в своих воспоминаниях уточняет: «Гоголь имел дар рассказывать самые соленые анекдоты, не вызывая гнева со стороны своих слушательниц, причем он всегда грешил преднамеренно...»

Однажды Гоголь рассказал графине Виельгорской в присутствии целого общества о молебне, который отслужили толстые нарумяненные проститутки в завитых волосах перед Нижегородской ярмаркой «для доброго почина».

…

Сомнительными анекдотами полны и произведения Гоголя.

Мать кузнеца спрятала в двух мешках четырех своих любовников — чёрта, голову, дьяка и старого казака («Ночь перед Рождеством»).

Старуха в нагольном тулупе захотела переспать с бурсаком («Вий»).

Молодой приезжий чиновник хотел того… и с мамашей и с дочкой («Ревизор»).

Художник увидел в девушке идеал красоты, влюбился в нее — а она оказалась проституткой. Он от огорчения перерезал себе вены («Невский проспект»).

Три немца поручика за волокитство высекли, а он съел два слоеных пирожка и был таков. А вечером отличился в мазурке («Невский проспект»).

Мертвец ограбил генерала, который к любовнице ехал («Шинель»).

Жених, надворный советник, думал-думал, да и сбежал. В окошко вылез («Женитьба»).

…

Аксаков свидетельствовал: «Слова самого Гоголя утверждают меня в том мнении, что он начал писать “Мертвые души” как любопытный и забавный анекдот…»

…

Герои Гоголя — герои анекдотные. Короткие существования, исчерпывающиеся набором смешных или зловещих характеристик, данных автором напрямую, или через описание, например, костюма, мебели, состояния имения, реже — через речь и поступки. Это характерные литературные персонажи — выпуклые, цветные, экспрессивные. Не животные даже (несмотря на то, что Гоголь, этот писатель-нос, писатель-желудок пишет почти исключительно о смачных подробностях их полуживотного бытия), и не представители растительного вида. Лубки. Фомы и Еремы. Фарносы и Пигасьи. Наряженные Гоголем в мундиры чиновников или в засаленные халаты помещиков. Почти куклы. Искусственно лишенные автором эволюции, психологии, даже видимости свободы (от диктата автора) — воистину мертвые души…

…

Присоединяйте к концу вашего письма всякий раз какой-нибудь очерк и портрет… Например… Городская львица, и, взявши одну из них, такую, которая может быть представительни-

цей всех провинциальных львиц, опишите мне ее со всеми ухватками, — и как садится, и как говорит, и в каких платьях ходит, и какого рода львам кружит голову, словом, — личный портрет во всех подробностях. Потом… Непонятная женщина… Городская добродетельная женщина… Честный взяточник… Губернский лев. Словом, всякого такого, который вам покажется типом.

(Гоголь — Смирновой)

Именно так он сам и поступал — описывал не человека, а тип со всеми его ухватками.

Как, например, представляет нам Гоголь Петра Петровича Петуха — типичного толстого деятельного помещика? Через действия. Петух ловит рыбу, участвует в приготовлении еды, ест, спит и храпит.

Даже его сообщение о том, что имение заложено, звучит фальшиво. Гоголевский герой не имеет права выходить из роли кулебяки. Не внутритекстовая необходимость заставила Петуха заговорить иначе, а предвзятость автора, проповедника и учителя жизни, задумавшего предупредить незадачливых читателей о вреде театров (ревизоров, игроков и женитьб): промотает все, да и детей сделает мотишками… как просветятся там у ресторанов да по театрам — все пойдет к черту…

Колоритная фигура — Петух? Да. Смешная. Немного жалкая. Не потому, что его имение заложено, а сыновья — будут, возможно, дрянными людьми. Петуха жалко, потому что он — не человек, а монстр, сотворенный профессором Гоголем-Франкенштейном, оживленный литературным талантом автора шар мяса, позаимствованного от различных мертвых и не мертвых тел. Нечто вроде круглого желудка или колобка в человеческий рост.

Как лубковый мастер, — не читал романа Рабле, а только срисовал картинку — и превратил Гаргантюа и Пантагрюэля в «славных опивал и объедал», так и Гоголь, наблюдая жизнь из брички или из окна римской квартиры, услышал анекдот, вспомнил характерную типичную фигуру и вывел в своей прозе вместо человека — лубочного героя.

Гоголя вдохновляла не действительность, не идеи и представления, а талант описывателя всяческой живности. Которая, несмотря на всю смачность, жирность и натуральность все-таки не жизнь, а животность.

Гоголь в своих описаниях гораздо ближе к Рубенсу, чем к своему любимцу Рафаэлю. К Рубенсу с украинским акцентом, разумеется.

Вроде бы, ничего плохого в таком, одностороннем, — фламандско-лубковом способе представления людей нет — многие сатирики поступали точно так же.

Проблема заключается в том, что герой анекдота или — тип не только не может обладать сложным внутренним миром, психикой, но и не может изменяться во времени, он — жертва своей типичности. Своих атрибутов. Если он выйдет из узкого пространства анекдота в жизнь, он и анекдот разрушит и типичность.

Петух должен выступить, сорвать аплодисмент читателя, и исчезнуть. Невозможно катить этот шарик дальше. А Гоголь-демиург хотел катать свои куколки до того, пока они в бабочек не превратятся.

…

В поэме Гоголя есть только один живой герой, сопровождающий читателя на всем пути. Это сам автор, потчующий сентиментальных читателей лирическими отступлениями. Все остальные — карикатуры, фламандские мужики, лубки.

Даже Павел Иванович Чичиков — хоть и тянет повествование, как коренник в тройке, но он не живой человек, а тип. Подлец-добытчик. Внутри действия поэмы он не меняется — каким был, таким и остался, пробудить его к высшей жизни Гоголю не удалось.

Рассказчик же поэмы — эволюционирует вместе с автором. Самую интересную возможность прозы — построение рассказчика — Гоголь вовсе не использовал, рассказывал просто, от себя…

За пасечником он прятался.

В «Петербургских повестях» рассказчик — светский молодой человек, этакий шуткун, с Пушкиным на дружеской ноге…

В «Мертвых душах» рассказчик одновременно — писатель и проповедник. Эти двое в одной бричке далеко уехать не смогли.

В «Выбранных местах» Гоголь возлагает на себя ответственность за гадости своих героев:

«Во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их своим героям… С тех пор я стал наделять своих героев сверх их собственных гадостей моей собственной дрянью».

…

Гоголь совершал операцию, в математике зовущуюся инверсией, — проектировал свой внутренний мир на мир внешний, заселял литературный макрокосм обитателями своего микрокосма — персонификациями своих грехов. И, как мы узнаем из его писем, грехами знакомых и приятелей. А потом приставлял, как незабвенная Агафья Тихоновна, губы Никанора Ивановича к носу Ивана Кузьмича, прибавлял развязности Бальтазара Бальтазарыча и дородности Ивана Павловича.

…

Только учителя литературы верят, что писатель пишет произведение для того, чтобы показать Россию крепостников и самодуров или сорвать все и всяческие маски.

Не только стихи растут из сора, но и проза произрастает не из высоких побуждений, а наоборот — из смертных грехов. Грехов автора.

И литературные герои, также как и обыкновенные, земные люди, рождаются от похоти сердца и ума, а не от благородных устремлений.

А как же любовь, уважение, религия и вся остальная — черемуха? Если есть — прекрасно. А если нет, можно и без них обойтись.

…

Есть анекдотец — есть и сюжет. Завязка повествования. А текст нарастет как дикая борода из букв. Спиралями вокруг за-

вязки. Это вам не то что реалистическую, описательную прозу километры строк тянуть и психологию разводить, как Пруст на общих литературных работах.

В прозе Гоголя есть, конечно, и подробные описания — но и в них вкраплены, как горчичные зерна в маринад, — анекдотцы, небылицы и откровенный вздор.

…

Редкая птица долетит до середины Днепра… пишет Гоголь, хотя знает, что даже воробей или бабочка перелетят Днепр без труда за несколько минут.

Пани Катерина убивается: «Похороните же меня! Похороните вместе с ним! Засыпьте мне очи землею! Надавите мне кленовые доски на белые груди!»

Помню, мне, десятилетнему, представлялась соблазнительная картина — наш дородный учитель литературы Петр Трофимович Гофрат, вращая налитыми кровью глазами, давит большой занозистой доской могучие дебелые груди нашей классной руководительнице, свиноподобной Александре Ивановне…

…

Нежась и приближаясь ближе к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю; и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли; а он, синий, снова заснул.

Не может Днепр давать по себе струю, не бывает полос дамасской сабли, не может река приближаться к берегам от ночного холода (к своим собственным берегам)…

…

Ты посинел, как Черное море (о мертвом муже).

Каков макабр!

…

Кто понесется на твоем вороном коне, громко загукает и замашет саблей перед казаками.

Русский так бы не сказал. Загукал — заагукал. И пузыри пустил.

Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина…

Ширина не ходит! Тем более строчкой далее, в том же предложении, Днепр — без меры в ширину.

…

Реет и вьется…

Днепр реет? Как флаг?

…

Любо прибрежным лесам…. Зеленокудрые! Они толпятся вместе с полевыми цветами к водам…

Не могут леса толпиться вместе с полевыми цветами к водам, Гоголь, видимо, имел в виду деревья… Да и деревья не толпятся к водам…

…и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями…

Это все про леса. Леса глядят в воду светлым своим зраком (взглядом?). Усмехаются к нему. К Днепру? Вот и мы усмехнемся к Гоголю.

И пишут, пишут эту полуграмотную высокопарную бессмыслицу поколения школьников на бесчисленных диктантах и подергиваются паволокой и увлажняются, и синеют как Черное море, затравленные обычно, учительские глаза…

Кажется, все прелести гоголевского языка — это только ошибочно употребленные украинизмы. Не только слова, но и словесные конструкции, сочетания…

Удивительно экспрессивные, смачные... ошибки. Неточности. Перевертыши. Фата-морганы... Красота гоголевского языка — отрицательная. Неплодотворная. Грызун-Гоголь прогрыз в ткани русского языка дырку. С тех пор некоторые языковые струйки не текут себе дальше, а бесследно в этой дыре исчезают...

…

Гоголь ловил анекдоты и тасовал их как карты. Потерянное ружье превратил в шинель, мертвые души Пивинского — в мертвые души Чичикова, безносого персиянина — в безносого кол-

лежского асессора Ковалева, Свиньина-Криспина — в Хлестакова. Менял обстановку, декорации, костюмы, понижал, от страха перед цензурой, героев в чине…

За что его приняли в реалисты? Он от реализма отрекался, отрекался. Ему не верили.

Мало того, что в центре любого прозаического текста Гоголя лежал анекдот, маленькие анекдоты сидели и в ответвлениях сюжета (если там не вырастали неприятные склизкие грибки — лирические отступления), и так да самой фразы, до слова, до имени.

Чичиков заснул на индюке…

Так зевнул, что перепугал даже старостиных индеек.

Донос ехал на доносе…

Сквозник-Дмухановский (сквозник — чай, в чае — муха).

Уховертов.

Земляника.

…

Гоголь писал Плетневу: «Я до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, — первые, необходимые орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности… У меня никогда не было стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность как она есть вокруг нас…»

…

Почему Гоголю верят, когда он пишет редкая птица долетит до середины Днепра и не верят, когда он пишет про себя горькую правду?

…

Анекдотов нет в «Выбранных местах», поэтому этот текст так тяжел и неприятен. Зато есть какое-то нудное безумие. Белинский написал: «Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, черта и ада веет от вашей книги».

И ведь правду написал. Гоголь, кажется, действительно верил в черта, в посмертное наказание, Страшный суд и прочие басни.

…ваше волнение есть просто дело черта. Вы эту скотину бейте по морде… как только наступишь на него, он и хвост подожмет.

(Гоголь — Аксакову)

…

Если бы Гоголь вот так, буквально, не верил в черта, не написал бы свои малороссийские сказки. Не приставлял бы к судьбам своих героев искусственные житийные концы.

Гоголь верил в ад и боялся его. Пытался откупиться своими героями. Не вышло — Вий вылез из его собственных штанов и показал на хозяина своим железным пальцем.

…

Стали плакаться бабы, как им трудно… А брат утешал их: «Это хорошо, что так теперь страдаете, зато будет вам блаженство и царствие небесное».

(Гоголь-Головня по записи Мошина)

Неужели он мог издеваться над труждающимися и обремененными? Мог.

…

…он казался худым и испитым человеком…

Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивалось к постоянно проницательному выражению его лица…

Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера; когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук.

…умное, и странное, и больное существо…

Так описал Гоголя в октябре 1851-го года Тургенев…

…

Сестра Гоголя свидетельствовала, что брат был глуховат на одно ухо.

Спокойно съедал один банку варенья.

Очень любил разноцветные жилеты и шелковые, и бархатные, и зеленые, и голубые.

Носил высокую шляпу-цилиндр.

В морозные дни надевал медвежьи сапоги и енотовую шубу.

…

Друг мой. Я не люблю моих сочинений, доселе бывших и напечатанных, и особенно «Мертвых душ».

(Гоголь — Смирновой)

…

Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки.

(Выбранные места)

Не только русского человека испугала, но и автора.

…

Колумб хотел открыть новый путь в Индию, а открыл Америку. Гоголь — хотел открыть Россию и русского человека, а открыл и показал ничтожность, пошлость русской жизни. Или… жизни как таковой. Когда понял, что сделал — испугался и приговорил себя к смерти.

Безнадежнее геморроидального Гоголя был только один великий русский писатель — чахоточный Чехов.

…

Пащенко писал о юном Гоголе: «Вдруг сделалась страшная тревога во всех отделениях — Гоголь взбесился! Сбежались мы и видим, что лицо у Гоголя страшно исказилось, глаза сверкают каким-то диким блеском, волосы натопорщились, скрегочет зубами, пена изо рта, падает, бросается и бьет мебель — Взбесился!.. позвали четырех служащих при лицее инвалидов, приказали им взять Гоголя и отнести в особое отделение больницы… пробыл он там два месяца, отлично разыгрывая там роль бешеного…»

Трудно сказать, что хуже — два месяца честно психовать или то же время разыгрывать сумасшедшего. Полагаю, друг Гоголя ошибался — припадок был настоящим. Может быть, начался он и с розыгрыша, но продолжился безумием.

Психиатры рассказывали мне, что больные по разным причинам начинают разыгрывать припадок бешенства, но остановится не могут, хотя и понимают, что актерствуют…

Таков, кажется, генезис и некоторых литературных опусов Гоголя — например «Ревизора», этого половинчатого бреда с косолапыми медведями и сивыми меринами на губернских пригорках-ручейках, толстобрюшкой, червонной дамой, финтирлюшками и веревочкой или «Женитьбы», бреда полного с женихомяичницей, пушинками, паучками, паф-пафами, розанчиками и петушьей ногой.

Я не могу поверить, что Гоголю в тамошней нежинской дурке было привольнее, чем в лицее.

…

В письме Балабиной 32-летний Гоголь так описывает свое психическое состояние: «Я почувствовал то подступающее к сердцу волненье, которое всякий образ, пролетавший в мыслях, обращало в исполина, всякое незначительно-приятное чувство превращало в такую страшную радость, какую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство претворяло в печаль, тяжкую, мучительную печаль, а потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние».

…

Подобные флуктуации психики характерны для больных — «биполярным аффективным расстройством». Я не врач, и ни в коем случае не утверждаю, что Гоголь болел именно этой болезнью. Но в каталоге симптомов биполярного расстройства можно узнать многие, хорошо известные, особенности поведения и душевного состояния Гоголя, разглядеть контуры его литературы и его судьбы.

В маниакальной фазе — духовный подъем, быстрая речь, двигательное возбуждение, вспышки гнева, скачки идей, бредовые идеи величия, колоссальные бесперспективные проекты, безумные конструкции.

В депрессивной фазе — немногословная тихая речь, заторможенность, отупение, черная тоска, тревога. Самообвинения, самоуничижения, ипохондрия. Бред собственной отрицательной исключительности (больной утверждает, что он страшный неисправимый преступник или грешник). Голоса, призывающие покончить с собой.

Опытные психиатры приглашали меня посмотреть на настоящих хронических «биполярников», совершенно не способных к писанию книг, тяжело больных людей. Именно в такой, черной депрессии находился и Гоголь перед смертью.

Он умер, не дожив одного месяца до 43 лет.

Мистика. Майор Ковалев хотел жениться ровно в сорок два года.

Титулярный советник Поприщин писал: «Мне сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба».

…

Соматика Гоголя не отставала от его психики; 36-летний Гоголь жаловался: «Признаки болезни моей меня сильно устрашили: сверх исхудания необыкновенного — боли во всем теле. Тело мое дошло до страшный охладеваний; ни днем, ни ночью я ничем не могу согреться. Лицо мое все пожелтело, а руки распухли и почернели и были ничем не согреваемый лед…»

В других письмах того же времени читаем: «Карус осмотрел меня… и нашел, что главная причина всего заключалась в печени, что печень необыкновенно выросла, оставив весьма мало места для легких… сильней всего у меня поражены нервы в желудочной области…»

…

Хорошо еще, что у него не выросла под носом шишка, как у алжирского дея.

…

Гомик?

Нет. Подозрительные излияния мужчинам (я ничего теперь так не ожидаю, как твоих писем. Они — моя радость… я без тебя не останусь в /Петербурге/… куда ты, туда и я…) в письмах молодых лет — явно дань красноречию, а не отголоски полового влечения.

Некрофил?

Три ночи мертвая красавица панночка — восставшее подсознание бурсака Гоголя — безуспешно пыталась вломиться в очерченный дрожащий рукой господина Брута меловой круг...

Романтично! Но пахнет неаппетитно. Гоголь же любил весну и воспринимал мир, как собака, ноздрями.

…

Верите, что часто приходит неистовое желание превратиться в один нос, чтобы не было ничего больше — ни глаз, ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого ноздри были величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя как можно побольше благовония и весны.

(Гоголь — Балабиной).

…

Садист, мучитель?

Гоголь — послеримский — писал Соллогуб: «Моя душа заныла от страшной жестокости моего сердца…»

…

Гоголь имеет в виду свой эгоизм. Но только ли эгоизм?

…

Молодой Гоголь часто описывал различные садистские сцены.

…

На полу мальчишка лет четырех колотил огромным подсолнечником по опрокинутому горшку, между тем как другой, годом постарее, душил за горло кота, напевая какую-то песню…

(«Глава из исторического романа»)

…

Исполнители схватили ее за руки… Не многие глаза выдержали бы то ужасное зрелище, когда один из них с варварским зверством свернул ей два пальца, как перчатку. Звук хрустевших костей был тих…

Говори, я тебя!.. — произнес воевода, которому муки слабого доставляли какое-то сладострастное наслаждение…

… это был человек… но без кожи. Кожа была с него содрана… Одни жилы синели и простирались по нем ветвями. Кровь капала с него! ... На кровавом лице страшно мелькали глаза.

(«Кровавый бандурист»)

Тут особенно впечатляет это — свернул… как перчатку. И любимое слово Гоголя — тих.

Несколько лет позже Гоголю уже не было надобности сдирать с героя кожу — достаточно стало содрать шинель.

…

Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. А Шепчиха… сидит и дрожит… а потом видит, что панночка к ней идет… кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. («Вий»)

Жутко, и одновременно — гомерически смешно.

…

А ну, паны-браты, перевешаем всю жидобу!… В Днепр их, панове, всех потопить поганцев! Эти слова были сигналом, жидов расхватали, по руками начали швырять в волны, жалкий крик раздавался со всех сторон; но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе.

…Арендаторы-жиды были вешаны кучами, вместе с католическим духовенством.

…Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранная кожа с ног по колена у выпущенных на свободу…

Напрасно несчастные матери и молодые жены и девицы… думали спастись у алтарей: Тарас зажигал их вместе с костелом. И когда белые руки… подымались из ужасного потопа огня и дыма к небу… свирепые казаки подымали копьями с улиц плачущих младенцев и бросали их к ним в пламя …

(«Тарас Бульба», из различных редакций)

…

Самое жуткое тут — явно потешающие Гоголя «жидовские ноги в башмаках» (торчащие из воды) и всегда возбуждающие его белые руки над огнем и дымом.

Понятно, почему именно «Тараса Бульбу» проходили советские дети в школе. И сейчас проходят. Тут унижен, опозорен и оболган еврей. Приведены основания для будущих погромов: ...уже очутился тут арендатором и корчмарем; прибрал понемногу всех окружных панов и шляхтичей в свои руки, высосал понемногу почти все деньги и сильно означил свое жидовское присутствие в той стране. На расстоянии трех миль во все стороны не оставалось ни одной избы в порядке: все валилось и дряхлело, все пораспивалось, и осталась бедность да лохмотья; как после пожара или чумы, выветрился весь край. И если бы десять лет пожил там Янкель, то он вероятно, выветрил бы и все воеводство.

...

Не десять, а двести лет вместе — горестно добавляет Солженицын.

Двести лет! Все понятно. Все понятно...

...

Молодой Гоголь описывает дождливый Петербург: «Как удирает этот любезный молодой... Крепче его, крепче дождик: пусть он бежит как мокрая крыса домой... А вот и суровая дама бежит... поднявши платье... и не ворчит, видя, как чиновная крыса в вицмундире с крестиком, запустив свои зеленые, как воротничок его, глаза наслаждается видом... выпуклостей ноги... Они большие бестии, эти чиновники... В дождь... всегда эта амфибия на улице. Его воротник, как хамелеон, меняет свой цвет... Навстречу русская борода, купец... своею половиною. Как тяжело пыхтит эта масса мяса, обернутая в капот и чепчик. Ее скорее можно причислить к моллюскам, нежели к позвоночным животным. Сильнее дождик, ради Бога, сильнее кропи его сюртук немецкого покрою и жирное мясо этой обитательницы пуховиков и подушек. Боже, какую адскую струю они оставили после себя в воздухе из капусты и луку. Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской породы, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых... Какой вздор! Их не проймет оплеуха квартального надзирателя, что же может сделать дождь».

(«Дождь был продолжительный»)

Насылает на город потоп. И наблюдает с омерзением, как ведут себя его обитатели — крысы, бестии, амфибии, хамелеоны, массы жирного мяса в чепчиках, моллюски, оставляющие после себя адские струи, плуты с бородами, полными насекомых... Искренно сожалеет о том, что этих не только вода с неба не проймет, но и оплеуха квартального.

…

Пащенко писал: «Был у нас товарищ, Риттер. Гоголь… выкинул с ним такую шутку: Знаешь, Риттер, давно я наблюдаю за тобою и заметил, что у тебя не человечьи, а бычачьи глаза…»

Подводит Риттера несколько раз к зеркалу, тот пристально всматривается, изменяется в лице. Дрожит… лег несчастный Риттер в постель, не спит. Ворочается, тяжело вздыхает… Ночью вдруг вскакивает с постели, будит лакея…

— Видишь, у меня бычачьи глаза…

Подговоренный Гоголем лакей отвечает: «И впрямь, барин, у вас бычачьи глаза!»

Риттер окончательно упал духом и растерялся…. Помешался… И потащили несчастного Риттера в больницу… Гоголь и все мы умирали со смеху…

…

Погодин: «Гоголя занимало иногда подшучивание над детьми…. он обещал мне с сестрою привезти игрушек… Долго томил… Наконец… лакей пронес перед Гоголем какой-то ящик, завязанный в бумагу, и Гоголь крикнул мне на ходу: Митя, ступай живей наверх, я тебе игрушку привез… Я стремглав бросился по лестнице за ними. Начали развязывать покупку, и — о ужас! — оказалось, что Гоголь купил себе очень элегантную ночную принадлежность из красного дерева. Вот тебе и игрушка. Со слезами на глазах я начал бранить Гоголя… Гоголь… истерически хохотал…»

…

Подсунуть ребенку вместо игрушки ночной горшок! Добре, пане добродию.

…

Кулиш, со слов Смирновой: «Гоголь писал собственноручно четырнадцать псалмов и заставлял ее учить их наизусть. После

обеда он спрашивал у нее урок, как спрашивают у детей, и лишь только она хоть немножко запиналась в слове, он говорил — Нетвердо! И отсрочивал урок до другого дня».

…

Вот еще одно милое свидетельство (Анненкова): Степенный, всегда серьезный Яким состоял в должности его камердинера. Гоголь обращался с ним совершенно патриархально, говоря ему иногда — Я тебе рожу побью… Гоголь простер свою предусмотрительность до того, что раз, отъезжая по делам в Москву, сам расчертил пол своей квартиры на клетки, купил красок и, спасая Якима от вредной праздности, заставил его изобразить довольно затейливый паркет на полу во время своего отсутствия.

…

Бартенев: «Гоголь всегда держал себя бесцеремонно у Хомяковых… капризничал неимоверно, приказывая по нескольку раз то приносить, то уносить какой-нибудь стакан чая, который никак не могли ему налить по вкусу: чай оказывался то слишком горячим, то крепким, то чересчур разбавленным; то стакан был слишком полон, то, напротив, Гоголя сердило, что налито слишком мало… присутствующим становилось неловко».

…

Гоголь о Пушкине: «Пушкин всегда ездил на пожары и любил смотреть, как кошки ходят по раскаленной крыше. Пушкин говорил, что ничего нет смешнее этого вида...»

…

Тут, кажется, Гоголь приписал Пушкину то, что сам любил делать. В «Дубровском» кузнец Архип спасает кошку, бегающую по кровле горящего сарая: ...мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние.

— Чему смеетеся, бесенята, — сказал им сердито кузнец. — Бога вы не боитесь — божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь — и, поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав.

…

Эта торопливая благодарность — доказательство того, что Пушкин садистом не был.

Многие отзывы Пушкина о творчестве Гоголя, известны нам только из гоголевских сочинений, полагаю, Гоголь запросто приписал Пушкину то, что хотел бы услышать о себе.

Безнаказанность этому подлогу была гарантирована — все знали, что Пушкин вовсю ему протежировал.

Какую лестницу просил подать умирающий Гоголь?

…

Вот как описывает Гоголь отъезжающего, недовольного неожиданными задержками: «Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется о стекло под его пальцем».

(«Мертвые души»)

Проговорился, любитель путешествий…

…

Данилевский: «Дорогой дурачились, и Гоголь выделывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его; ему доставался и — гусар. Когда кучер запрягал лошадей, то мы наводили стекло на крупы. Дорога была веселая».

…

«Гусар» (бумажка, свернутая в трубочку) засовывали спящему между пальцев руки или ноги и поджигали. «Стекло», упомянутое Данилевским — это увеличительное стекло. Милые юноши прижигали, если я не ошибаюсь, лошадкам задницы… Весело!

…

В «Авторской исповеди» Гоголь объяснял: «Несмотря на мой меланхолический от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками… На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения… Я думал, что многие сквозь смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья».

Развлечение самого себя.

…

Не пожалейте красненькой, нарядите попа во фрак, за другую — обрейте ему бороду и введите его в собрание или толкните меж дам. Я это пробовал, и клянусь, что в жизнь не видел ничего лучше и смешнее: каждое слово и движение нового фрачника нужно было записывать.

(Гоголь — Погодину)

…

Подкупить попа, нарядить во фрак, обрить ему бороду, толкнуть его к дамам, на бал, а самому наблюдать эту комедию, записывать и хохотать — браво!

Это не только развлечение, это — художественный метод! Удобно-то как! И придумывать ничего не надо. Вам грустно? У вас хандра? Сведите с ума титулярного советника Поприщина, сорвите шинель с Акакия Акакиевича. Или, еще проще — оторвите нос глупому майору Ковалеву — и преследуйте его, и смотрите писательским глазом, как он будет бегать по Петербургу да получать щелчки. От того, от сего и от вас!

Какое сладострастное наслаждение!

…

Бейте его! Бейте его! — Кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту…. Ребята, вперед!

…

Есть тут злобное желание? Есть. И еще какое.

В оправдание Гоголя можно заметить, что не было бы в людях этой злой и веселой страсти к мучительству других существ — не было бы и человека совсем, одни розовокрылые ангелы бесплотные слонялись бы по земле. Не было бы ни сильного тела, сформировавшегося в борьбе не на жизнь, а на смерть с соперниками и конкурентами, с животными и с остальной природой, не знающей жалости. Не было ни литературы (чудный пример — «Герой нашего времени» Лермонтова — тут и главный герой и автор — самые настоящие мучители, и какие!), ни живописи, ни кино… Только бесконечная божественная литургия…

Не было бы — злобного желания, не было бы и писателя-Гоголя.

Не было бы на земле и заколдованных мест, одни только — выбранные места…

…

Свидетель последних дней писателя, врач Тарасенков, констатировал: «Ночи проводил он в бдении на молитве… один раз имел небольшое кровотечение из носа, мочу имел густую, темно окрашенную, испражнения на низ не было всю неделю. Прежде сего за год он имел течение из уха будто бы от какой-то вещи, туда запавшей; других болезней не было в нем заметно; сношений с женщинами он давно не имел и сам признавался, что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовольствия; онании также не был подвержен».

…

Был ли Гоголь мужчиной?

Или у него между ног было, как у майора Ковалева вместо носа, — совершенно гладкое место?

Неестественны — скучающие герои Гоголя — Платонов, Тентетников, Подколесин. Здоровый молодой мужчина (Пушкин) живет от одной встречи с любовницей (или женой) до другой, от оргазма к оргазму. Если, конечно, его не отвлекают биржевые спекуляции, бега, карты, рестораны. А эти — скучают… Почему? Потому что Гоголь их заразил своей мертвенностью.

В «Носе» Гоголь демонстрирует незнание мужской природы — настоящий мужчина не будет ТАК дергаться и бегать из-за носа, а вот из-за другого органа — и побежит и подергается, если потребуется.

Панический страх Ковалева остаться без носа — это фрейдистский страх кастрации на гоголевский лад. Набоков полагал, что у Гоголя роль пениса выполнял нос. Чем же тогда были многочисленные, жадно им описываемые, табакерки и сам нюхательный табак? Воздержимся от ответа. Но чихание, кажется, было единственным, доступным Гоголю, видом оргазма.

…

Где его рассказ о первой любви? О первой женщине?

Ничего этого нет. Зато есть это удивительное место в «Вие». Единственное в гоголевской прозе описание любовного

экстаза (цитирую только конец): Он чувствовал томительно-страшное наслаждение… вскочил в свою очередь к ней на спину… схватил лежавшее на дороге полено и начал им изо всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она; сначала они были сердиты и угрожающи, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики (а он все бил и бил поленом. — *И.Ш.*)… — Ох, не могу больше! — произнесла она в изнеможении и упала на землю… Перед ним лежала красавица… Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые нагие руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез.

…

Хома сидел на женщине верхом. Левой рукой, видимо, держался за плечо. По каким местам он ее колотил? За что автор приговаривает Хому к смерти? За то, что тот убил ведьму, или за то, что испытал с ней.

…

…он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова…

(«Невский проспект»)

…

Вот только полена рядом не нашлось… И Шиллер с Гофманом вовремя подоспели.

…

Никто, никогда, ни одним словом, не упоминает о какой-либо любовнице Гоголя. Даже слухов не было. Единственная женщина, в которую Гоголь был якобы влюблен — это графиня Анна Михайловна Виельгорская, одна из его жертв. Гоголь зондировал почву о возможном браке через Веневитинова, женатого на одной из сестер Виельгорских.

Из туманного письма Гоголя графине неясно, что он собственно от нее хотел.

…

Коробочка соблазняет Чичикова: «Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал».

Чесание пяток покойнику — единственный разрешенный вид секса в гоголевском мире.

…

Из многочисленных свидетельств о странностях одежды Гоголя приведем только одно, Аксакова: «Передо мной стоял Гоголь в следующем фантастическом костюме: вместо сапог длинные шерстяные русские чулки выше колен; вместо сюртука, сверх фланелевого камзола, бархатный спензер (куртка); шея обмотана большим разноцветным шарфом, а на голове бархатный, малиновый, шитый золотом кокошник, весь похожий на головной убор мордовок…»

…

Трансвестит?

…

Что любил Гоголь есть и пить?

Леденцы, пряники, печенье, кренделькы, булочки. Пирожки с яблоками, черносливом и вареньем. Малороссийские кушанья, особенно галушки. Макароны с пармезаном и сливочным маслом. Разнообразные мясные блюда. Водку, херес, шампанское, жженку. Грушевый квас. Козье молоко с ромом. Крепкий кофе с жирными сливками. И еще — все то, что ели и пили его герои…

Это при его-то, с молодости, геморроидальных страданиях и расстройствах желудка!

Арнольди свидетельствовал, что Гоголь наедался до того, что бывал болен и в то же время постился иногда как самый строгий отшельник.

…

Догадка! Молодой Гоголь побывал, по-видимому, в петербургских борделях. Очень уж реалистично описал он публичный дом в «Невском проспекте». Попробовал, но не получилось. Испугался. Испуг зафиксировался в психике, стал рефлексом. Рефлекторным стало и желание скрыть испуг. Следы этих маскировочных работ можно найти во многих текстах Гоголя. Похабные анекдоты — один из таких следов. Белоснежные или мраморные (холодные) красавицы в его литературе — другое.

Женские персонажи у Гоголя — это или лубки как пани Катерина, или карикатуры как дамы в «Ревизоре» или в «Мертвых душах», или так описаны, как будто не Гоголь писал, а сучка Меджи из «Записок сумасшедшего». Есть, впрочем, исключение — изредка Гоголь высказывался — о бабах как казак, вроде Тараса Бульбы.

Гоголь попросту не знал женщины.

Пушкин написал — обманчивы как ножки их. Все ясно, специалист. У Лермонтова читаем — на ней измято было все, и грудь / хранила знаки пламенных лобзаний.

А у Гоголя — одно чесание пяток.

За то и не любил он особенно свою «Женитьбу» (писал Погодину — эта глупость не должна была явиться в свет) — потому что позабыл о маскировке, открылся в Подколесине.

«Женитьба» — один из самых страшных текстов Гоголя. Рассказ о том, как инстинкт смерти побеждает волю к жизни.

…

Осрамился, может быть, в борделе. Вместо того чтобы снять штаны, сделать свое мужское дело и заплатить, начал там, возможно, проповедовать, как в «Выбранных местах».

Что-то подобное в голову приходит, когда читаешь историю Пискарева…

Мы станем трудиться… Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием…

Как можно? — прервала она речь с выражением какого-то презрения. — Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою….

Женитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. — Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

…

Как она будет сидеть, Гоголь не объяснил.

За несколько дней до смерти Гоголь написал «Духовное завещание» — мне бы хотелось, чтобы деревня наша по смерти моей сделалась пристанищем всех не вышедших замуж девиц, которые бы отдали себя на воспитание сироток, дочерей бедных неимущих родителей. Воспитание самое простое: Закон Божий да беспрерывное упражнение в труде на воздухе около сада или огорода.

…

Хорошо еще, что Гоголь жил в веке девятнадцатом. Живи бы он в двадцатом, добавил бы — да окружить приют высокой изгородью. С колючей проволокой. Собак пустить. И вертухаев поставить.

…

В том же тексте Гоголь пишет: «Якима отпустить на волю. Семена также, если он прослужит лет десять графу».

…

Лет десять!

…

Может быть его осрамили не падшие женщины, а жизнерадостные мужчины? Сильные, успешные, чиновные, богатые. Военные? Полицейские? Высокопоставленные чиновники?

Гоголь им отомстил. Нарисовал целую галерею взяточников и высокомерных бессердечных бюрократов.

Вот как Гоголь описывает простой народ: «После сих… следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют… старухи, которые… как муравьи…»

(«Портрет»)

…

Старухи — насекомые. В старом уксусе. Или в чернильнице Плюшкина с какою-то заплесневевшею жидкостью и множеством мух на дне. Или в его же графинчике, в который напичкались козявки и всякая дрянь…

И еще про мух: «Баранов… преосторожно, прехитро, преинтересно ловит мух, сажает в баночку, обшивает полотном, запечатывает фамильным потомственным гербом и рассматривает при лунном свете».

(Гоголь — Высоцкому)

…

Преинтересно! Гоголь описал тут не причуду товарища, а свою творческую лабораторию.

…

…существо… даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп…

(«Шинель»)

…

Гоголь и был таким естествонаблюдателем, насадившим на булавку бедного Акакия Акакиевича и наблюдающим его в своем тексте как в микроскопе, и даже после его смерти… Гоголь и описывал Башмачкина так, как энтомолог — муху. Крылышки, жужжалица, лапки, голова, хоботок, брюшко, повадки.

Городничий недаром сравнивает Хлестакова с мухой с подрезанными крыльями. Этой беспокойной мухе подрезал крылышки, конечно не кто иной, как сам естествонаблюдатель Гоголь.

…

Потеря и поиск — главная драматическая пружина многих текстов Гоголя.

Несчастный Ковалев носится по Петербургу в погоне за своим собственным носом. Встречается с людьми — требует или просит у них помощи. Потому что для этого коллежского асессора человек без носа — птица не птица, гражданин не гражданин, — просто возьми да и вышвырни за окошко!

Ковалев не хочет стать птицей, хотя и умеет, по крайней мере в метафорах автора, летать — обнаружив пропажу носа — он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру. Метания Ковалева по Петербургу, его зигзаги и отчаянные наскоки — напоминают метания испуганной птицы в клетке.

Страшнее потери самого носа для Ковалева — потеря социального статуса, чина. Места на общественной лестнице, и тогда и сейчас заменяющего в России самого человека.

…

Мало посадить человеко-насекомых в стеклянный ларчик текста и запечатать фамильным гербом. Надо их заставить там бегать, летать, биться, показывать характер, развивать сюжет. В индийских фильмах для создания коллизии часто отрезают руки или ноги женихам или невестам.

И Гоголь не брезговал простыми мотивациями — членовредительством и всякими колдовскими кунштюками. Ковалеву он отрезал нос, бандуристу содрал кожу, отсек голову Ивасю, искусал Шептиху, заставил Бульбу собственноручно казнить одного своего сына и наблюдать казнь другого, застращал до смерти Хому и прокурора, оторвал руку и ногу Копейкину, сорвал шинель Башмачкину, а потом и значительному лицу, высек Пирогова и унтер-офицерскую вдову, оторвал бакенбарду Ноздреву, внушил чиновникам уездного города такой страх, что они сосульку, тряпку приняли за важного человека, совсем было избил Чичикова…

Для автора — обиженный и ищущий герой — идеальный объект для наблюдения. Он сам тянет сюжет, за ним надо идти следом, только и всего. Если он остановится — дать ему шелчка!

С гоголевскими героями все более или менее ясно — а за чем, за кем бегал Гоголь? Что искал? Какую красную свитку?

В молодости искал место для службы в Петербурге. Обратился за помощью к Фаддею Булгарину, даже похвальные стихи написал, в которых сравнивал Булгарина с Вальтером Скоттом. Получил по его протекции место. Служить, правда, не захотел. Только за жалованьем исправно заходил.

Искал тепло и покой за границей. Кочевал, кочевал по Европе. Заглянул и на Святую землю. И остался разочарован. Не Гробом Господним. Самим собой.

Писал, писал бесконечный второй том, да так и не написал…

Искал дорогу. Ехал, ехал… Куда?

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? Тут поворот: направо или налево?

…

Так и Гоголь — сам не знал, куда ехал, зачем. Всю жизнь мотался.

Куда-куда… Туда же, куда мы все едем. На кладбище. Стоило суетиться?

…

Хотел стать профессором истории. Провалился. Искал места на театре. Не взяли. Поступил в чиновники, начал делать карьеру, репетиторствовал. Обрыдло. Ушел. Захотел стать проповедником, учителем жизни — осрамился.

Ради пропитания написал «Вечера». Тут подфартило — встретил Пушкина, Жуковского и прочих значительных лиц. С тех пор никогда не пытался делать что-то — как все, а только по блату. И во многом преуспел. Злодеи, изверги и гонители просвещения — николаи-бенкендорфы-уваровы — ему помогали, проталкивали, чуть не десятилетие содержали за границей…

Бегал он по Европе больше от морозов (еще крепко не любил — жидовских городов), бегал и от самого себя…

Жил, как все писатели в своих произведениях… Литературным хозяйством, словом, анекдотом... Танцевал на балах — только на бумаге. Покупал мертвые души — в тексте. Богател и беднел только вместе с Чичиковым. Старел и скряжничал вместе с Плюшкиным. Ел блинцы с Коробочкой. И на черте летал. И в бешеных казацких атаках участвовал…

…

Вы, может быть, думаете, что я только переписываю…

…

К концу жизни потерял любопытство, перестал мучить своих литературных героев, стал их даже жалеть, выпустил их из

стеклянного ларца. И они разбежались — кто к Тургеневу, кто к Достоевскому, кто к Островскому или к Салтыкову, а позже и к Булгакову.

…

Почему Гоголь 27-ми лет от роду покинул Россию?

…

Бросивши отечество, я бросил вместе с ним все современные желания. Неперескочимая стена стала между им и мною, Гордость, которую знают только поэты, которая росла со мной в колыбели, наконец не вынесла. О, какое презренное, какое низкое состояние… дыбом волос подымается. Люди, рожденные для оплеухи, для сводничества… и перед этими людьми… мимо, мимо их…

(Гоголь — Погодину)

…

Да-да. Знакомое чувство. Из-за отвращения от соотечественников. И уязвленного самолюбия.

…

Погодин писал: «Там (в Риме) водворился и Гоголь, бежавший из Петербурга после разных неудовольствий и досад при представлении и напечатании “Ревизора”».

…

Какого рода были эти неудовольствия, нам открывает следующая цитата. Гоголь читал «Ревизора» русским в Риме на вечере в пользу художника Шаповаленко. Присутствовавший на представлении Иордан писал: «Я слышал, как многие, выходя, говорили: Этой пошлостью он кормил нас в Петербурге. Теперь он перенес ее в Рим».

…

Многие зрители и сами актеры-исполнители поняли — Ревизора как фарс, пошлость. Но не это уязвило Гоголя так, что он оставил Россию.

Посмотрев собственный спектакль, он испугался. Не непонимания публики. Нет. Представление «Ревизора» открыло ему его собственную природу…

Если бы кто увидел те чудовища, которые выходили из-под пера моего…

Гоголь заглянул в себя и понял суть своего писательства.

Его шелкоперство, его словесная потеха над сивыми меринами, свиньями в ермолке и кувшинными рылами, никак не хотела маскироваться под комедию нравов. Под сатиру.

Вышло как у Ноздревского Порфирия — хотел вычесать щенка (показать чиновников и посмеяться над ними), но еще и своих блох напустил (заразил их своими пороками, создал не живых людей, а мутантов).

…

Стасов писал: «…нам приходилось вступать в горячие прения с различными пожилыми… и не пожилыми людьми… уверявшими, что никакой натуры у Гоголя нет, что все его собственные выдумки и карикатуры, что таких людей вовсе нет на свете…»

…

Именно так думал про своих героев и зрелый Гоголь.

…

В 1837-м году Гоголь писал Прокоповичу: «Мне страшно вспомнить обо всех моих мараньях. Они вроде грозных обвинителей являются глазам моим… И если бы появилась такая моль, которая бы съела внезапно все экземпляры — Ревизора, а с ним — Арабески, — Вечера и всю прочую чепуху… я бы благодарил судьбу».

…

Гоголь сам стал этой молью.

…

Гоголь — Погодину: «…ехать, выносить надменную гордость безмозглого класса людей, которые будут передо мною дуться и даже мне пакостить. Нет, слуга покорный. В чужой земле я готов все перенести, готов нищенски протянуть руку, если дойдет до этого дело. Но в своей — никогда…. Я бездомный, меня бьют и качают волны…»

…

Впрочем, стать бездомным не в поэтическом, а в реальном смысле слова, Гоголь не пожелал. В 1837-м году он получил от царя выхлопотанное Жуковским великодушное вспоможение в 5000 рублей. Позже он получал деньги от короны регулярно, как пенсию, пока не вернулся на родину.

Не в последнюю очередь и для того, чтобы оправдать в своих и чужих глазах эти деньги, Гоголь создал целую идеологию, в которую, по-видимому, сам верил и которую активно проповедовал.

…

В самой природе моей заключена способность только тогда представлять себе живо мир, когда я удалился от него. Вот почему о России я могу писать только в Риме…. Меня теперь надо беречь и лелеять…. Создание чудное творится и совершается в душе моей… Чище горнего снега и светлей небес должна быть душа моя…

…

Свою жизнь в Риме Гоголь представлял как служение России.

Поразительно, что в эту галиматью верили не только богатые и влиятельные светские женщины.

…

С Гоголем случилось то же, что со всеми нами случается, если мы доживаем до известного возраста. В какой-то момент могучий поток времени, органно воя, обгоняет нас. Жизнь уходит вперед, а мы безнадежно плетемся где-то в хвосте…

Отстаем все больше и больше, и все чаще уходим назад, в мир детства, в те времена, когда огненный дракон жизни еще нес нас на горячих плечах, и наши розовые щеки обжигало его палящее дыхание…

Дополнительное отставание — от своей бывшей родины — удел любого стареющего эмигранта.

Гоголь покинул Россию молодым человеком. Прожил важнейшие 12 лет за границей и явно проворонил Россию. Она умчалась вперед. Попытался ее догнать, вернулся, прожил перед смертью на родине без малого 4 года, но упущенного так и не наверстал.

Типично для возвращенцев.

…

Когда я перечитывал вторую часть «Мертвых душ», меня не оставляло неприятное ощущение — казалось, что и сам Чичиков больше автора не интересует. Говорит этот герой все то же, что и в первой части, разбалтывается по-настоящему только в сценах

позора у генерал-губернатора и в тюрьме. Но и эти сцены не убеждают — чувствуется, что Гоголь это раскаяние своему герою навязывает… Новые персонажи — Петух, Бетрищев, Тентетников, Хлобуев, Платонов, Улинька, даже Костанжогло — какие-то устаревшие, однобокие типы. Прокисший рассол.

Как ни храпи Петух, как ни болтай Хлобуев — им далеко до Собакевича или Манилова. И они тоже, как и автор, плетутся где-то за пределами существования… Они — литературные недоноски (Хлобуева доносил и вырастил Достоевский, Тентетникова — Гончаров).

В то время, пока Гоголь обонял весны в Риме и Неаполе, по русской литературе уже пошли другие люди. Даже персонажи — Героя нашего времени: Печорин, Вера, доктор Вернер, Грушницкий — гораздо более похожи на современных людей, чем архаичный Бетрищев или Лигейя-Уленька.

…

Поучительна история гоголевского профессорства.

Профессор-ориенталист Григорьев так описывал университетскую карьеру Гоголя:

«Как ни плохи были вообще слушатели Гоголя, они, однако же, сразу поняли его несостоятельность. В таком положении оставался ему один исход — удивить фразами, заговорить; но это было не в натуре Гоголя, который нисколько не владел даром слова и выражался весьма вяло. Вышло то, что после трех-четырех лекций студенты ходили в аудиторию к нему только затем уж, чтобы позабавиться над — маленько сказочным языком преподавателя. Гоголь не мог этого не видеть, сам тотчас же сознал свою неспособность, охладел к делу и еле-еле дотянул до окончания учебного года, то являясь на лекцию с подвязанной щекой в свидетельство зубной боли, то пропуская их за тою же болью».

…

Многое из вышесказанного верно и в отношении гоголевской литературы. И реакция публики была примерно такой же. И поведение автора.

…

Цензор Никитенко свидетельствовал: Жуковский возвысил его в глазах Уварова до того, что тот в самом деле поверил, будто

из Гоголя выйдет прекрасный профессор истории, хотя в этом отношении он не представил ни одного опыта своих знаний и таланта… Гоголь потребовал звания ординарного профессора и шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. Молодой человек… не имеющий никакого академического звания, ничем не доказавший ни познаний, ни способностей для кафедры… Это может делаться только в России, где протекция дает право на все. Что же вышло? Гоголь так дурно читает лекции в университете, что сделался посмешищем для студентов.

…

Анненков писал: «Одна из причин, оторвавших Гоголя от Петербурга, был неуспех его университетского преподавания. Гоголь понадеялся на силу поэтического воссоздания истории, на способ толкования событий a priori, на догадку и прозрение живой мысли, но все эти качества, не питаемые постоянно фактами и исследованиями, достали ему на несколько блестящих статей, на несколько блестящих лекций, а потом истощились сами собою, как лампа, лишенная огнепитательного вещества».

…

Это приговор. Не только неуспешной гоголевской профессуре, но и его литературе. Гоголь и в ней понадеялся на силу поэтического воссоздания реальности, на догадку и прозрение живой мысли и тут хватило на несколько блестящих текстов («Петербургские повести»), а на «Мертвые души», так, как он их задумал, — масштабно, панорамно, у римского жителя сеньора Николо явно не хватило огнепитательного вещества.

Гоголь был достаточно умен, чтобы это понимать.

…

Скажу вам не шутя, что я болею незнанием многих вещей в России, которые мне необходимо нужно знать. Я болею незнаньем, что такое нынешний русский человек…

(Гоголь — Россету).

…

Гоголь хорошо знал быт своей родины — Малороссии. За восемь лет тамошней жизни узнал отчасти и чиновничий Петербург. Настоящей России он не знал вовсе.

Реагировал он на свою неудачу на кафедре характерно: «Я читаю один, решительно один в здешнем университете… хоть бы одно студенческое существо понимало меня. Это народ бесцветный, как Петербург».

(Гоголь — Погодину)

…

Пушкин испортил его похвалами. В «Авторской исповеди» Гоголь писал: «…Главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».

…

Может быть и не надо показывать мелочи крупно? Такое представление реальности — однобоко и деспотично, оно упрощает жизнь, превращает живых людей в героев мультфильмов. В носы. В ноздри. В кувшинные рыла.

Герои Гоголя — уроды. Толстоносые (как городничий). Или вовсе без носа (как Ковалев). Люди-ноздри с черными как смоль бакенбардами или только с одной бакенбардой (Ноздрев). Во фраке с искрой или адским пламенем (Чичиков). Люди с густыми бровями (прокурор). Люди — коробочки. Плюшки, Петухи. Тентеты, Яичницы. Жевакины. Бульбы. Ляпкины-Тяпкины.

Тяп-ляп-тяп-ляп... Это леший Гоголь кует в адской кузнице своих отвратительных гомункулов…

…

Трудно литературному герою (бескрылой мухе) бороться с всесильным автором. Известный в Петербурге анекдот о безносом спутнике Муртазы-Кули-хана, для которого мастер Осип Шишорин сделал два искусственных носа, стал для невинного майора Ковалева, попавшего в лапы к нежинскому профессору Вию, кошмарной реальностью.

Ковалев одинок, он околдован нечистой силой, ошельмован, унижен, убит. Он — выкидыш из реальности. Один, в страшном сюрреалистическом мире. Он умирает от ужаса, в который его поверг всесильный автор, генерал-губернатор прозы...

У него между щеками — совершенно гладкое место.

Персидского вельможу изуродовали в борьбе за власть сторонники злобного шаха-скопца. Ковалеву же урезывает нос страшный евнух Гоголь.

Ковалев для Гоголя не больше чем насекомое, муха или комарик…

Ковалев догадывается, что все, что с ним случилось, это — сон, греза (Невероятно, чтобы нос пропал… Это, верно, или во сне снится, или просто грезится), но бедный майор не догадывается, что это не его греза. А автора, засмотревшегося на графинчик с козявками.

…

Религиозный моралист.

Многие герои Гоголя переживают метаморфозу, знакомую нам по житиям святых. Страсти — наказание — искупление — преображение.

Уже в первом удачном литературном опыте Гоголя — «Вечере накануне Ивана Купалы» — соблазненный Бисаврюком Петрусь, страстно влюбленный в красавицу Пидорку, отрезает, в погоне за золотом, голову невинному ребенку Ивасю. Ни женитьба на Пидорке, ни богатство счастья ему не приносят — в конце концов он сгорает заживо прямо в хате. Метаморфоза происходит и с телом Петруся и с самим золотом: «Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу… одни битые черепки лежали вместо червонцев».

…

Пидорка — заместитель Петруся по искуплению — уходит в монастырь, в Лавру, замаливать грех мужа. Высыхает как скелет. Беспрестанно молится. Приносит оклад к иконе Божьей Матери, исцвеченный яркими камнями…

…

В «Портрете» тот же сюжет повторяется два раза.

Бедный художник Чартков покупает портрет бисаврюка-ростовщика, в рамке которого спрятаны червонцы. Завладев червонцами, Чартков начинает роскошествовать. Забрасывает ради золота и славы истинное искусство и становится модным

живописцем. Через много лет встречает настоящее произведение искусства, очаровывается им, завидует, озлобляется и, так же, как Петрусь, впадает в мрачное бешенство — скупает картины высоких мастеров и изрезывает их на куски. Кончает он еще мрачнее: «Все люди, окружающие его постель, казались ему ужасными портретами… все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно… Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания».

…

Пророческое описание! Гоголь умер почти так же — отрекшись от своих произведений, уничтожив работу нескольких лет, изойдя религиозным ханжеством и мракобесием. И страхом смерти. Ему, как и Хоме, не помогли и сами иконы в церкви. Со всех концов его литературного пространства на него смотрели вылезшие из строчек текста, как ростовщик из рамок, порожденные его гением гомункулы — мертвые души…

…

Во второй части «Портрета» описывается другой художник, автор злополучного портрета, отец рассказчика на аукционе. Его грех — не предательство истинного искусства ради денег, не любовь к — падшему ангелу (от которой погиб художник Пискарев), а всего лишь… Реализм созданного им портрета. Мастерство.

И этот гоголевский художник впал было в бешенство, но сдержался, одумался и ушел, вслед за несчастной Пидоркой, в монастырь. Там он из древесных ветвей выстроил себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место и каялся и в конце концов создал великую религиозную картину «Рождество Иисуса».

То же самое Гоголь хотел осуществить в своей собственной судьбе — искупить покаянием — адский сюрреализм петербургских повестей и первого тома «Мертвых душ» — уничтожить в домашнем аутодафе всех порожденных его греховным пером

монстров и стать кем-то вроде государственного монаха-писателя или пророка-проповедника. Савонарола из него не получился... Скорее Фома Опискин.

…

Гоголь отомстил всем своим героям и самому себе — рукопись сжег, а себя заморил голодом до смерти. Был похоронен и лежал себе в гробу, пока какой-то шутник (говорят, Бахрушин) не украл его голову. В советское время по приказу нового Вия — Сталина, гроб открыли, советские прохвосты-писатели украли (вполне в стиле звонаря Халявы) сапог Гоголя, его ребро, содрали с трупа сюртук. Даниловский монастырь, где была могила Гоголя переделали в изолятор НКВД для детей репрессированных лиц. Гроб перезахоронили на Новодевичье кладбище, старый памятник выкинули.

…

Сюжет «Носа» — это отчаянный поиск утраченного, с прологом (сцены с цирюльником), небольшим дополнением (описание слухов) и счастливым эпилогом. Анекдот, построенный как последовательность анекдотических эпизодов. Большой лубочный лист.

На театре «Нос» был бы чем-то вроде сценической шутки, гротеска, почти сюрреалистического действа. Забавная чепуха. Не без дерзости.

Слава Богу, никакой нравственной метаморфозы коллежский асессор Ковалев не переживает. Он безнадежен. И потому правдив.

…

Почему нам нравится измывательство автора над коллежским асессором, самозваным майором?

Потому что и мы любим поглумиться над несчастьями ближнего. Да еще и такого преглупого, с сердоликами и бакенбардами. Хороший конец освобождает нас от угрызений совести. Бескровный нос не внушает отвращения.

…

Показать российскую действительность «непосредственно», «прямо» — крайне трудно, слишком она лжива, обманчива. Кривое зеркало Гоголя и его «веселый садизм» — позволяют вывер-

нуть наизнанку жизнь петербургских насекомых. Так изучение мозгов шизофреников помогает ученым понять, как функционируют здоровые мозги.

Когда Гоголь с помощью оптинских старцев и Исаака Сирина вытравил-таки из себя, веселого садиста, разбил стеклянный ларчик с насекомыми — его проза — о парадокс! — перестала быть реалистичной.

Русская проза — не акафист; чтобы ее писать, нужны и злоба, и ярость, и гордость, и себялюбие. Иначе жизнь превратит и писателя и его писульки в мыло.

…

В письме к матери Гоголь писал: «Сон есть отражение наших беспорядочных мыслей. То, что мы думаем, что нас занимает, нам видится и во сне, только натурально на изнанку… сон есть больше ничего, как бессвязные отрывки, не имеющие смысла, из того, что мы думали, и потом склеившиеся вместе и составившие винегрет».

…

Композиция «Носа» и есть гоголевский сон-винегрет, составленный из склеившихся, не имеющих смысла отрывков. Также построены и многие другие произведения Гоголя — в частности самый большой его сон — «Мертвые души». Свободное построение позволяло Гоголю не стеснять себя сложными композиционными схемами, а просто нанизывать на нитку различные анекдоты, перемежая их красочными описаниями.

…

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — спрашивает цирюльника Ивана Яковлевича его разгневанная супруга Прасковья Осиповна. А нос, между тем, вовсе не отрезан, на своей обратной стороне он похож, как и совершенно гладкое место между щек Ковалева, на блин. Нос почему-то даже не запекся в печи вместе с хлебом (покраснел бы или побагровел, но в любом случае не был бы таким ужасно белым).

Таков абсурдный пролог рассказа — бедный цирюльник хоть и подозревается в краже бортища пуговиц, но к пропаже носа Ковалева никакого отношения не имеет. Он, пусть и вонючими

руками, но честно и аккуратно выбрил асессора, как всегда, в среду; нос был, как подтвердил позже сам его хозяин, всю среду и четверг на месте (для усиления его реальности на нем вскочил прыщ) и пропал ночью или под утро пятницы.

…

«Нос» — веселое слово, волшебное, с изнанкой, вперед — нос, а назад — сон. Появление носа Ковалева в печеном хлебе — как элемент кошмара — вполне логично. Гоголь дразнит майора — а нос-то твой вот где, в хлебе! Запечённый! Сейчас его цирюльник сожрет с луком, да запьет кофеём! А ты будешь без носа жить, птичка наша сердоликовая. Будешь на Воскресенском мосту сидеть и апельсинами торговать!

…

Супруга цирюльника спускает на мужа поток симпатичных ругательств: «Мошенник! Пьяница! Разбойник какой! Сухарь поджаристый! Потаскушка, негодяй! Пачкун, бревно глупое!»

…

Почтенная Прасковья Осиповна выражает сомнение в его мужской пригодности — Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять.

…

И обещает мило: «Я сама на тебя донесу полиции».

…

Далее Гоголь разыгрывает одну из самых странных сцен мировой литературы — попытку Ивана Яковлевича отделаться от носа. Это еще труднее, чем догнать бывшего регента, кота и специалиста по черной магии…

Он хотел его куда-нибудь подсунуть или как-нибудь нечаянно выронить. И удрать. Не вышло.

В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! Вон ты что-то уронил!» Отчаянье овладело им…

…

Вообще, в этом тексте ни у цирюльника, ни позже у майора — ничего не получается. Чтобы они ни делали, ничего не вы-

ходит, все оборачивается против них. Получают они одни щелчки. Ковалев получает щелчок даже по своему совершенно гладкому месту (от доктора).

Только в самом конце повествования, явно не зная, как развязать этот абсурдный узел, автор сделал вид, что сжалился над майором, и сам, ночью, без свидетелей, приклеил-таки Ковалеву нос. Шинель вот не отдал Башмачкину, зажилил, может, и для самого себя — очень уж мерзлючий был, а майорский нос — приставил на место. На кой он ему, у него свой был, длинный.

Никаких логичных оправданий этому хэппи-энду нет. Но, не оставлять же было нос лежащим на тумбочке, или еще хуже — не продавать же его противному доктору. Да и не приставь он носа на место, все закричали бы — так не бывает! А так все тихо-с.

…

Мало того, что Иван Яковлевич долго не мог выкинуть маленькую тряпочку с носом — когда ему это наконец удалось, и нос, вероятно уже грызли бегающие (на коньках?) в Неве рыбы, его подозвал к себе и подверг допросу квартальный. А потом, хоть это из цензурных соображений и не было описано Гоголем, ни в чем неповинного цирюльника арестовали и посадили на съезжую. Только за то, что он делал что-то, показавшееся подозрительным полиции на Исакиевском мосту. Позже, впрочем, отпустили. На кой черт он нужен на съезжей? Со своим пегим, в коричнево-желтых и серых яблоках фраком и вонючими руками.

…

Допрос квартальным цирюльника Ивана Яковлевича — великолепный образчик диалога российской власти с маленьким человеком. В чем-нибудь человек всегда перед властителями виноват. В чем? Это надо выяснить... Вот, пусть сам и рассказывает. А не будет рассказывать, заупрямится, так мы его по рылу… Национальная традиция…

…

— Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту? — спрашивает квартальный.

— Ей-Богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься.

Вернемся, однако, к несчастному коллежскому асессору, к сердоликовому нашему майору. Посмотрим, как эта мушка бьется в пинцете у экспериментатора Гоголя.

Итак, Ковалев проснулся, потребовал зеркало, посмотрел на свое лицо и увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место!

Прочитав это описание примерно в одиннадцатилетнем возрасте, я был разочарован. Особенно меня, как и майора, разозлило это гладкое место. Мне представился даже не выпеченный автором несколько позже блин, а какой-то дебил с плоским лицом, не человек, а детская поделка — рожица, вырезанная из бумаги. Нечто двумерное. Я почувствовал не только издевку автора над собственным героем, но и его, Гоголя, странное бессилие, неумение придумать что-то более интересное, чем это гладкое место.

Совершенно гладкое место, впрочем, невозможно. Я попробовал нарисовать безносого так, чтобы никаких следов носа не осталось, никаких дыр, только одна огромная щека от уха и до уха. Кошмарная рожа! Нарисовал честно, по описанию, густые бакенбарды, идущие по самой середине щеки и прямехонько до носа (до того места, где еще вчера торчал нос). Получилась — обезьяна!

Так Гоголь повернул эволюцию вспять — превратил майора в обезьяну и дал этой обезьяне новой, гоголевской породы, пинка в зад — беги.

…

Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза… вскочил с кровати, встрепенулся… и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Гоголь начал эксперимент. Закрутил волчок и с жадностью смотрит, куда его понесет. И любопытный читатель смотрит вместе с ним.

Автор, втискивает читателю сомнительный анекдотец, ставит его в лестную позицию ехидного наблюдателя. Не надо самоидентифицироваться с Ковалевым, с мухой без крыльев, не надо даже ему особенно сочувствовать, этому потешному попу во фраке, этому дураку Риттеру с бычачьими глазами и дымящимся гусаром в пальцах…

Чтобы еще немного отстранить читателя от героя, сделать подопытного кролика еще немного гротескнее, а историю солонее, Гоголь использует первую же возможность для негативного представления Ковалева, который бежит в панике к обер-полицмейстеру. А автор в это время пакостно сплетничает. Намекает на неблагородное происхождение его асессорства. Кавказский асессор-то! Экзамены сдать не смог… Через заднее крыльцо в потомственное дворянство втиснулся… Рассказывает и о воротничках и о манишках, и о смазливеньких, о бакенбардах и о румяных щеках, о печатках сердоликовых, о его планах и мечтах… Всю подноготную…

…

… приехал искать места вице-губернаторского, а не то — экзекуторского… не прочь и жениться, но только в том случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу…

…

Т.е, объясняет читателю, что его жертва — человек тщеславный до боли, суетный, похотливый, готовый за деньги и продать себя. Не жалеть его! Пусть побегает, подергается, пощупает свое гладкое место. Он сам — гладкое место. Преглупое место. Со всеми своими печатками.

…

Ковалев забегает в кондитерскую — куда же еще может ползти бескрылая муха, как не к сахару. Ковалеву, впрочем, не до сладких пирожков — он смотрится в зеркало. Робеет. Убеждается, что носа нет, чертыхается, плюется… А ведь он должен еще радоваться, что хоть рот оставил ему Гоголь. Мог бы и… Зашить шелковой ниткой (Гоголь, как известно, сам шил и кроил пестрые галстуки)…

Читатель смеется. Гоголь не спускает со своего героя глаз. И тут же, с лету, не давая ни строчки продыху, сталкивает Ковалева с чиновником в мундире с высоким стоячим воротником. И заставляет обескураженного Ковалева узнать в этом господине его собственный нос.

Из дальнейшего рассказа вовсе не ясно, почему, как это Ковалев узнал в этом человеке — собственный нос. Но автору плевать и на читателя и на подопытного Ковалева, плевать на связность или логичность сюжета. Он развлекается. Лечится от ипохондрии.

В гоголевской прозе довольно часто встречаются тупики, в которых автор-крот не желал или не умел проделать дырки для читателя, жаждущего хоть какой-то зацепки или пусть абсурдной, но логики. Проза Гоголя так же капризна и странна, как и ее автор, справедливо писавший про себя, что не умеет завязывать и развязывать сюжет.

Почти вся проза Гоголя — мир наизнанку. Когда он ее вывернул назад — оказалось, что лицевая сторона этого литературного носка — скучная и ничем не примечательная.

…

Ковалев поспешил в Казанский собор. За собственным носом.

…

Он… пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь.

…

Вот он — ужас настоящей, дремучей жизни. Это уже не страх майора — это страх самого Гоголя. И какой жуткий намек! Нищие старухи, бывшие прежде смазливенькими, с провалившимися, сифилитическими носами, в лишаях или прокаженные…

…над которыми он прежде так смеялся…

Кто смеялся? Ковалев или Гоголь?

Так вот за что урезают носы — за жестокость.

…

Нос-чиновник спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

Что же это делается, господа? Нос — молится? Это, что ж, и руки могут отдельно от человека молиться. И живот… И… Эге-ге. Недаром редакция — Московского наблюдателя эту повесть забраковала.

Спрятал лицо. Значит — у носа была голова, волосы, шея, лицо. Т.е. нос действительно был человеком. Чиновником. Носил мундир со стоячим воротником. Молился с выражением величайшей набожности. Все чин чинарем. И тем не менее оставался носом. Носом майора Ковалева. Который тут же рядом стоял, но не молился, а хотел было с ним заговорить, но робел, потому что нос, все-таки был его на два чина выше... Статский советник!

Интересно узнать, а нос у носа — какого был чина? Еще на два пункта выше? А нос носа носа… Канальство. И, если у Ковалева нос — отдельно от хозяина разгуливающий чиновник, то и у других тоже… Носы… Разгуливают по Петербургу.

А какие еще, сбежавшие от хозяев, части тела по Петербургу гуляют?

Какая дерзость! Статский советник — и всего-то — нос. И разглядеть это может каждый квартальный, если, конечно, наденет специальные очки. А может и государь-император — тоже… Всего лишь нос. С прыщиком. Хоть и в золотом мундире. Или еще хуже, может быть, он только прыщик на носу у коллежского асессора?

…

Помнится, была такая французская карикатура гоголевского времени — по бульвару идут огромные разодетые… Нет, не носы. Должно быть, видел ее Гоголь. И намекал на нее.

…

Нос-человек, впрочем, это вовсе не выдумка Гоголя, а персонаж с популярного лубка «Похождения о носе и о сильном морозе» (этому посвящена замечательная статья Александры Плетневой — «Повесть Н.В. Гоголя «Нос» и лубочная традиция»).

Нос и мороз — двое мужчин, стоящих друг против друга и спорящих.

Не могу отказать себе в удовольствии процитировать подпись под этим двухчастным лубком: «Случилося носу теплом похвалится / будто смелость имеет с морозом браниться / вдруг сделался великий мороз / выскочил против его красный нос / говорит я нос красный / а о морозе пропущен слух напрасный / якобы он тех знобит / у кого (нос) табаком (набит) / я за ним това не признаваю / завсегда наруже красен пребываю / никогда от того морозу не хоронюся / но еже ли б он здесь был / то я с ним побранюся /… / однако от морзу нос не потрусил / а после мороз скоро его укусил / пошел из носу табак / бросился нос скоро на кабак / вышел оттуда / отважился сказать / я еще себя хочу показать / мороз очень осердился / что нос пред ним возгордился / сделал такое награждение / и носу его прибавление / великая на носу вдруг шишка вскочила / что чуть и рожу не своротила / притом обратился нос в алый цвет / каких у индейских питухов

нет / перестал нос с морозом драться / и стал в тепло убираться / оттого сделался нос гнил / а хозяину не мил / отчего хозяину печаль / а нос гусиным салом лечил…»

…

Некоторые слова я исправил, а «питуха» оставил (питух — пьяница, от глагола пить).

…

Нос-человек на лубке провоцирует мороз, похваляется перед ним. Мороз его по-свойски унимает. В известном смысле и нос майора Ковалева — похваляется и провоцирует, изображает вельможу, хотя сам всего лишь нос. И его наказывают — не дают уехать в Ригу, превращают в обычный человеческий нюхательный орган и возвращают за известную мзду владельцу. Роль мороза, фатума играет в гоголевской истории полицейский, квартальный надзиратель.

Как близок этот лубок образному мышлению Гоголя, демонстрирует следующий отрывок из «Шинели»: Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз… В девятом часу утра… начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам…

…

Где происходит история с носом? Ответ вроде бы простой: в столице российской империи Санкт-Петербурге. Но так ли это? Не ходят там носы в мундирах. И не ходили. Там даже в расстегнутом мундире по Невскому пройтись было нельзя, царь мог заметить и наказать. Какие уж тут носы с плюмажами! Тут — по струнке! Тут недавно еще вешали.

А если не в реальном Петербурге, то где?

Где-где — на Луне!

…

Вот что писал троюродный брат майора Ковалева титулярный советник Поприщин: «Луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся на Луне».

…

Это уже горячее! Носы не ходят по земле. Не бегают по мостовым Петербурга. Носы — нежные существа, живут на Луне. Значит, не николаевский Петербург описан Гоголем, а не всамделишный, лунный.

…

Там — дам целый цветочный водопад сыпется по всему тротуару.

Там — усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою.

Там — бакенбарды бархатные, атласные, черные как соболь или уголь.

Там — восхитительные духи и ароматы.

Там — целое море мотыльков и туча черных жуков.

Там — тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки.

Там — рукава, похожие на воздухоплавательные шары.

Там — дамы поднимались бы на воздух, если бы не поддерживали их мужчины.

Там — лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет.

Там — почтенные старики бегут, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы.

Там — все окидывается каким-то туманом. Тротуар несется под тобой, кареты со скачущими лошадьми кажутся недвижимы, мост растягивается и ломается на своей арке, дом стоит крышею вниз. Будка валится к тебе навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестит на самой реснице твоих глаз.

Там — мозг приносится ветром со стороны Каспийского моря.

Там — легкость необыкновенная в мыслях.

Там времени нет, а все происходит — мартобря 86 числа. Между днем и ночью.

Там плавает чудесная рыба лабардан.

КОМНАТА, В КОТОРОЙ НАС НЕТ

(вступительное слово на фотовыставке)

Комментировать фотографии абсурдо. Они сами себя комментируют в немом диалоге со зрителем. Комментировать собственные фотографии — абсурд вдвойне, это все равно, что комментировать собственные ноги или естественные отправления.

Тем не менее... организаторы выставки попросили меня сказать перед публикой несколько слов, и я благодарен им за это, хотя глубокомысленно отмолчаться было бы конечно куда солиднее и безопаснее. Ведь что ни скажешь о фотографии — все будет неправильно, неточно, так она неоднозначна, противоречива. Поэтому я сделаю только несколько важных для меня замечаний.

...

Я фотографирую то, что вижу. Там, где живу. Гуляю и снимаю себе, понимая, что даже просто так сделанные фотографии глубоко субъективны, что они не отражают действительность, а скорее удваивают ее, создают вертикальные складки на ровных пластах пространства, порождают извечные проблемы отражений, дубликатов, двойников, обладающих особым вторичным бытием.

...

Фотограф — человек за камерой — старается не нарушать своим присутствием естественного хода вещей, общается с миром через объектив, пытается не вспугнуть бабочку. И оказывается на обочине, за бортом, вне существования. Становится отражением, проекцией, двойником самого себя, тенью. Сам превращается в бабочку. Тоже происходит и с писателем. И фотография и рассказ — свидетельства известного отстранения, устранения, отчуждения автора от мира. Шаг назад — в Зазеркалье.

У меня нет желания создавать профессиональную фотографию.

Абсурд, жуть существования смертных, конечных сущностей — растений, животных, людей, зданий — интересуют меня куда больше чем фотография сама по себе. Больше, чем композиция, глубина резкости или профит. Больше, чем сама реальность, плавающая в тумане неопределенности.

Я — эмигрант. Эмиграция превращает человека против его воли в вечного туриста. В нежить, в живой труп.

Я боролся, пытался прирасти к чужим корням и прорасти сквозь чужую почву свежим побегом. Потом признал поражение и смирился с ролью поверхностного наблюдателя, привидения, потусторонней бабочки, впорхнувшей в прихожую мещанина.

Фотография стоит между мной и реальностью как полупрозрачное зеркало. Она позволяет если не понять мир живого и неживого, то хотя бы его рассмотреть. Смотреть на мир прямо страшно, уж очень жесток и бессмысленнен, разглядывать фотографию — приятно. Реальность уменьшена и поймана в капкан. Стреножена и обеззаражена. Автобус на фотографии никого не задавит. Собака никого не укусит. Фотография тещи не станет ворчать. Давно умерший отец не оживет. И бояться и плакать бесполезно. Прошлое прошло. Застыло. Умерло. Умер и ты. Тот ты. А тот, кто на его месте — тебе неизвестен. Каспар Хаузер.

Живое и неживое уровнялось в правах — стало фотобумагой. Или последовательностью нулей и единиц.

...

Я не ищу мотивов, не поджидаю как папарацци фотографическую дичь. Не ворую и не конструирую. Мотивы приходят сами. Приходят и уходят. Зафиксировать я могу только малую их часть. Лучшие — не сфотографируешь. Они не поддаются искусственной материализации. И это — хорошо. Потому что фотография, как и любая другая техническая фиксация — это редукция.

Милая, прелестная, трепетная?

М...да, бедрышки недурны. Но грудка птичья, и кудряшки как у пуделя.

А глаза твои синие-синие...

Несколько месяцев назад я спросил одного опытного антиквара в Берлине: «Где можно купить или продать современные фотографии?»

Он ответил: «Нигде. Никого не интересует современность. Современные фотографии будут интересны людям только через 40 лет. Сейчас продаются фотографии, сделанные 40 лет назад или более раннее. Но, конечно, если вы засняли сажание на кол неверной жены в Конго или коитус принца Чарльза с бульдогом — приносите, поторгуемся».

Парадокс! Все сейчас фотографируют — цифровая техника сделала этот процесс легким и доступным — но никто не хочет смотреть фотографии — ни свои, ни чужие. Сфотографировал и забыл. Положил на какую-то полку. Потерял. Стер файл.

Фото папарацци живут несколько дней, рекламные фотографии — несколько месяцев, семейные фото хоронятся в толстых фотоальбомах, которые если и показывают родственникам и знакомым, то только чтобы похвастаться увиденными экзотическими достопримечательностями или позолоченной сантехникой в дорогой гостинице...

Папа, посмотри, это фото нашего отдыха на Майорке. Триста штук всего. Майкл играет в волейбол на пляже. Какой загорелый! Бетси пьет коктейль Дайкири. Все было так прекрасно. Какие чудесные закаты!

...

Современный человек не хочет смотреть в зеркало. Не хочет остановиться, осмотреться и задуматься. Он бежит. Бежит как волк в поисках добычи. Ему тошно. Потому что он бежит не по ромашковому полю и не по лесной тропе к земляничной поляне — а по воняющей выхлопными газами рыночной площади, от одного гешефта к другому. Из отдела в отдел. С этажа на этаж. От двух тысяч пятисот к трем тысячам. От трех — к пяти, к десяти, к манящему за пузырящимся горизонтом миллиону, розовому толстяку, состоящему из глупой единички и шести волшебных нулей (миллион — это цифровая фотография счастья). Этот бег, этот марафон, начинается у западного человека почти с пеленок и продолжается до торжественного финиша — солидных похорон с

лимузинами, вдовами, отпрысками, речами и черными повязками. Забывают бегуна, впрочем, сразу же после раздела наследства. Выбрасывают семейные фотоальбомы на помойку. Очищают память компьютера.

...

Самая большая загадка на свете — не жизнь на Марсе и не эволюция вселенной, а рутина, повседневная реальность, не инопланетные существа и не деяния андреевских эгрегоров, а наши близкие, друзья, враги, комнаты, дома, улицы, мы сами.

Даже до боли знакомое я постоянно ускользает от нас не только во времени, но и в остановленном мгновенье. Но мы щелкаем и щелкаем в надежде разобраться в окружающем нас мире и в самих себе. Но так ничего и не понимаем.

За 22 года жизни в Германии, я встретил множество немцев, равнодушных к истории своего края, к своей культуре, не знающих не только своих соседей, но и своих прародителей, не понимающих самих себя. Людей, не умеющих или не желающих замечать те радикальные изменения, которые произошли с их родиной, с ее природой, с ними самими. Единственной жизненной мотивацией которых является — покупка, комфорт, приумножение капитала и продвижение по карьерной лестнице.

Зеркало таким людям невыносимо потому, что правда невыносима и тошнотворна. Реальность немыслима. Вон из нее! Да здравствует самообман. Мы бессмертны и счастливы. Вперед — к телевизору. Жалюзи вниз! В кресло. Налей-ка мне пива, милая! Или — в отпуск, в Лас-Вегас, в тропики, на Борнео. В гости к Чарли. Подальше от незваного гостя — самого себя. Ведь мы все — каспары хаузеры.

...

Мы не в ладах не только с самими собой — мы не в ладах со временем. И фотография, эта затянувшаяся на десятилетия ситуация, этот сыплющийся, но никогда до конца не высыпающийся песок, эти вечные улыбки, бочкообразные лица, застывшие глаза с красными зрачками, люди с поднятыми ногами, падающие от неправильной перспективы дома с кривыми стенами — все эти беззвучные свидетели убегающей от нас реальности —

вызывают только боль и раздражение. Боль, когда мы видим на них улетучившиеся миры прошлого, дорогих нам умерших, дома и улицы нашей юности... Раздражение, когда видим самих себя. Обрюзгших, поглупевших, отчаявшихся, растерявших жен и друзей, потерявших свежесть и надежду.

Фотографии показывают нам, как мы постарели, как время пожирает плоть. Напоминают о том, что знакомый и привычный нам мир не вечен, что он постоянно изменяется, что он уже ускользнул, остался где-то позади и пришло нечто новое, неприятное уже в силу своей новизны. К этому новому надо приспосабливаться, это новое надо подгонять под себя, а себя — под него. Надо нагонять убежавшее вперед время. Неизвестно, сладим ли мы с этим.

...

Фотография — двумерная машина времени.

Посмотрите на дом, где вы росли. Вглядитесь в лицо вашей старенькой бабушки. Здесь вы учились. А сюда — вы уже не вернетесь никогда.

Фотография дарит мгновению мнимое плоское существование, с полстолетия длящуюся вечность. Спасибо химии, спасибо солнечному свету. Сорок — пятьдесят лет, самое большее семьдесят — таков срок жизни современного фотографического снимка. Одна надежда на новую египетскую мумию — цифру. Числовой континуум — вот истинное поле для археологии будущего.

...

Когда я фотографирую, меня больше всего манит временной (а не пространственный, не цветовой, не конструктивный) аспект бытия. Это самое ускользание. Наше будущее вечное отсутствие. Комната, в которой нас больше нет.

Глядя в объектив, мы смотрим в будущее. Фотограф говорит нам — улыбнитесь, потому что не хочет заражать будущее тоской обреченных.

...

Я не делаю цветных фотографий, цвет — это энергия, а не суть объекта. Гораздо интереснее форма — внешняя оболочка, скорлупа, рельеф, пластинка, на которой судьба процарапывает

свои следы. Морщины, отвислости, пятна, выбоины, трещины, разломы — руины человека или здания — это знаки, письмена, драгоценные послания времени. Графика фатума. Все это конфронтирует с светом. Это красиво или безобразно. Ради этого можно взять на себя грех удвоения реальности.

Лицо молодого человека интересно только педофилу. Ни характера, ни судьбы. Нет потерь, нет и лица. Одна нежная плоть досуществования. Лицо много пережившего человека — это карта его судьбы, зачастую — портрет судьбы целого поколения. К сожалению, оно часто лжет. Но эта ложь — тоже портрет.

...

Я фотографирую по случаю, без плана, стараюсь выбирать модели, отражающие характер и судьбу, а не только старость, не только образ сам по себе. Таков «Портрет девяносто пятилетней женщины», пережившей бомбежку в Кёльне, бегство с детьми на восток, бегство от фронта на запад, послевоенный голод, три денежные реформы, кайзеровскую Германию, Веймарскую республику, Третий Рейх, ГДР и ФРГ... Таков и «Портрет восьмидесятилетнего мужчины», по происхождению поляка, сироты, воспитанного в еврейской семье, призванного в гитлеровскую армию и принужденного воевать против Польши, потом против СССР, дезертировавшего с товарищами в апреле 1945 года, пойманного и приговоренного к смерти, ожидавшего смерти, но по случайности не расстрелянного, прошедшего денацификацию...

...

Почти все фотографии, представленные на выставке сделаны в городе К.

Я жил там почти 13 лет. Наблюдал ремонт домов и улиц и распад личностей, постройку новых архитектурных чудовищ и разрушение старых романтических урбанистических островков. Фотографировал я для того, чтобы не сойти с ума. Мои фотографии — единственное, что я мог противопоставить нахрапистому мороку жизни. Слабая защита!

ФОТОГРАФ В ХРАМЕ ГРОБА

Слева от входа в храм Гроба Господня — знаменитая треснувшая колонна, из которой вышел в свое время пасхальный огонь. Давшие взятку турецкому паше армяне не пустили тогда в храм православных. Благодатный огонь в Кувуклии не сошел, зато вышел прямо из колонны в руки патриарха Иерусалимского и посрамил этим армян. Русские попы больше всего ненавидят латынян и лютерей, а к армянской церкви, хоть она и миафизитская (попробуйте понять, что это значит — голову сломаете), относятся терпимо. На востоке все не так. Главные антагонисты православных греков в храме Гроба — армяне.

Войдя в храм, посетитель натыкается на камень миропомазания, положенный тут в тысячу восемьсот каком-то году. Путеводители по храму утверждают, что плита на камне, та да, действительно, новая. Но уж камень под ней, уж он то точно тот самый, на котором мертвое тело Спасителя обвивали Туринской плащаницей.

Ротонда изнутри похожа на огромную бочку с коническим завершением. В вершине конуса — окно, обеспечивающее надлежащее освещение. Сцена готова к началу представления. Как жалко, что исполнитель главной роли улетел неизвестно куда. Он единственный, с кем хотелось бы пообщаться. Кувуклия, укрепленная металлическим каркасом, несмотря на все украшения, довольно уродливое сооружение. Ее средневековый прототип был проще и красивее. Его копия сохранилась в монастырской церкви Святого креста баварского Айхстетта.

Внутри Кувуклии — два небольших помещения. В первом хранится кусок камня, на котором сидел ангел, объявивший о том, что Христос воскрес. Во втором — каменная койка, на которой три дня лежало тело мертвого Христа, в то время как он сам, согласно преданию, освобождал избранных грешников от адских мучений. У этой койки-престола молится о ниспослании Благодатного огня коленопреклоненный Иерусалимский патриарх. Он

поднимает вверх руки с двумя связками свечей. И огонь нисходит с неба — свечи сами собой зажигаются. Впрочем, на этой же койке стоит во время этой церемонии на всякий случай своевременно зажженная лампада.

Центральный православный храм Воскресения Христа — Кафоликон. Недалеко от входа — нечто вроде круглой чаши или табуретки. Эта святая табуретка отмечает особое место, пуп Земли. Вседержитель смотрит из купола Кафоликона мудро-яростно, как Ленин с пропагандистского плаката.

Голгофа покрыта роскошными серебряными чеканками и картинками. На полу золоченое блюдо с эмалями. В середине блюда — дыра, а под дырой отверстие в скале. Там крепился крест. Справа от блюда — подаренная Храму португальской королевой поясная статуя Марии восемнадцатого века в ящике с стеклянной дверкой. В сердце ее воткнут меч. Изящные пальчики мадонны, ее красивое печальное лицо и многочисленные драгоценности наводят на различные нехристианские мысли.

В подвальном этаже часовня святой Елены, матери Константина, с армянскими мозаиками на полу. На стенах вырезаны тысячи крестов, это автографы крестоносцев. Еще ниже — старая цистерна, в которой нашли Животворящий крест. На месте находки — красноватая мраморная плита с изображением креста. Найденный тогда крест разделили на две части. Одну часть отправили в Константинополь, другую оставили в храме Гроба и выставили на всеобщее обозрение. Паломники целовали его — и в религиозном экстазе откусывали, что могли, чтобы хотя бы во рту унести кусочек величайшей христианской святыни (по преданию, крест был сделан из древесины райского Дерева познания добра и зла и сложными путями достиг Иерусалима, не без участия царя Соломона и царицы Савской). Позже крест разделили на кусочки и раздали по церквям и монастырям. Небольшой его опилок хранится тут же, в храме, недалеко от Голгофы.

...

Два раза я был в Иерусалиме и оба раза в феврале.

Фотографировал цифровой камерой. Готовил материал для выставки в Берлине. Штатива у меня не было. Не взял я его с собой из Германии, а в Святой земле покупать штатив не хотелось. Купил там зонтик, а он сломался через два часа.

В храме Гроба было темно. С рук снимать невозможно, вспышку я не люблю, приходилось устанавливать камеру на какие-нибудь камни или прижимать ее к столбам, колоннам или стенам.

Дождь ледяной лил дни напролет. Пару раз и снежком присыпало Святую землю. Я прятался от непогоды в храме. Бродил по нему, не торопясь, как привидение. Пытался себе представить, что вот тут — лежал мертвый Спаситель, тут с ним говорила Мария Магдалина, тут храпели грубияны-стражники, а тут — римские легионеры играли в кости, делили его рубаху.

В храме Гроба хранятся и толстая короткая колонна, на которой Спаситель сидел, когда ему надевали терновый венец, и обрубок другой колонны, к которой его привязали для бичевания. Терновый венец, кажется, тоже долго хранился в храме Гроба. И молоко Богородицы есть в ассортименте и много чего еще...

Десятки тысяч паломников своими молитвами и слезами превратили мертвый хлам в реликвии. Вдули в вещи, камни, картины, в само пространство новое содержание-дух, создали новую намоленную материю.

Чуда и высшей жизни во всем этом нет, но есть боль, вера, терпение и торжество ожидания второго пришествия Спасителя. Правды и справедливости. Суда и расправы над деспотами и насильниками. И блаженства для добрых.

Но Спаситель вечно опаздывает. Его небесный поезд задерживается. Подождите, господа, еще десяток эонов...

Чтобы уменьшить боль — на камни ставят зажженные свечи.

Как иголки в иглоукалывании.

...

Для фотографа отсутствие людей — благодать божья.

Люди отвлекают. Молятся, шепчут, толкаются. Монахи и попы различных конфессий устраивают в храме потасовки. Не могут поделить ризу.

Я щелкал и щелкал себе в тишине...

По крышам храма барабанил дождь, вода, казалось, была готова затопить ненавидимый прокуратором город. Снимал и против воли пропитывался потихоньку — как ромовая баба ромом — молитвами сотен поколений паломников, солью их пота и их слез, въевшейся в мраморы и порфиры.

До того, как воинственный Константин построил тут церковь, на месте Гроба Господня стоял храм Венеры, на алтаре которого приносились отвратительные христианам жертвы, где-то рядом с крохотной Голгофой (не гора это, даже не скала, а маленькая приподнятость скальной породы, возвышающаяся над местностью на несколько метров) стояла массивная статуя Юпитера.

Что заставило деспота, казнившего собственного сына и заморившего жену в бане, поверить в басни распятого еврея?

Срыть родное ему античное великолепие, копаться в земле и гравии, в поисках каменной норы, в которой за три столетия до него кто-то будто бы похоронил сына плотника, проповедника и бесогона, накормившего тремя рыбами триста человек? Который к тому же был распят, но воскрес и из погребальной пещеры то ли сам ушел, то ли улетел как вертолет прямо в небо. Потом — как Наполеон — на короткое время вернулся, побеседовал с учениками, позволил апостолу Фоме потрогать свои розовые внутренности и отчалил навсегда в Царствие Небесное. Прямо с горки взлетел, тут, недалеко, за кладбищем. Там и след ноги на камне сохранился.

Неужто Константин действительно во всю эту чушь поверил из-за снов, видений, увещеваний мамаши или дурацких знамений на небесах?

Что заставило римского императора построить на месте старой каменоломни храм-колосс (современный храм раза в четыре меньше константинова), щедро украшенный золотом и драгоценными камнями в честь человека, у которого золота никогда не было? Бедняка, который принципиально отвергал не только деньги, но и храмы...

Что вообще заставляет нас — каждого, по мере своих сил и возможностей — совершать безумные поступки? Жажда власти? Страх смерти?

Хорошо, что ужасное творение Константина до нас не дошло.

Все, что его зодчий Макарий Иерусалимский после разрушения храма Венеры и статуи Юпитера имел — это пологий склон небольшого холма, груды щебня, скалы, чахлый садик. Несколько старых еврейских пещерок-гробниц — возможно с костями, неизвестно кому принадлежащими.

С момента распятия до начала строительства храма прошло триста лет. Макарий не откопал — как археолог — артефакты, а хорошо поработал с тем, что имел под рукой. Инсценировал завершающие события и сцены Страстей Христовых. Назначил какую-то пещерку — а таких в Иерусалиме и в окрестностях сотни если не тысячи — гробницей Христа. Срыл холм, так что и пещерки никакой не осталось, построил не ее месте — первую Кувуклию. Рядышком вырубил в скалах возвышение — Голгофу. Пробил в нем сверху дырку и воткнул в нее золотой крест. Чем не реликвия? Настоящий Животворящий крест тем временем тоже как-то странно быстро нашелся. Явился и камень Помазания. И все прочее. Нелишне напомнить, что Константин был сказочно богат и денег на этот свой проект не жалел.

Макарий продолжил в архитектуре то, что в письменном виде сделали авторы евангелий. Из разрозненных воспоминаний очевидцев, из сказок и были они выплели свои жития Иисуса, не раз впоследствии отредактированные под нужды церкви церковными редакторами. Искренно желая приблизиться к правде, евангелисты так плотно замешали крохотные золотинки истины в густое тесто вранья, что теперь и сам черт не разберет, что с Иисусом на самом деле произошло, а что нет, что он сам говорил, и что ему приписали адепты...

Почти тысячу семьсот лет благочестивые христианские бутафоры продолжали дело Макария, изготавливали всевозможные святыни для Храма Гроба. Воссоздавали, как могли, материальные свидетельства по евангельскому тексту. Продавливали сквозь его колючую гравировку свою пластилиновую веру и творили из слов вещи.

...

Людям не нужна истина, им нужно успокоительное. Не нужен им и живой Христос.

Человеку нужен всесильный Бог, пребывающий где-то там, на небесах, которому можно молиться, которого можно умолять, которому надо приносить жертвы. Человеку нужен культ, ритуал и надежда. А Константину еще позарез нужна была военная победа над Максенцием и над Лицинием. И вот из кучи мусора и камней, поверх старых могил появился Храм...

Античный мир устал от культа победы, силы, красоты, коварства, плодородия. Слишком много было в нем обездоленных бедняков, слишком мало аполлонов и зевсов. Распятый лузер Иисус вызывал сочувствие у таких же униженных и бесправных. Его проповеди и обещания внушали надежду. Его последователи помогали друг другу как могли. И свершилось чудо — кастрат Иисус прогнал с Олимпа всесильного бабника Юпитера. Встал на место Аполлона. Заслонил собой слишком абстрактного Саваофа.

Полагаю, это не случилось бы, если бы Константин не изменил историю человечества Миланским эдиктом о веротерпимости.

...

Ничего подлинного в храме Гроба нет. Декорации. Камни, деревяшки, картинки, чеканки. «Гробы повапленные», по выражению самого Иисуса...

Безобразные мозаики, отвратительные низкие колонны, изъеденные какой-то гадостью камни, ужасный церковный туалет, Благодатный огонь, теснота, убогость, кич, улыбки умиления на устах верующих, насупленные брови вечно чем-то недовольных священников и монахов.

Единственное, что тут настоящее — это грубо вырубленная в почерневшей скале низенькая пещерка напротив коптской часовенки. Это и есть Гроб. Гробница какого-то еврея. Может быть, действительно, Иосифа Аримафейского. А может и самого Христа.

Туда небось и положили его мертвое тело...

И не было ни стражников, ни ангелов. Много чести распятому охальнику!

Никто не приходил к этому паршивому месту. Петр отрекся. Иуда повесился. Остальные от страха разбежались кто куда. Обезумевшая от горя Магдалина галлюцинировала, как галлюцинируют безутешные вдовы. Она-то и выдумала сказку про воскресение. И даже смогла позже убедить простаков-апостолов.

Про пещерку просто забыли.

Но не все. Через год малограмотная мать положила кости своего несчастного сына в глиняный ящик и похоронила его в какой-нибудь другой иерусалимской яме, которых тут что кротовых нор на берлинских газонах.

Так закончилась эта печальная история для ее главного героя.

Все остальное — креативный бред исстрадавшегося человечества, амбиции его мерзавцев-правителей и всезнающих шарлатанов пастырей. Лабиринт, в центре которого нет сокровища, только гулкая пустота, по которой разгуливают призраки.

Я много раз пытался снимать с рук в гробнице Иосифа. Чувствовал там какое-то присутствие. Но ничего не вышло.

Надо было все-таки купить штатив. Может быть, тогда я смог бы разглядеть на снимках что-либо кроме темноты, неясных бликов и щербатых каменных стен...

ИЕРУСАЛИМ В ФЕВРАЛЕ

Никакой красоты я в холодном февральском Иерусалиме не заметил. Хотя вид на город с Масличной горы и замечателен. Но тут действуют не виды, не ландшафты, а целиком вся сумасшедшая топография этого места...

Или топология.

Странные возвышения, разделенные не долинами, не ущельями и не пересохшими потоками несуществующей воды, а провалами, разрывами в ткани бытия. Разрывами-кедронами, усеянными могилами и камнями.

География навязывает образ мыслей, вертикальность скальных стен предопределяет иерархичность мышления. Иерусалимский ландшафт развивается не по горизонтали, а по вертикали и завершается косыми зигзагами. Географии следуют и крепостные стены старого города и стихи пророка Исайи.

Масличная гора наваливается на город. Старое кладбище убегает в небеса. А мертвецы ползут сквозь землю к Храмовой Горе, увенчанной по милости иорданского короля золотым шлемом.

Всюду камни. В трещинах, выбоинах. Разъеденные временем как кислотой. Камни, из которых Он грозил сделать новый народ Израиля. Кровоточащие иудейские камни. Камни, в которых геология по своей драматичности перегоняет историю народа.

На эту историю тут приготовлены ответы — выстроены жилые кварталы, похожие на средневековые изображения Вавилонской башни, кварталы, окруженные стенами.

На стенах — фонари, видеокамеры, колючая проволока. Засадили евреи себя сами в спальные концентрационные лагеря. И воют у Главной стены, ожидая, когда пустят газ. И им останется только небо для бегства.

Не город, а укрепрайоны, доты, дзоты...

Иерусалимским камнем мощеные Вавилонские Башни с выходами прямо к Престолам Всевышнего.

Стены, решетки, заграждения. Пещеры, гроты, ворота, коридоры, подземные ходы, лестницы, турникеты. Вооруженные солдаты ходят. Смотрят презрительно — знаем, мол, турист. Приперся на нас смотреть. А у нас — служба. Нет прохода! Что? Когда откроют проход? После второго пришествия вашего гаврика с нимбом. Вали, чего встал. Камеру спрячь. Фотографировать запрещено. Линяй, пока тихо.

…

Узкие проходы для людей. Широкие — для автомобилей, которые управляются так, словно они упрямые ослы. Сказывается восточная надменность — я еду в машине, значит я выше и важнее пешехода, которого можно поэтому и испугать и обрызгать грязью.

Все шоферы спешат куда-то. Спешат так, как будто от их прибытия зависят судьбы мира.

Евреи-пешеходы тоже все время спешат — бегут, бегут. Танцуют, взмывают в небо, приземляются как фигуристы на льду после — двойного тулупа. Суетятся. Странной, торопливой побежкой бегут туда... Потом быстро — обратно. Потом опять туда... Бесконечно долго что-то обсуждают по телефону. Жестикулируют, хотя собеседник их не видит. Жестикулируют для прохожих. Для себя. Для Бога.

В походке и в «побежке» еврея отпечаталась его ужасная история. Его заячья в ней роль. Его неврастения, его страх, его тысячелетняя усталость. Его ставшее против воли таким декоративным сознание. Шизофренически расщепленное сознание, вобравшее в себя бесконечные катастрофы, измотанное пустынями, пророчествами, ожиданиями, войнами, изгнаниями, истреблениями, погромами, щербатыми камнями на безводном пути.

Еврей не идет, а бежит, подскакивает — ловит манну, заметает следы, взлетает прямо в небо к Творцу в руки, кривляется как паралитик, озирается — проверяет, далеко ли фараоновы всадники. Подрыгивает, взмывает, а потом, приземлившись, косолапит пыхтя. Тяжело затанцует свой — юдентанц.

Еврей — не пария и не парвеню, а мистический кролик, проводник по каббалическому Зазеркалью — по Торе — метаисторической стране скотоводов. Еврея не любят соседи. Иногда его терпели, но чаще гнали, обдирали и жарили.

Его сознание патологически расщеплено. По вертикали, как колонна на входе в Храм Гроба. Он вечно настороже. Он не верит времени. Не верит стенам. Не верит развитию. Он слишком стар для новой жизни. В глубине подсознания он давно уже хочет умереть, успокоиться. Он жертва, ищущая палача. И кажется, наконец, палача обретшая.

Весь мир для еврея — антисемит. Давно объявленную войну новой эпохи, войну — всех против всех он принимает по старинке за войну — всех против евреев.

Еврей не понимает или не хочет понять очевидное — мир к нему равнодушен, его духовная роль — дело в глазах современного человека пустое.

Еврею пора остановить бег, успокоиться, пора привыкнуть не прятаться в Торе, а твердо встать двумя ногами на собственной земле, и пойти по ней спокойно, с достоинством. Не как мечущийся богоизбранец, не как распираемый ложной гордостью в своем черном маскараде ортодокс, а как думающий о выгоде хозяин, как филистимлянин — араб — палестинец.

Арабов я вижу чаще чем евреев, потому что араб себя не стесняется как еврей, а наоборот — манифестирует. И очень навязчиво.

Липнет, если чует, что можно выдрать деньгу. После разговора с тобой плюет в сторону. Мол, замарался о нечисть. Тьфу!

Араб ходит по Иерусалиму спокойно, не горбится, не танцует, он полон деловитого достоинства. Он ждет. Ждет своего часа. Он знает — это его земля. А евреи — это временно. Открылось пространство в мировом континууме, расступились волны песчаного океана, выстроилось нелепое еврейское государство. Но пройдет время и сомкнутся волны и прольется в который уже раз кровь... И жить будем по-старому, как всегда жили и даже некоторым пейсатым жизнь сохраним, чтобы было, кого в будущем обдирать и жарить...

Я видел, как молодые ребята-арабы демонстративно мочатся на еврейских могилах. Слышал, как они орут по ночам в самом центре Иерусалима — «мы перережем всем вам глотки когда придет наша власть» (еврей, хозяин маленькой гостиницы, перевел мне с арабского, стесняясь и краснея). Арабские мальчики кидали в меня и мою спутницу камни прямо на Храмовой Горе — это была месть за то, что мы не купили у них открытки.

Поведение араба по отношению к не мусульманину — это или раболепство с целью выдирания из него денег или прямая агрессия, ненависть. Очень последовательно и понятно. А еврей отвечает на это заячьим миротворчеством, заборами, торгами, демократией, вспышками гнева, молитвами, зашоренной, только еврейской проблематикой интересующейся мыслью.

В этом противостоянии непонятно только одно — почему Израиль все еще существует?

Хотя так вопрос ставить можно только слепой. Не желающий признавать очевидную историческую реальность. На самом деле, нет тут никакого Израиля.

Иерусалим был и остается арабским городом, сколько бы евреи не строили в нем больших и малых бетонированных гетто.

Потому что главный дух этих мест «Храмовая гора» в руках у арабов. Жертва Авраама не совершается и соответственно не принимается. Происходит отказ от Соглашения. Богу становится все равно — и праотец режет собственного сына как овцу. Проливает родную кровь. Как это и до него делали бесчисленные поколения язычников.

Евреи духовно ослабли. Начетничество, бесконечное чтение Торы и Талмуда, религиозный костюмный маскарад в сочетании с самовлюбленностью и ложным чувством национальной исключительности привели к потере наивного и честного религиозного духа древности. Если бы евреи действительно верили в своего Бога — они бы никогда не отдали арабам Храмовой горы. А поступили бы культурно варварски, а религиозно честно и последовательно — срыли бы бульдозерами всю кафельную красоту и построили бы Третий Храм, не дожидаясь Мессии, не тратя время на интерпретации Талмуда, в простоте сердца — так же как первые кибуцники сажали в пустыне сады и огороды. Этого не про-

изошло, потому что не религиозным евреям все равно, а у религиозных вместо прямой веры за две тысячи лет рассеяния сложился сложнейший конгломерат мудрости и самообмана, бессильный в решительные моменты, призванный оправдать иудейскую дряхлость и кроличью роль жертвы.

Мне скажут — евреи боялись, что все мусульмане мира объединились бы и уничтожили Израиль в ответ на построение Третьего Храма. Так может говорить только неверующий в Бога человек. Да, может быть, было бы и так (хотя я в это не верю — покричали бы, погремели бы оружием и все бы потихоньку позабыли). Но это было бы — честно по отношению к Богу и собственной истории. И Иерусалим стал бы тогда еврейским городом. А так он был и остается — мусульманским, сколько бы евреи в нем не строили. Все это в будущем останется арабам.

Смешно — евреи плачут у стены, вместо того чтобы начать наверху строить. Пока будут у стены плакать, а для оправдания трусости и безверия придумывать хитроумные религиозные толкования — будет араб над евреем смеяться, да нож точить.

Араб был какое-то время запуган и помалкивал. А теперь, почуяв еврейское бессилие и потаенную сладостную тягу к самоуничтожению, он орет по ночам, мочится на еврейские могилы, постреливает по окраинам, провоцирует, выпускает по Израилю ракеты, взрывает еврейские автобусы и рестораны.

Убивает евреев, потому что евреи дают себя убивать.

ЗАМЕТКИ
О БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЕ
(для радио RFI)

СТЕНА

9 ноября 2009 в Берлине будет праздноваться 20 годовщина падения знаменитой Берлинской Стены. На празднование съедутся видные политики, лауреаты нобелевской премии и другие знаменитости, вокруг Бранденбургских Ворот соберется миллионная толпа берлинцев и гостей столицы объединенного немецкого государства.

Не обойдется и без грандиозного представления — одна за другой будут обрушены тысяча двух с половиной метровых костяшек-домино, стоящих в ожидании праздника от Потсдамской площади до здания Рейхстага. Легкие пенопластовые блоки будут по расчетам организаторов падать один за другим — полчаса — символизируя и утверждая падение ненавистной Стены.

После падения последнего домино начнется фейерверк.

…

Со времен палеолита люди строили стены, валы и рвы для защиты от внешних врагов.

Берлинская стена однако, была сооружена строителями ГДР для предотвращения бегства своих граждан в Западный Берлин и дальше — в огромный свободный мир. Чтобы скрыть это, Стену называли «антифашистским защитным валом». Возможно, восточногерманские и советские лидеры верили собственной пропаганде — кроме прочих прелестей Стена включала в себя линии противотанковых ежей и специальные траншеи против моторизованной техники. Хотя на Восточный Берлин никто и не думал нападать.

В ночь с 12 на 13 августа 1961 года вдоль всей границы Западного Берлина были установлены столбы, на них была натянута колючая проволока.

Стену строили, укрепляли и расширяли все 28 лет ее существования. В своем окончательном, совершенном виде Берлинская Стена состояла как кольцо Сатурна из нескольких, опоясывающих Западный Берлин колец:

внутренней бетонной стены;

трехметровой стены из металлической сетки и колючей проволоки, под током и с сигнальными устройствами;

полосы, по которой бегали овчарки (всего на Берлинской стене служили около 1000 собак, содержавшихся в двухсот сорока шести собачьих питомниках);

полосы из вышеупомянутых противотанковых ежей и траншей;

следовой полосы;

светового коридора;

бетонированного пути для патрулей;

и, наконец, еще одной бетонной стены, высотой в три с половиной метра. Эта, последняя стена увенчивалась продольным цилиндрическим покрытием — чтобы труднее было перелезть. Стена эта состояла из г-образных бетонных блоков, обычно употреблявшихся в сельском хозяйстве восточной Германии при постройке силосных ям.

Кроме этого вдоль всей Стены были вырыты бункеры и поставлены пограничные вышки. Водные границы были дополнительно оборудованы подводными крюками и другими приятными неожиданностями для возможных пловцов.

Вопреки распространенному мнению на Берлинской стене не были установлены столь успешные на внешней немецко-немецкой границе самострелы. Не было и минных полей.

По различным данным на Стене или из-за нее погибли от 136 до 206 человек.

Первой жертвой стала пятидесяти восьмилетняя Ида Зикманн, выпрыгнувшая в отчаяньи из окна собственной квартиры с четвертого этажа дома на Бернауерстрассе, через который про-

ходила граница между советским и французским секторами Берлина. 22 августа восточноберлинские власти забаррикадировали выход ее дома на западную сторону. На лестничной клетке ее уже ожидали полицейские. Госпожа Зикманн кинула из окна на тротуар все имевшиеся у нее пуховые подушки и прыгнула. Подушки не помогли — женщина разбилась насмерть. Не думаю, что эта одинокая женщина — выбрала свободу и отдала за нее жизнь, как писали тогда западные газеты. Мотивация ее была проста и человечна, единственная ее родственница, сестра, жила неподалеку, в западной части Берлина.

Я видел фотографию Иды Зикманн — это была миловидная старомодно одетая женщина. Меховое пальто. Кудряшки. Подкрашенные губы. Колье.

Второй жертвой Стены был 24-летний Гюнтер Литфин. Этот закройщик из восточной части Берлина работал в западной его части, снял там квартиру и собирался ее обставить… Узнав о том, что он отрезан и от квартиры и от работы, он спрыгнул с моста Хумболдхафен в канал Шпандау и поплыл к другому берегу. Восточногерманский полицейский убил его выстрелом в голову. Газета немецких коммунистов «Нойес Дойчланд» назвала Гюнтера Литфина «гомосексуалистом, проституткой и уголовником».

Третьей официально зафиксированной жертвой Стены стал 27-летний рабочий-трубоукладчик Роланд Хофф. Этот человек переехал из района Ганновера в Восточную Германию за несколько месяцев до постройки Стены. Есть же на свете чудаки. Устроился на работу.

13 августа выступил на производственном собрании против закрытия границы и был тут же уволен. 29 августа Хофф сумел замешаться в толпу рабочих, укреплявших береговые стены канала Телтов. Потом Хофф прыгнул в канал. Его тоже убили выстрелом в голову. Пресса ГДР комментировала это убийство так: «Длинные руки поджигателей Холодной войны не смогли завершить свое грязное дело. Вошь на теле нашего рабоче-крестьянского государства была раздавлена до того, как смогла укусить…»

Стена убивала не только восточных немцев.

11 мая 1975 года пятилетний мальчик, житель Кройцберга, упал в реку Шпрее. Пытался достать уплывающий мяч. Ребенок утонул — никто не решился спасти его. Люди знали — в реке их настигнут пули с другого берега. Потому что в этом месте река Шпрее, во всю свою ширину принадлежала восточной зоне. Труп ребенка подобрал восточногерманский водолаз-пограничник. Но не передал его на Запад — попытайся он это сделать, был бы тут же взят на прицел своими же коллегами, а унес его с собой на Восток, где труп ребенка был вскрыт и только потом передан по официальным каналам родителям мальчика в Западный Берлин. После этого случая западноберлинские власти огородили берега реки и каналов специальными заборами.

Последней жертвой Стены считается Винфред Фройденберг, погибший 8 марта 1989 года при попытке перелететь из Восточного в Западный Берлин на самодельном воздушном шаре, наполненном газом.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Я приехал в Берлин в апреле 1990 года. Приехал на поезде из серой, грязной и обнищавшей Москвы. Горбачев тогда явно повернул вправо, в его глазах все чаще мелькала злоба и растерянность — он явно терял власть и был не прочь, вопреки поздним его утверждениям, развернуть машину истории вспять и вернуться в застойное время.

Сейчас Горбачев чествуется на Западе как великий реформатор, разрушитель Берлинской Стены и Железного Занавеса, освободитель Восточной Европы и народов СССР от тоталитаризма и коммунизма. Мне же всегда представлялось, что Горбачев все это и в страшном сне не видел. И старался всеми силами предотвратить. Он действительно хотел исправить некоторые вопиющие недостатки советской системы. Позволил напечатать старые книги, снял частично цензуру в СМИ, ввел половинчатую гласность — и не заметил, что спровоцировал этим тотальный обвал советчины. Видимо он до конца не осознавал, что СССР не реформируем и держится исключительно на лжи и насилии.

В апреле 90-го мне мерещился новый тягостный застой или еще хуже — диктатура бывших партийцев и гэбэшников в союзе с — Памятью, реакционными попами и организованной преступностью… Нечто подобное действительно возникло, но на полтора десятилетия позже… А тогда…

Тогда, в апреле, я шел пешком к Чекпойнту Чарли на Фридрихштрассе в Берлине… Стоял теплый солнечный день, у меня было прекрасное настроение, которое не испортилось даже тогда, когда я увидел очередь примерно в две тысячи человек перед входом. Берлинская Стена в это время вовсе и не думала исчезать, наоборот, стояла в полной своей абсурдной неприкосновенности и охранялась пограничниками ГДР, только приказ о стрельбе по беженцам был отменен, а желающие перейти в Западный Берлин проходили, предъявив документы, через официальные пропускные пункты. Стоя в шумной и веселой очереди, состоящей из счастливых восточноевропейцев всех возрастов и рас, я пытался суммировать впечатления от Восточного Берлина, от впервые увиденной Стены. Серый, скучный, вонючий город с советской архитектурой и пустыми магазинами. Стена невысокая. Из скверного, местами облупленного бетона. Несолидная стена. На не закрашенных местах — цвета старых валенок или гнили…

Западного Берлина я еще не видел. Заметил только силуэты нескольких высоких домов. Разноуровневых, разнообразных, явно не похожих на московские новостройки. В голове неясно промелькнули полузабытые имена, понятия и картинки из книжки по архитектуре. Вальтер Гропиус, Мис ван дер Роэ, Баухауз, конструктивизм, органическая архитектура. Мифы и абстракции…

Очередь двигалась удивительно быстро — и вот, гэдээровский пограничник покрутил в руках мой краснокожий советский внутренний паспорт (другого у меня не было) и влепил в него штемпель — «пересек границу с ФРГ» в графе — «служба в советской армии и флоте». Сердце у меня ёкнуло, я представил себе, что будет, если я покажу паспорт с такой печатью в военкомате… Толстый американский негр даже не посмотрел на мой документ с серпом и молотом, а, брезгливо поморщившись, махнул мне рукой — вали, мол — и отвернулся.

Так я очутился в настоящей заграница. Впервые в жизни. И побрел, как все — к Кудаму, или как объяснил идущий рядом соотечественник — «к церкви с оторванной башкой».

Там я понял, что скрывали мрачные восточные коммунисты за Берлинской Стеной…

Я видел в СССР различные толпы — праздную курортную толпу в Ялте, пялящуюся на белый пароход «Адмирал Нахимов». Видел толпу, бурлящую у входов в магазин «Детский мир» на Дзержинке, сдержанную толпу эстонцев на Ратушной площади в Таллине, слегка разнузданную толпу одесситов на Дерибасовской, особенно хорошо помню молчаливую толпу у входа в винный отдел ясеневского универсама во времена борьбы с алкоголизмом. Только тяжелые вздохи и угрюмое шарканье доносились от той кромешной толпы. Помню потные и злые толпы на станциях московского метро в часы пик, толпы уставших людей с сантиметровыми сугробами на шапках — в Беляево, на остановках автобусов.

Но никогда за все мои 34 года я никогда не видел такую живую, беззаботную и веселую толпу как тогда у Гедехнискирхе. Толпу европейцев. Новых для меня, пестрых людей. Независимых, свободных. Свободных от тоталитарного гнета советчины, от пионерии, комсомолии, от парткомов-месткомов, от первых отделов, от клятв у мавзолея, от борьбы за мир, от газеты Известия, от политбюро, от византийских похорон начальников, от коммунальных квартир, от хрущоб, от сталинского ампира, от Павки Корчагина и Павлика Морозова, от съездов КПСС, от линеек, построений, собраний, от общественной работы, от политинформаций, субботников, от поездок на картошку, от программы «Время», от кинофильма «Подвиг разведчика», от Сергея Михалкова, от ленинских уроков и от политэкономии социализма….

В первом же магазине электроники меня поразило обилие радио, магнитофонов, диктофонов, плееров… Продавец смеялся. С десятков экранов телевизоров экстатически смотрела в пространство коротко остриженная, похожая на печального мальчика, ирландская дива — Шинед О Коннор. Она пела свой первый хит — «Nothing compars 2U».

Ее холодные, красивые, почти кукольные глаза выражали полное безразличие к судьбе перестройки, СССР и всего прогрессивного человечества.

Я понял, что провел первую половину своей жизни в тяжком бессмысленном кошмаре и поклялся самому себе — я уеду оттуда, уеду навсегда.

РАЗГОВОР С СОСЕДЯМИ

Накануне праздника — двадцатилетия падения Берлинской Стены — спрашиваю соседку, бывшую журналистку, 72-летнюю Эльзу Кох: «Какие исторические дни вам больше всего запомнились?»

Я надеялся, что она расскажет о падении берлинской Стены и об объединении Германий.

— Исторические дни? Больше всего запомнилось 8 мая 1945-го. Закончилась война. Мы, дети и мама, остались живы. Но главное не в этом. В деревеньке нашей, куда мы от фронта убежали, сдохла последняя лошадь — и нам разрешили отрезать от нее немного мяса. Помню, стояла в очереди и думала — только бы не упасть. Упаду — не достанется нам мяса. Мать потом выдерет. Или с голоду умру…

— Ну и что же, довелось вам отведать конины?

— Достояла. Хороший кусок отрезала. Я была тогда крепкая. Да, половину мать сварила и маленькими кусочками нас несколько дней кормила. А вторую — завялила. Соль на табак выменяли. Мы сажали тогда табак.

— А что потом было? Тогда, в мае.

— Лучше не спрашивай. Нас грабили, били и насиловали и чехи, и поляки и русские. У матери дедушкины золотые часы отобрали. Но хоть картофель иногда нам давали. Проросший. Клубни почти пустые. Мы ели.

— А что вы почувствовали, когда узнали, что Стена упала? В ноябре 1989.

— Ничего я не почувствовала. У моего мужа мать умерла. Похороны были. А потом, мы же знали, что дальше будет, да, знали…

— Что же такого страшного случилось?

— Я работала тогда на телевидении. Через полгода после объединения — всех нас уволили. Все семь тысяч человек. Смешно, главные мерзавцы — все рано или поздно устроились, а хорошие люди так и остались безработными — до самой пенсии…

— Вы же на идеологическом фронте трудились — служили Хонеккеру и Стене, так сказать, идеологической подпоркой.

— Да, мы-то были подпоркой, а другие? Через два года после объединения почти все «оси» работу потеряли. Фабрики и институты позакрывали, профессоров и мастеров разогнали, оборудование и землю распродали, на все хлебные посты — нагнали своих с Запада. Третий гарнитур, а тут выпендриваются и нас жить учат. Даже рентабельные предприятия уничтожили. Это не объединение было, а завоевание… Откупились от русских, а тут все к рукам прибрали.

— Ради чего же тогда демонстрировали сотни тысяч людей в Лейпциге и Берлине?

— Поймите, мы хотели другой ГДР. Демократической, открытой, прогрессивной, без Стены, без политбюро, без ШТАЗИ. Ради этого люди демонстрировали. Люди хотели — другую страну. Прагматическую, без идеологии, пусть не богатую, но без безработицы, без кризисов и бездомных, экологически чистую и без этих… Из Баварии… Вы конечно не поверите, но мы в наш социализм верили…

— Таких стран не бывает. Или то, или сё… А что вы почувствовали тогда, 13 августа 1961, когда узнали, что ваши власти границу перекрыли и начали Стену строить?

— Что вы все про Стену, да про Стену… Нет больше Стены. Раздробили ее на камешки и продают теперь туристам в пластиковых коробочках. На некоторых камешках и капельки крови, небось, сохранились…

Что я тогда почувствовала? Мне, берлинке, было конечно больно. С другой стороны — я, как и все другие, понимала — дальше так нельзя. Почти все врачи и инженеры ушли. Работать было некому. Все дешевые товары раскупили. К парикмахеру сходить было нельзя — везде те, с Запада, сидели. Тогдашним ле-

том каждый день по полторы тысячи человек уходило. Закрывать надо было границу. Лучше Стена, чем еще раз такое. И еще — мне было стыдно, что от нас все бегут. Да я и сама не раз думала, не уйти ли…

— И почему же не ушли?

— Совесть надо иметь. Я тут и образование бесплатное получила и квартиру дешевую и работу. Мне мой диплом бы там не засчитали. Родители в Саксонии жили. Я их жалела. Уехать — значило бы их навсегда потерять.

— На празднование вечером девятого к Бранденбургским воротам поедете?

— Нет, зачем. Народу там будет — не продохнешь. Будут дешевые сосиски лопать, так, как будто их в первый раз увидели. Пиво пить. Музыка будет ужасная. Салют. Это развлечение для совсем уж безмозглых… Пусть резвятся.

…

На лестничной клетке встретил другого соседа, бывшего таксиста Юргена.

Юрген поглядел на мой блокнот и сказал: «Разговаривал с Эльзой? Пиши так — Юрген Кранц всем доволен. 9 ноября буду праздновать у Бранденбургских ворот. С женой и собакой. Политику христианских и свободных демократов — поддерживаю и одобряю…»

Потом задумался, посерьезнел и добавил горько: эта дерьмовая стена.

ПРИЛОЖЕНИЕ К КНИГЕ «РУССКОЕ ПОРНО»

НА СМЕРТЬ ВОЙНОВИЧА

28 июля 2018. Жарко в Берлине. Жарко и в Москве. Вчера умер Владимир Войнович. Ему было 85 лет. Светлая память!

Умер писатель — добрый старый друг. Нет, я знаком с Войновичем не был. Но его проза — проза доброго старого друга. Так же как рассказы Довлатова. Или «Москва — Петушки». Или романы Юрия Домбровского. Читая его изданные в самиздате вещи, можно было сладко посмеяться над нашей бредовой и подлой жизнью в Совдепии. Ощутить, что ты не один тут такой. Что есть друг, понимающий все не хуже твоего... и к тому же умеющий смеяться. И смешить. И как просто и ясно написано. Без придури. Без зауми.

«Иванькиада». Смешно и грустно. Войнович хочет квартиру хорошую.

«Шапка». Мне говорят — выкуси. Я и выкусываю.

«Москва 2042». Сардонически смешно. Отец Звездоний. Сим Симыч. Свинина вегетарианская «Прогресс». Продукт вторичный… Но тут уже что-то мешает. Это не только смешно, но и противно. Этот текст хочется после прочтения из себя вытошнить. А почему? Потому что невозможно долго жевать ядовитую чернуху, пусть и хорошо поперченную и посоленную талантливым автором. Какие бы фантастические конструкты ни строил Войнович в этом романе — все они как будто слеплены из продукта вторичного. И шутки, и характеры, и звездолет, и свинина вегетарианская и щи «лебедушка», и гандзя-рыбка. И сам текст. Гениалиссимус, Москореп, прекомпиты — какие гадкие слова! Не гадкие, гадостные.

«Чонкин» для меня — несмотря на капитана Милягу, Моисея Соломоновича Сталина, Плечевого и мерина Осоавиахима — ва-

риант «деревенской литературы». С чесноком и укропом. Я — не знаток советской деревни, но бывал… и не верю ни в такого Чонкина, ни в Нюру. Как не верю ни в Теркина, ни в Емелю Дурака, ни в Илью Муромца. Не верю… и не люблю эти лубочные представления… это литературное кликушество, терпеть не могу этих искусственных героев, матрешки и свистульки.

Вторую часть «Чонкина» читать трудно, несмотря на все удавшиеся ухищрения, третью — невозможно. Художественная неправда. Выросшая из семян художественной неправды первой части.

Невозможно читать и последнюю книгу Войновича — «Малиновый пеликан». Хотя и она хорошо сделана, и написана талантливо. Почему невозможно? Потому что не может советский бобик-попрыгун прыгнуть выше той отметки, что ему положена. Как ни изощряйся.

Советчина не может породить ничего кроме своего подобия, и мы, выходцы из этого поганого болота, не можем написать ничего, что бы ни было его производной. Даже самые талантливые из нас. Я не знаю ни одного исключения из этого правила.

Последняя книга Войновича — пережевывание старых, хорошо знакомых тем.

Надо уметь вовремя остановиться. Замолчать. Но этим искусством даже гении не владеют. Войнович не замолчал.

Жил в Германии хорошо, но, как только представилась возможность, — вернулся на родину, в СССР. Покинул свободную дорогу жизни ради того, чтобы потоптаться в родном тупике. Понежиться в лучах славы.

Я из СССР в 1990 году уехал, а он вернулся и прожил там еще почти тридцать лет. Получил в 2001 году Государственную премию. Вел себя позже безукоризненно, мужественно. Подписывал. Выступал. Осуждал. Упорно рисовал примитивные картинки маслом.

…

Главная мысль этого текста, или, точнее, главное сожаление — не о Войновиче... земля ему пухом…

Даже очень талантливый русский писатель не может преодолеть притяжение свинцовой родины — «взлететь» и стать писателем мировым. Вот что плохо. Его, как мотылька — свечка, притягивает родная жесть и он — даже не всегда это замечая — копается всю жизнь в родной песочнице. Большая жизнь проходит мимо.

До революции мировые писатели в России были, после — нет. И не появятся больше никогда.

«Мировой писатель» — не значит этакий адски сильный, великий, могучий (это все русские категории — обратные стороны комплексов поротого холопа)... мировой, это значит только, исследующий человека, жизнь и судьбу во всеоружии мировой культуры... а не только ковыряющий червивую почву своего этноса и вдохновляющийся ее миазмами.

НЕСКОЛЬКО ЗАПИСЕЙ

Литература для меня — не самоцель… это было бы слишком самонадеянно. После всех звезд, после галактик… космических гигантов… пытаться зажечь еще одну, тусклую, слабую звездочку… глупо даже.

Нет, литература, этот художественный эксперимент, закрепленный в тексте — для меня — способ познания, узнавания… мира, эпохи, прошлого, меня и моих современников, человека вообще.

Форма существования, форма жизни. Что-то вроде дрожжей.

* * *

Спасибо за то, что вы прочитали «Вторжение». Но эта небольшая вещь никак не соотносится с Чонкиным и не может быть с этим огромным текстом сравнима. Разные вещи... разные подходы к слову, к действию. И поверьте мне на слово — никогда никакой зависти к Войновичу я не испытывал — мы находимся в разных нишах... и по времени, и по возрасту, и по смыслу текстов, по их направлению и по задачам, которые ставили, и по художественным приемам... и не пересекаемся, разве что на одном языке пишем. Не конкурируют друг с другом розы и мимозы. И не завидуют друг другу.

* * *

Как известно, у искусства настоящей, не постановочной фотографии есть двое родителей — нищета и война. Только там, в окопах… и в среде бездомных, обездоленных, отчаявшихся, озверевших — можно сделать по-настоящему хорошее фото. И фотограф — должен иметь мужество окунуться в ужас жизни. Иначе — его фото будут попросту скучными.

С писательством — легче, но в принципе — также. Хочешь написать что-то стоящее — переживи это. Пожертвуй своим счастьем, здоровьем, судьбой…

Иначе проза будет пластмассовой. Неживой.

Достоевский должен был посидеть и пострадать в Мертвом доме, Толстой и Лермонтов — участвовали в Кавказских войнах, Булгаков — пережил Гражданскую в Киеве. Даже Пушкина тянуло на войну… а Чехова — на Сахалин.

Русский писатель боится покидать родину — не только из-за потери живого языка, он понимает, что, расставшись с ней и ее полубезумными обитателями, — потеряет соль писательства. Станет пресным и скучноватым — как например Довлатов в Америке.

Остается в России — и получает свой мученический венец.

Или — значительно чаще — становится подпевалой властей.

Печально и тривиально то, что весь этот цирк повторяется и повторяется заново «от Курбского до наших дней». Заезженная пластинка.

* * *

Я в Германии — вначале отказался от русского языка, решил его забыть. Около 10 лет его практически не использовал. Не интересовался русскими делами, на родину не ездил.

Потом начал писать эссе про искусство — на немецком. Разумеется, тексты мои правили друзья.

Затем осознал-таки, что на немецком пишу примитивно. Пришлось вспоминать русский.

Русскую прозу я начал писать в Германии только в 2004 году, на 14-м году эмиграции. От скуки, честно говоря. Жил тогда один в районе Тиргартен, все осточертело, видеть никого не хотел, начал кропать рассказики.

Если бы я стал писателем на родине, никогда бы не уехал. Ну разве что после тюремного срока — если бы новый срок грозил. Разве можно уезжать из Тулы любителю самоваров? Россия — полигон, остров доктора Моро. Интереснейшее место для исследователей всех видов человеческой деструкции… для ловцов жутких сюжетов.

Плохо только то, что Россия, как магнит, все равно перетянет любое малое зло на себя — и докажет, что она — зло куда более страшное и большее. Так она отнимает у русского писателя свободу творчества — ВЫДАВЛИВАЕТ нас и наши тексты — в форматы обличительной литературы. Закрывает пути для русского классического романа, русского психологического романа, русского детектива, триллера, хоррора, любовной истории…

Потому что на фоне РУССКОЙ ПРАВДЫ — все это будет выглядеть и выглядит как надуманное вранье или фантазерство. Даже Евгений Онегин.

* * *

Рассказ «Красная папка».

Это окончание цикла, который начался рассказом «Ужас на заброшенной фабрике». Некоторые тайны тут раскрываются — другие, наоборот окутываются непроницаемым туманом...

Этот цикл — попытка разговора об очень сложных вещах — веселым, легким и ироничным языком развлекательной литературы. Мистическое пространство с его обитателями тут — как и в других моих рассказах — только необходимое расширение, дополнение нашего обычного, скудного на чудеса мира. В его недрах разрешается то, что иначе, в реале, не может разрешиться.

* * *

Рассказ «История с самолетом».

Речь тут идет, как и во многих других моих текстах, о Лимбе. О том, как человек, не понимая этого, попадает в Лимб. Туда, где уже нет жизни, но еще нет смерти.

У Амброза Бирса есть рассказ, в котором герой — приговоренный к смерти и повешенный на мосту южанин — совершает

путешествие по Лимбу. Ему кажется, что он сорвался с петли и выплыл, спасся. И он идет домой. По безлюдному волшебному лесу. Несколько секунд, прошедших между его повешеньем и его смертью, растягиваются в часы. И вот... он уже видит свою любимую жену... бросается к ней, хочет прижать ее к груди. Но смерть вырывает его из фантомического мира.

Мой герой тоже против воли попадает в серединный потусторонний мир... Но его путешествие по нему продлится несколько дольше. Смерть не отпускает его, а является ему в различных масках... играет с ним.

* * *

Рассказ «Чемодан».

В этом тексте воспроизведен еще один вариант постапокалипсиса — мягкий. Может быть потому, что тут описан не «закат Европы», а всего лишь закат лирического героя... и все ужасы мира внешнего — возможно — только проекции его страхов.

В результате используемый в качестве мишени, поставлен-ный на попа, чемодан, превращается в зловещую дверь, в ворота в ад. Из-за которых доносятся проклятия исступленных демонов.

Или это стоны совести, сожаления о неправильно прожитой жизни? Или эхо того, последнего ужаса... разрыва пространства... и остановки времени.

* * *

Рассказ «Крысолов».

В этом тексте я наконец решился описать то, что много раз видел в страшных дневных видениях (например на лекции по матанализу в большой аудитории на 16-м этаже МГУ) и кошмарных снах — гигантское поле грязи и пепла. Руины, руины, руины, зловещие овраги, холмы из мусора. И крысы. То, что осталось от моего любимого города после тотального уничтожения русской цивилизации.

Или то, во что она сама себя превратила.

Из текста не ясно, что или кто уничтожил Москву, американские ракеты, оружие инопланетян или гнев божий. Не до конца ясно и — физическое ли это уничтожение или метафизическое.

Для того, чтобы читатель поверил в шестиногих крыс — пришлось вначале потыкать его носом в снег и уличную берлинскую грязь и поучить находить на земле ценные предметы.

Находка перстня с Всевидящим оком и цифрой 2020 — не выдумка. Могу показать.

* * *

Рассказ «Коломбо».

Это криминальная история о художнике, преследуемом за преступление, которое он (вроде бы) не совершал. Основана на реальных событиях, мелкие подробности которых мне пришлось изменить.

Я был лично знаком со всеми действующими лицами этого рассказа и ручаюсь в достоверности характеров.

Самая главная тайна рассказа заключается однако не в том, виновен или не виновен ли задержанный художник, а в ответе на вопросы:

Как саксонский художник попал на Занзибар?

Как звали рогатую ведьму?

Выжила ли собачонка после удара об стену?

Кто испытал космический оргазм?

Какой камень добывали на Лисьей горе?

Разбудил ли неонацистов визг Хайди?

Кто заплатил гонорар адвокату?

Почему носороги не упали?

Почему девочка в синицу превратилась?

Была ли у араба борода?

* * *

О Сатириконе. В этой книге — и только в этой книге — люди показаны правдиво. Без приукрашивания и бесконечного вранья. Какие-то юноши — кочуют, ни черта не делают, воруют, едят, совокупляются… Готовы и на убийство, но трусливы… И в то же время — по-своему очаровательны. Это мы — без лицемерия и притворства омертвелой цивилизации.

Всю жизнь чувствую себя на пиру Трималхиона. И в лупанаре — каким его показал Феллини в одноименном фильме.

* * *

Записал рассказ: «Мальчик, который был чайником».

Текст этот модераторы ПРОЗЫ РУ удалили со своего портала, потому что «Публикация нарушает законы Российской Федерации». Это конечно дикая фантазия и наглый бред.

Этот текст — не порнографическая фотография и не фильм... скорее рисунок на греческой вазе. Формально — пародия на Лолиту (Аллита — Лолита). Адаптация в другую реальность. Парафраз.

Эротическое, явное или неявное приключение моего лирического героя в этом тексте — не есть цель и предмет смакования, а только ворота, открывающие ему путь в мир метафизического ужаса, мир реальных потерь и страшных откровений. О жизни и о самом себе.

* * *

Рассказ «На даче».

Действие рассказа, как это часто бывает — переносится из современности в прошлое. Коньком-горбунком в данном случае поработал пневматический пистолет.

Лирический герой вспоминает юность... лежа в ванне. Не торопясь... Восстанавливает в памяти встречу с одной очаровательной грузинкой, произошедшую на подмосковной даче для начальства. Диалог. Танец. Холодное объятье.

И еще тут — «их поганые рожи», смерть одного из «номенклатурных хряков», предродовой декаданс наступающей эпохи нового русского капитализма с нечеловеческим лицом.

Было ли все это на самом деле? Или то, что происходит в этом в тексте — не более чем эротическая пена, похожая на пену от жидкого мыла? Надо будет спросить моего героя... при оказии. Только вряд ли он ответит — скрытен ужасно. А если разбалтывается, то врет как сивый мерин.

Первоначально я хотел назвать этот рассказ «Убийство вороны».

* * *

Записал рассказ «Гость из России».

К сожалению — запись далеко не идеальна. Технически и... и не только. Голос глухой, шум машин за окном, оговорки, случайные повторы, невнятности, возрастная усталость... хриплое безумие эмигрантской жизни — все дает себя знать. Но кое-какое представление о моем понимании этого печального текста — дает и эта несовершенная запись. Спасибо и на том.

Кое-что, однако, прозвучало правильно. Рассказчик и его герой постоянно недоговаривают... как бы отстают от потока времени. Уже начали отставать. И попадают во власть химер, хищно преследующих отстающих.

* * *

Все-таки не смог Б. не укусить вас за Эренбурга... Могу точно сформулировать — почему старые евреи обожают воспоминания Эренбурга.

Потому что эта опиумная настойка позволяет им самим — обманывать себя. Воображать, что их собственная советская жизнь — была чем-то не таким уж и плохим. Не таким уж подлым и жалким, не таким уж преступным.

* * *

Писатель пишет — в спиритическом контакте с читателем. У нас, русских зарубежных писателей, — хотим мы это или не хотим — этот контакт нарушен. Психологически мы похожи на сыр с дырками. Точнее, на дырки без сыра. В этом есть конечно и что-то хорошее... мы против нашей воли — устанавливаем связь — с высшими и низшими мирами.

В результате — наши герои легче себя чувствуют на сапфировых улицах Небесного Иерусалима или в аду Босха (и то и другое в моих текстах ловко замаскировано, но уши торчат), чем на улице европейского или американского города.

* * *

Меня судьба закинула как камень — в Саксонию. В сентябре 1990 года. Свои первые годы в эмиграции я провел в Дрездене и Кемнице. 13 лет в бывшей ГДР!

Жадно изучал старое европейское искусство — истоптал Дрезденскую галерею и берлинские музеи. Облазил все саксонские готические соборы и замки, которых там довольно много. Часто путешествовал... доезжал и до Веймара и до Кёльна и до Вюрцбурга (где хранятся скульптуры Тильмана Рименшнайдера) и Нюрнберга (туда часто ездил, когда писал о Дюрере), до Кронаха (родины Кранаха), Регенсбурга, Мюнхена (Старая пинакотека) и Вены (пиршество для любителя искусства). Побывал конечно и в Страсбурге с однорогим собором и в Колмаре (где Изенхаймский алтарь Грюневальда). Был и в Париже и в Риме и в Мадриде (на огромной выставке Босха), в старых городах Бельгии и Голландии, не брезговал и прекрасной Прагой и богемской провинцией (вот где замки, так замки). Фотографировал в Иерусалиме и Стамбуле, заезжал и в Нью-Йорк и в Сан Франциско. Побывал несколько раз на Аляске (в этом холодном раю).

В жутком индустриальном Кемнице вступил в Союз художников Саксонии, рисовал, показывал выставки графики и фотографии. Подружился со многими саксонскими художниками и с очаровательными немецкими женщинами. Написал три дюжины статей о русском и немецком искусстве. Публиковал их на немецком (помогали переводчики). Работал на четырех работах — один раз даже три года подряд (галеристом). Продавал свои картины. На жизнь хватало. На путешествия — нет, но я все равно путешествовал.

В 2003 году переехал в Берлин, в город черной меланхолии, город дадаистов и русской эмиграции двадцатых годов.

В Берлине не достиг ничего... но, честно говоря, особо и не пытался. Начал писать по-русски. Увлекся.

Ни разу... ни разу... мне в голову не приходило вернуться в Москву.

Я благодарен Германии за то, что позволила — многое увидеть, изучить, почувствовать, пережить. Нарисовать. И написать. В Германии у меня родилась моя вторая доченька — останься я в России — вместо ребенка был бы аборт. То же самое я могу сказать об очень многом.

* * *

Вы литературоцентричный человек. Любите певучести-щебеты. И — щербет словесности…

А я уже давно люблю только то, что прячется за словесным фасадом — за лбами страниц, за упрямыми лбами, исписанными татуировкой. САМ текст — может быть и не таким проникновенным, как например у Цветаевой... Бог с ним, с текстом... но если он открывает как заклинание особую дверку... только тогда мне интересно... посмотреть и послушать то, что там, ЗА страницей.

* * *

Поэт пишет — от себя. Расширяет свое я. Усложняет и ухищряет. Распространяет. И вечно смотрится в зеркало. Профессиональный нарцисс. Его душа-луна, его чувства размером с кометы, его осточертевшие всем любови и потери, его я-солнце. А прозаик — только и делает, что пишет от лица других людей. Гонит свою полифонию. Даже в небольшом тексте. От других... Когда начинает говорить от себя — тут же становится назидательным, тягостным.

Поэтому поэтам трудно читать чужую прозу. Их вечно хандрящему, уязвленному «я» нет там места.

А большую прозу читать трудно всем. Сколько суток можно выдержать рабство в лапах мнословного садиста-автора?

* * *

Да и не важно все это. Сколько кило букв. Важно, куда ведут наши тексты, какие двери открывают. То, самое главное, не написанное, не исписанное, мистическое, мистериальное пространство, которого мы и не касаемся, действие, которое не понимаем, но ради которого и стараемся... то, что за точкой... откуда возврата нет.

Прочитал Ваш текст, в котором Вы танцуете вместе с Цветаевой какой-то нескончаемый гопак... в который затягиваете и тяжеловесного Волошина и неприятного Эфрона... Цитаты Марины Ивановны жгли, разумеется. Так и пышет инфернальное пла-

мя. Поэтому — уже много лет не могу прочитать ни одного ее стихотворения до конца. И чем злее огонь — тем яснее, что что-то природа ей не додала. Или передала. И получился странный перекос. Такой талант-колосс, такой ум... и такая редкая дура... все в одном флаконе. Как она, бедняжка, до 48 дотянула — загадка.

Написал слово «дура» — и оно тут же пихнуло меня в бок своим дельфиньим рылом. А ну ка докажи, разъясни... что имеешь в виду, когда так называешь первого русского поэта. Слабо?

Стал перебирать. Полюбила будущего убийцу... отдала ребенка на верную смерть в приют... и еще и еще... вернулась с сыном в сталинскую Россию. Что может быть глупее?.

Нет... дура — потому что воспринимала эту жизнь, это наше существование... — слишком серьезно, слишком чувственно, слишком возвышенно, так и не нашла необходимую дистанцию... терлась обо все воспаленной маткой.

* * *

Лучшую русскую прозу — кристальную — написали поэты — Пушкин — Капитанскую дочку, Лермонтов — Тамань, Анненский — Книгу отражений, Бунин — Темные аллеи, Сологуб — Мелкого беса, Хармс — Старуху, Мандельштам — Четвертую прозу, Шаламов — Колымские рассказы. Почти все ядреные прозаики — в своей прозе несут что-то ядовитое. Гоголь, Достоевский, Чехов, Лесков, Платонов... даже Толстой.

* * *

При чтении моих рассказов прошу не забывать — все они выдумка. Развлечение. Не больше.

Даже написанные от первого лица тексты — не отражают мои собственные воззрения, мысли, желания... они отражают воззрения, мысли и желания — фиктивного автора, одного из литературных героев. А последовательность, логика, структура повествования — суть последовательность, логика и структура художественного произведения, вымысла, но ни в коем случае не так называемой реальной жизни.

Многое тут — как во сне — наоборот.

Мир литературы — не только «отраженный», «удвоенный», «уплотненный» и «перевернутый», но и «мир, вывернутый наизнанку»...

А кошмары, монстры, садизм, даже эротика — часто не более, чем развернутые метафоры. А сюжеты — метафоры свернутые.

И главное не то и не се, а легкий осадок на дне метафизического бытия.

Единственный оставленный нами след.

* * *

Взял с полки одну из маленьких книжек Маканина — «Сюр». Прочитал 20 страниц. Заставил себя прочитать... потому что скучно.

Периоды в прозе — должны не терять этот самый хичкоковский саспенс. Период нельзя тянуть «просто так». Он должен закончиться — как в киномонтаже — как только сценка перестает увеличивать саспенс. Следующий период, следующая сценка может начать тянуть другую линию, чтобы потом в контрапункте переплестись с предыдущей темой, только в этом случае разрешено снизить уровень саспенса. Временно. Чтобы потом его удесятерить.

А у Маканина — нет саспенса, нет напряженности, а есть какая-то обреченная заживо-протухшесть... усталая, добровольная тягомотина. Маканин писатель читабельный, но не долго читабельный.

Жалко конечно, что помер.

* * *

Русская литература существовала всего 100 лет. Потом на ее смену пришла советская туфта. А эти первые 100 лет — были подражанием, заимствованием, нередко на лубковом (лобковом) уровне. Освоение западных тем, методов, форматов — на русском материале, на русском языке.

Русских писателей всегда — тематически, стилистически — угнетала нависающая над всеми ними планета — Россия. И ее власть. Выйти из ее притяжения — невозможно...

Вся русская литература, культура вообще — на фоне европейской и американской — только возомнивший о себе, обиженный лилипут. Но если это осознать и писать честно, то и лилипут может написать что-то стоящее.

Не одурманивай себя большой формой, друг, — роман может быть большой, но водянистый, графоманский. Тема должна выбирать себе форму сама.

Иногда небольшое произведение — например Чехова — или совсем небольшой отрывочек Хармса — важнее и дороже большой, многозначительной, но пустой и вздорной книги.

Да и «большой интересный сюжет» — далеко не всегда гарантия хорошего романа. Например в моем любимом Гаргантюа и Пантагрюэле или в еще более любимом Тристраме Шенди Стерна — сюжета практически нет.

* * *

Жалко, что умер Баталов. Жалко всех вообще людей. Еще жальче людей, для которых Баталов — великий актер. Для меня Баталов — воплощение слюнявого, лицемерного, облитого маслом фальшивой театральщины... псевдомелодрамы... советского интеллигента-конформиста. Также, как и копошащиеся, действительно, на разных кругах ада — Табаковы, Калягины, Лановые, Смоктуновские, Райкины, Александровы-Колмогоровы и другие Эдиты-Пьехи. Имя им легион.

* * *

Многие читатели не поняли конец рассказа «Облако Оорта».

Разгадка тайны вот в чем: главный герой узнает себя в палаче, терзавшем девушку. Он — его реинкарнация, потому-то ему и привиделось все это... вроде воспоминания о прошлой жизни.

* * *

Обычно мои довольно невинные сексуальные эскапады в тексте — воспринимаются публикой плохо. У некоторых даже

вызывают ярость. Происходит это из-за советских комплексов. Мы, бывшие совчелы и постсовки — даже представить себе не можем, как искажен, искривлен, обезображен и обеднен наш интимный мир.

А царящий сейчас — гнилой блуд — это не освобождение, а черная реакция на столетия лицемерия, угнетения и подлости.

* * *

Деструкция растет вместе с конструкцией. И опережает ее. Хаос уничтожает знание быстрее, чем оно успевает распространиться. Во всех этих новых электронных игрушках — нет новых идей. Уже давно нет. Ученые не понимают друг друга. Смартфоны — не порождают новых сущностей. Мир залит враньем и гноем интернета.

* * *

Со смерти Босха прошло 500 лет. Так давно его нет, а его искусство как бы не отдаляется от нас, что было бы нормально, а наоборот, зловеще к нам приближается.

«На родине Босха» — это путевые заметки, наблюдения, размышления. Я рассказываю о своем паломничестве в город Босха — Хертогенбос. О выставке. О соборе. О доме, где Босх работал.

Да, кажется, я больше рассказываю о себе, чем о Босхе. Это мой метод познания — искать Босха не вне, а внутри себя, внутри судьбы.

Абсурд, конечно, но в той или иной степени так поступают все. На каком-то уровне — мы все одно. Только там и возможна «встреча».

* * *

«Лаборатория». Это легкий, прозрачный текст. Почти что сон наяву.

Воспоминание трансформируется в нем в видение будущего. Домашняя, доступная каждому мистика.

Написал я рассказ ночью, ровно за час, между двумя и тремя часами, так получилось случайно. Потом только поправил немного, не хотел менять канву, сюжет... потому что для меня — и уже давно — не интересен текст, который автор мурыжит и переделывает месяцами или годами. Мне интересен результат эксперимента... плод спонтанной импровизации... что-то вроде дзен-буддистского озарения.

Потому что такой плод — свеж. Даже если текст написан на уже не раз пережеванном материале. Все равно он — сюрприз для автора.

* * *

Прочитал рассказ «Ночь в квартире мертвого человека». Это не вегетарианский текст.

Хотел написать о прострации, в которую погрузились сейчас слишком многие. И о непохороненных мертвецах — сталинизме, фашизме — которые вот-вот окончательно оживут — и в обществе и в душах. О тягостном ожидании новой мировой бойни. Но темы эти слишком широкие, абстрактные... поэтому написал о поиске новой квартиры... вспомнил о жутковатом реальном происшествии, которого не было.

Свалить зло на других — постеснялся, поэтому свалил зло на моего лирического героя. Он выдюжит.

* * *

Записал рассказ «Глюк».

Голос во время записи у меня спорадически менялся. От петухов до баритона. И громкость как-то странно плавала. Почему — не знаю. Возможно потому, что и смысл и стиль этого рассказа — тоже плавающие.

Место иронии то и дело занимает патетика... патетику вытесняет старческий сарказм... который, испугавшись самого себя, уступает место простому реализму, маскирующемуся под реализм магический, который в свою очередь, устыдившись чего-то, поспешно покидает текст, и его место занимает пестрая комбинация стилей и темпераментов — психоделическая белиберда, салат, который конечно и является главным содержанием этого текста.

Формально же — этот текст — еще один, прикрывающийся историей друга и его хобби, рассказ об отступлении уставшего человека. Отступлении перед неудержимо наступающей армией потустороннего.

* * *

Прочитал рассказ «Помолвка» перед видеокамерой.

К сожалению — не последний вариант. Последний вариант всегда висит в небе, не существует. После прочтения исправил несколько очевидных ошибок, кое-где кое-что выкинул и дописал. Настоятельно рекомендую — особенно непрофессиональным писателям (профессиональные писатели безнадежны, как профессиональные жрицы любви) — читать вслух перед камерой свои произведения. Помогает понять, что ты собственно написал... поправить...

О чем же этот рассказ?

Каждый читатель понимает любой текст по-своему. Но и я, после окончания правки, тоже читатель и имею право на собственную интерпретацию.

Полагаю, этот рассказ о страхе. Об экзистенциальном страхе. О главном чувстве современного человека. О все крепнущей уверенности индивида в том, что в мире все пошло как-то не так, как надо. И не только в мире, но и в стране, в городе, в семье, в нем самом. О предчувствии катастрофы. Мировой и индивидуальной.

Бытие главного героя — треснуло и расслоилось. Он потерял себя и стал странником. И с тех пор путешествует по абсурдным мирам. Против воли становится участником зловещих событий...

Неожиданно для самого себя попадает на помолвку с Азалией. В первом варианте текста я назвал ее цыганкой, но потом решил, что это — слишком прямая характеристика, и выкинул это слово.

Ясно, что эта девушка с несносной родней, вся эта кошмарная помолвка с ее гостями, с чудовищем на потолке, с каменоломней в отеле, для Гарри — вовсе не исполнение желаний, а очередное испытание. Еще один этап долгого и тяжкого пути в небытие.

И неожиданное совокупление с Азалией на ресторанном столе, превращенном в брачное ложе, — удовлетворяет его физическое желание, но не приносит ему ни счастья, ни экзистенциального облегчения. Азалия — как паучья самка — убивает его после любви.

После такой «помолвки с смертью» Гарри приходит в себя — в Париже, но не в Париже Пикассо и Шагала, а в далеком 1572 году, в канун дня святого Варфоломея. Оказывается, он там палач.

Никакой морали в этом рассказе нет. Как нет ее и в других моих рассказах. Главный герой не претендует на сочувствие, он неприятен самому себе.

Свое выморочное существование он справедливо не считает жизнью, но щедро делится с нами его подробностями. Зачем?

Потому что относительно нас у него есть свои планы. Все мои попытки выпытать у него, что же он задумал, окончились безрезультатно.

Не хватает только, чтобы он опять заявился, собственной персоной, в Берлин, и начал тут выкидывать свои фортеля. Например — мстить Азалии и искать потерянный сапфир.

В следующем рассказе упрошу монсеньора послать его на Марс, в тюрьму 22-го века. Пусть поостынет.

* * *

Прочитал перед микрофоном рассказ с веселым названием «Чаттануга». Да, да, это та самая песня из «Серенады солнечной долины». Но рассказ получился вовсе не веселым. Сам не знаю, зачем я его написал. Но хорошо знаю, для чего я его НЕ писал.

Я не писал его для решения или разрешения каких-либо этических, эстетических, художественных, мировоззренческих или религиозных задач или проблем.

Я не писал его для того, чтобы экспрессивно описать переживания стареющего героя, готового, как вы можете убедиться, запаниковать или взбеситься, или даже наложить на себя руки.

Я не писал этот текст для того, чтобы вызвать к самому себе жалость или более лестные для моего самолюбия чувства. Мог бы придумать что-нибудь и посильнее.

Я не собирался сравнивать современный Берлин и бузумную фантазию фюрера и Альберта Шпеера.

Я не хотел упоминать газовую камеру.

Я терпеть не могу паровозы.

Ненавижу бальные платья.

Также, как и мой герой — не выношу рекламу...

У меня все более отчетливо... складывается впечатление, хм-хм... что мой герой воспользовался моим хорошим к нему отношением — и потихоньку продиктовал мне свой собственный рассказ. Нашептал. Подсунул. И был таков. Братья и сестры писатели, прошу вас, если он случайно вынырнет в вашем тексте... за ухо его и ко мне, на расправу. Можете прищепить его к электронному письму. Буду весьма и весьма благодарен.

Безобразие какое! И намеки какие делает, подлец! Изверг рода человеческого... желтые перцы ему подавай! На хлеб и воду посажу гада. А насчет самоката — надо подумать... Идея конструктивная. Обсудим на педсовете.

* * *

Иногда художник, таинственный отшельник, ставит литературу выше жизни, мелодию и оркестровку речи — выше сюжета.

Повторюсь. Обычная жизнь — эта карточная шестерка — бьет всех литературных тузов. Она богаче и интереснее любой литературы, лирики, фантазии, любых «словесных энергетических конгломератов». Потому писать надо «на уровне автобуса» или как Венечка — электрички... Полезешь выше — достигнешь, конечно, если сможешь, верхних этажей — а там вместо олимпов, вальгалл и других чудес — пустота и духота. То же можно сказать и о погружении во всевозможные глубины.

* * *

Нобелевская речь Бродского. Перечитал еще раз. Какой ум! И какое чудовищное позерство! Видимо, одно без другого невозможно.

ДОРОГАЯ БУКВА Ю

(письмо читательнице)

Дорогая буква Ю, жалко, что рассказы Вам не понравились.

Впрочем, о «понравились» разумеется не могло быть и речи. Ведь и «Русалка» и «Абсент» и «Под юбкой у фрейлины» — это собственно не «рассказы», не «произведения». Это каскадные водяные спуски… в небытие. Как может подобное понравиться? Тут в пору, взявшись за руки, бежать в другую сторону… что читатели и делают.

И видят, как автор спускается… и пропадает в тумане.

Кстати, геморрой в «Русалке» — как пропеллер у Карлсона. Метафора.

Эти тексты — не литература, а гибель… путь, путь вниз… описанный не без кокетства — но не с читателем кокетничает мой герой, а со смертью… в тайной надежде ее смягчить… задобрить… обмануть… и все-таки пробиться назад, к жизни…

Понимаете, мои тексты — не самоцель, это я давно похерил.

Они только «протоколы»…

Раньше они были протоколами — восторгов, экстазов и ужасов ушедшей эпохи… а нынче — ухода из всех эпох. Моя поэма конца.

Да, я жив еще… и все еще провожу мой жизненный эксперимент… пишу — устраиваю сеансы погружения в камере сенсорной депривации… в надежде ощутить напоследок еще раз вкус жизни, поймать грубым моим сачком энтелехию-бабочку, увидеть невидимое… да, увы, я, пусть и исковерканный советчиной, но «фаустовский» человек. В отпущенные мне последние годы все еще гоняюсь за прекрасной Еленой. Но уже не по московским или берлинским улицам, а по улицам ирреального города-кошмара.

…

То, что я последние годы ищу в своих текстах-лабиринтах, не рационально, не реально. Разумное, правильное, естествен-

ное — мир Льва Толстого — мне давно надоел, даже опротивел. Мне не интересна и достоевщина — и мое… и коллективное бессознательное.

Задачей моего эксперимента не является создание крепкого, плотного, бодрого, экспрессивного текста с красочными метафорами, лихо закрученным сюжетом, соколиным поворотом и апофеозом…

НЕТ, пусть это будет гримаса капризного существования-однодневки… дуновение нездешнего ветерка…

Заканчиваю сеанс, как китайское гадание — и сам с любопытством смотрю на его результаты.

Что получилось, то и получилось… я никогда не переписываю текст, только поправляю лексику… эксперимент есть эксперимент, а не подгонка под что-то… любимое литературными критиками.

Мне достаточно, если в тексте хоть раз появился или проявился — иногда в самом незначительном, даже «провисающем» абзаце — новый оттенок смысла или чувства…

Показался на горизонте — необитаемый островок…

Фата-моргана…

«Прямого пути» к этому, непонятному, но влекущему нечто, нет. Пробраться туда можно только по шатающемуся мостику над бездной.

…

Мне больше не хочется противостоять нашему главному чудовищу-минотавру — России. Черт бы ее побрал. Черт бы побрал и ее обитателей. Простите!

Я никогда не любил дачу… садоводство… а теперь сам занялся разведением экзотических растений… в метафизическом саду.

Зародившаяся в недрах московского метро клаустрофобия завладела мной безраздельно. Я часто испытываю угнетенное состояние и приступы панического страха. Испортил отношения с реальностью. И почти со всеми, кого знал…

Мои опыты — единственное, что еще меня поддерживает.

Публикую их только для того, чтобы окончательно не заблудиться в самом себе.

Иногда вылезаю на Грани — затем же. Но нет сил разбираться в деталях, а сыпящиеся на меня со всех сторон оскорбления — как шпицрутены — стало трудно терпеть. Самоутверждающиеся идиоты — хуже камней в почках.

Ну вот, получилось, что я жалуюсь… а хотел написать о своем «творчестве».

Не забывайте, и жалоба и агрессия автора, его экстазы и его страхи и ужасы — это всего лишь художественные приемы.

Обнимаю вас сердечно.

ИШ

ШЕСТЬ ПОСЛАНИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

1

После полета хожу весь день дурной, между сном и явью. О Калифорнии рассказывать еще труднее, чем фотографировать океан. Две недели жил в «Морском Ранчо» — это такая на десять миль растянувшаяся коммуна богатых людей. Деревянные виллы на берегу океана или в секвойном лесу. Утопия социальная и географическая, прохладная. Температура не поднимается даже летом выше 17 градусов. Дожди, туманы. На другой стороне огромной чашки с водой — Япония, Китай и Россия.

Синий океан, пестрые цветы на склоне, обрывы, черные гранитные скалы. Ветер. Очень поэтичное место. Прогулки вдоль берега располагают к размышлениям. Думаешь, думаешь...

О беспредельности, не о беспределе.

О равнодушии природы к человеку.

О единственном нашем даре — милосердии (во всем остальном так дальше крабов и не пошли).

Потом жил три дня в Сан-Франциско.

Красивый город на холмах, только я уже староват и для красот и для холмов. Ходишь как вошь по верблюду — вверх-вниз. Не то, чтобы не понравилось. Просто меня больше интересуют люди, чем мосты, музеи или архитектура. А гигантские здания банков приводят в ярость.

Людей я видел только двух типов — туристов и бомжей. От тех и от других тошнило, потому что в них узнавал себя. Давал бомжам доллар и просил показать настоящий «американ смайл». Понимали. Показывали.

Ночью Сан-Франциско это нечто. Тут темпераменты не европейские, фантомы иной природы. Бразилия? Африка? Пляшущие и поющие динозавры-негативчики, нанюхавшиеся кокаина, наглотавшиеся экстази... Могут и башку разбить, если под копыта попадешь.

Потом улетел во Франкфурт. По дороге проклинал себя, самолеты и особенно салат из креветок, которым зло объелся, несмотря на вегетарианство.

Я старше вас. Мне тысячу лет. Лет семь назад я перестал жить. Но плотояден, распутен и неприятно толст. Для вас не опасен. Типичен. Вы таких и в Иерусалиме и в Одессе видели не раз.

— Подсказать я вам ничего не могу — сам не знаю ни черта. Я не писатель и не провидец. Пишу от нечего делать. Рад, что к вам приходят мужчины и деньги. Ко мне не приходят ни те ни другие. А события и тем более — прекрасные остались в другой жизни. Рад, если голова не болит.

Можете ли вы прислать по электронной почте фотографию? Было бы интересно посмотреть на вас. Моя небритая физиономия смотрит с первой страницы интернетной страницы.

2

У вас хорошо работает интуиция — я действительно болен. Глаза воспалились. Как будто два красных плавящихся моста кто-то вставил в череп. Был сегодня у врача, торчал в приемной часа полтора. Пациенты напоминали оркестр, готовый к концерту, но почему-то так и не начавший музицировать. Сидели, вздыхали, взъерошивали волосы, кряхтели, вставали, уходили, приходили, рассуждали о ценах, о глаукоме, опять вздыхали. Всех куда-то вызывали, всем что-то мерили, просили посидеть, потом опять вызывали, выдавали какие-то бумажки, кое-кто получал очки, кого-то отправляли в высшую инстанцию — к доктору. В голосе медсестры слышалось благоговение... Наконец и меня позвали. Доктор оказался очень маленьким, породистым, умным и красивым. Лазил мне в глаза оптическим аппаратом, все сразу понял, утешал, одобрял, обещал.

Пой, пой, красавец, — думал я, — пой что хочешь, можешь и станцевать, только помоги, без глаз я крот. Крот с окровавленными мостами в глазах.

Выписал антибиотик.

Вышел от врача. Пошел к оптику. Оптик мой похож на ученого осьминога. Его глаза сверкают как изумруды. Предлагая товар, обвивается вокруг шеи щупальцами и засасывает.

Мои глаза пылали как фары. Чтобы их потушить, купил черные очки. 120 евро. Идиот. Идиот в квадрате — заказал новые очки для компьютера. Еще 200. Оптик радостно суетился, встал на руки и прыгал.

Притащился в квартиру подруги. Укатила на дачу.

Сегодня ночью мы поссорились. После моего оргазма. Она сказала мне, что я эгоист, что она не намерена терпеть. И свалила. А я весь день решал, не перетащить ли мои пожитки ко мне (я снимаю маленькую квартиренку). Но так и не решился. Мой эгоизм отступает перед ленью.

Два слова о моих фотографиях. Полуголая женщина — это моя подруга. Мужчина на фоне магазина — ее брат, писатель и тромбонист. Старушка — это ее 96-летняя мама, года два назад умершая. Старик — бывший солдат вермахта, написавший мемуары, которые никто не хотел публиковать, потому что в них описывалось, как немцы расстреливали собственных раненых солдат при отступлении из Украины. Молодой человек в очках — программист. Уехал в Испанию и остался там жить. Сошел с ума. Пишет старым друзьям имейлы, в которых грозит разрезать их на двести пятьдесят шесть частей. Почти все остальные мужчины — саксонские художники. Коза, лошадь, деревья, дома, прохожие, Эльба в черном Дрездене, испепеляющий полдень в Плауне, все дрожит в мистическим экстазе существования, смертной радости бытия...

Ненавижу дизайн. Не умею его делать. Это и по безобразному оформлению моей книжонки чувствуется. Хотел ее издать как записки. Всего я издал девять подобных опусов. Безумное тщеславие. Но и это прошло.

Слышу взрывы — это палят берлинцы. Празднуют футбольную победу над бедной Коста Рикой. Погодите радоваться, роботы-бомбовозы! Вынесут вашу команду славные и легкие французские или бразильские ребята.

Обнимаю вас как кота в мешке, пользуясь безнаказанностью слов и снов.

3

Спасибо за фотографии, любезная Солоха. Не обижайтесь, я в час волка становлюсь грубым.

Странное ощущение — наткнуться на следы еще одной непрожитой жизни. Как на иголку в клубке.

Я пишу не о вашей, а о моей несостоявшейся жизни, которая вся, как кино, промелькнула у меня перед глазами. Дон Жуану было, как известно из текста Пушкина, достаточно одной узкой пяточки, чтобы представить себе всю женщину, — от гребенок до ног, а мне достаточно увидеть ваше прекрасно развитое ушко. Не говоря обо всем остальном.

Вот бегут по пляжу четверо веселых курчавых жиденят, я стою в просторной льняной рубахе, в шортах, у меня порыжевшая борода, на лысине вязаная кипа. У вас оранжевая ленточка в волосах, глаза — то черные как ночь в Гефсимании, то синие как армянская черепица. На ваших губах морская средиземноморская соль.

Мы едим крупный черный виноград. Снимаем с ягоды кожу, а потом кладем под язык. И целуемся с ягодами во рту.

Простите... Берлинская ночь сера, одинока. Отчаянье подкатывает к горлу и застревает в нем. Потом опускается в живот. Там и остается, сосет червем, не уходит... Трудно перегнать этот яд во что-то путное. А другого пути нет. Ну разве что, съесть что-нибудь. Вот я и ем.

Чужая жизнь, чужая женщина. Скорее всего — твоя же дальняя родственница. Очень похожи. Не может быть, чтобы никто из моих предков-рабиновичей не был ее прапрадедом или внучатым дядей.

4

Неудавшийся фотограф, никому не нужный писатель, доморощенный интерпретатор Дюрера приветствует вас, королева лесов, подрядчиков и стройматериалов!

Постройте леса вокруг моего черепа, отремонтируйте мою душу, найдите субподрядчика для моих силлогизмов! Вы короле-

ва, жена короля. Маленького немецкого короля строительных лесов из чудесного пригорода Нюркиной горы. Из долины Ангела. Где семьсот лет назад невесты Христовы лицезрели в мистическом озарении его светящиеся стопы...

Кажется, ваш король не голый.

Надеюсь, он выпускает вас из своего королевства хотя бы иногда одну. Или вы, милая Суламита — наложница, содержитесь на коротком поводке в обмен на жизненные блага? Или делаете глиняные кирпичи для фараона, как наши предки в египетском плену?

Ах мерзавец, — подумала она, — мы еще и не знакомы, а он уже ревнует, в душу лезет, вопросами мучает. И в постель со мной хочет. Вот так всегда с нашими. Скажешь пару теплых слов, а он пристанет, как банный лист. Не надо было ему адрес давать... Испоганит все, прилипнет, не отвяжешься... И что я, дура, ему еще писала, сама напросилась, комплиментов на его писанину понавешала... А он уже и про мужа все знает. Бедный мой Гюнтер. Честный, красивый. И что мне не сидится. Захотела на свою задницу приключений! Опасно! Да и толку чуть. Будь прокляты эти русские, эти художники-дармоеды, эти всюду позасевшие псевдогении, ноющие бездельники!

Как видите, королева, я уже пишу за вас, потому что вы не соизволиваете. Сам себе пишу от вашего имени. Не сердитесь.

Опять ночь. Села как птица на ветку сосны и вращает в темноте безумными совиными глазами. Круглые диски ночи. Ртутью залитый мир. В ее парах задыхаются спящие. Их храп — полуночный лепет отравленных. Разговор обреченных с глухонемым Танатосом.

5

Я ни одной своей подруге не был верен. Любил их честно и примитивно. Слишком примитивно, может быть. Самое главное происходило во мне самом, туда я женщин никогда не пускал. Попробовал, пустил, обжёгся несколько раз и с тех пор замкнулся. Никаких границ в сексе не знал и знать не хотел. .

Вы пишете — искусство, природа, эротика. Все эти понятия стали слишком высокими для меня. Искусство в современном

мире превратилось в черный метаболизм или грязный капустник. Про природу даже говорить не хочется, так ее испоганили, а эротика, это для сильных, не боящихся смерти.

А вы, стало быть — «домина», любезная Солоха! Не прикажите ли купить кожаные доспехи с наручниками? И плеточки-семихвосточки, нежные, для филейных мест! И цветных свечечек для капанья воском на соски и яички.

Вы что, всех нас, за ржущих от похоти, перед женщинами пресмыкающихся, жеребцов почитаете? Таких несчастный Бруно Шульц рисовал. Если у вас нет его графических альбомов, настоятельно советую купить — это еще эротичнее чем спятивший на костлявых бедрах собственной сестры Эгон Шиле.

Вы меня хотите заразить своей легкомысленностью? Меня? Самого легкомысленного из всех легкомысленных? Если бы вы жили в Берлине, я после этого вашего заявления сразу бы к вам приехал или к себе позвал и попросил сейчас же, непосредственно, заразить. Чем угодно. Ваше счастье, что я уважаю вашу частную жизнь и даже звонить вам никогда не буду.

Как звучит ваше настоящее имя?

6

Милая Жанна, вот и кончился наш, так и не начавшийся роман. Мило и грустно. Стену одиночества не так легко разбить. Да и стоит ли? Буковки, строчечки, смыслики не способны пробить брешь в вселенской хандре. Только телом, его теплом, соединением кровей достигается понимание, постигается жизнь.

Вы хотели общения, светских разговоров, сдобренных эротическими ароматами, а столкнулись с болью, уже много лет запертой в черном ящике. Ситуация хорошо знакомая из русской литературы. Литературе этой пришел конец. Наплевать! Многому пришел сейчас конец. Постараемся не визжать. Природа не имеет ушей, чтобы слушать наш визг, не имеет глаз, чтобы увидеть наши слезы.

Все время пытаюсь понять, что же меня так грызет? Подступающая старость со всеми ее ужасами? Болезни? Смерть? Да, конечно, это в первую очередь. А что еще? Душевная пустота? Да, и она.

Неудавшаяся жизнь? Ну да, отчасти. Но все это грызет любого. Что же еще? Не знаю. Наверное еще и то, что к старости понял, что не знаю толком ничего, ничего не умею, все потерял.

Мучил всех, кто ко мне приближался. Трусил всегда. Избегал долгой и тяжелой работы. Закончил университет по специальности математика, ни черта в ней не понимая. Десять лет морочил голову сотрудникам института, говорил с апломбом... Оправдывал себя тем, что, вот, мол, непризнанный гений, страдает. Бесконечно морочил голову себе и другим.

Пытался убежать от в глубине моего существа сидящего зверя садизма, космической распущенности, безумия. Зверя, похожего на летучую мышь с собачьей головой, догнавшего меня наконец на пятидесятом году жизни.

Зверь вкрадчивый и острожный, когда мы сильны духом, и осатаневающий от лютости, когда мы духом слабеем. Его приход ознаменовывается приступами тоски, черной меланхолии. Она, эта дюреровская сука отпирает ему дорогу в нашу душу, а потом и в нашу жизнь. Добро пожаловать!

Сегодня днем заснул и мне приснился странный сон.

Будто я в комнате. Высокие стены увешаны фотографиями в черных рамочках. Мебели нет. В комнате я не один, а с другом. Он умер двенадцать лет назад. Но во сне — мы все еще вместе. Беседуем.

Говорю другу: «А я могу летать!»

И взлетаю. Медленно. К потолку. Смотрю на него сверху. Мне хорошо видны фотографии, висящие у потолка — снизу их нельзя было рассмотреть. На фотографиях — моя жизнь.

Мне хорошо в воздухе. Легко. Лечу плавно, сохраняя вертикальное положение тела.

Слетаю вниз, беру друга за руку и медленно взлетаю вместе с ним. Он смотрит на меня спокойно. Улыбается. Парит со мной под потолком. Мы медленно кружимся в странном вальсе. Вдруг я вспоминаю во сне, как тяжело он умирал от рака легких, задыхался. А я побоялся приехать тогда в Москву, чтобы с ним проститься.

Умоляю его: «Прости меня, прости!»

Но он меня не слышит, улыбается в полете, и мы кружимся, кружимся под потолком...

ИНТЕРВЬЮ *ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ*

Беседа Игоря Шесткова с Игорем Бондарь-Терещенко

БТ: Игорь, позвольте для начала поздравить вас с выходом в питерской «Алетейе» в этом году целых трех книг — по сути, полного собрание малой прозы: «Фабрика ужаса», «Покажи мне дорогу в ад», «Сад наслаждений», а далее мы поговорим вот о чем. Расскажите, как случилось, что художник, переехавший в Берлин в девяностых, вдруг стал писать рассказы и повести, став, по моему мнению, знаковым автором русского зарубежья? Когда случился перелом и с чем он был связан?

ИШ: Спасибо за поздравление. Издательство «Алетейя» не просто напечатало три моих книги, но напечатало их с любовью, в твердой красивой обложке, на приличной бумаге. Книги приятно взять в руки и легко читать. Это настоящая — и единственная — награда для автора. Пользуюсь случаем и благодарю маленький коллектив «Алетейи».

Уезжая в сентябре 1990 года из Москвы навсегда, я конечно и представить не мог, что через тринадцать лет окажусь в Берлине и начну писать рассказы по-русски. Тогда, тридцать лет назад, я представлял себе свое будущее иначе. Мне хотелось стать известным в Европе художником и жить где-нибудь на юго-западе Германии под Штутгартом или в районе Баден-Бадена в собственной вилле с огромной светлой мастерской. Жизнь, однако, распорядилась иначе. Художником я действительно стал и выставлялся сравнительно часто, но жил в трехкомнатной темной квартире с печным отоплением на территории бывшей ГДР, в Саксонии, в индустриальном Кемнице, и более чем скромная моя известность не позволяла жить на доходы от художеств. Пришлось работать… и я работал галеристом, музейщиком, сотрудником дома культуры. В конце концов, понял, что то, что я рисую — давно устарело и не воспринимается больше в Европе

как искусство. Я перестал рисовать и начал писать короткие эссе. Писал по-русски, а потом вместе с друзьями переводил на немецкий. Печатал их в журналах и каталогах. Издал несколько тонюсеньких книжек.

В 2003 году — по личным причинам — переехал в Берлин. И неожиданно понял, что в Саксонии было не так уж плохо. Работу найти мне сразу не удалось. Решил написать несколько автобиографических текстов. Не для печати, для себя. Поработал полгода, увлекся. Написал, кажется, десять текстов. Разослал их для смеха в различные эмигрантские журналы. Неожиданно один ответил и напечатал подборку. В Нью-Йорке. Потом ответил еще один. Во Франкфурте-на-Майне. И тоже напечатал. Незаметно для самого себя я стал «автором». Являюсь ли я «знаковым автором» — трудно судить. Наверное, не осознавая этого, я тоже являюсь знаком чего-то. Печали моего поколения? Безумия жизни, как таковой? Извечного повторения тем и вариаций?

БТ: Названия ваших книг, с одной стороны, предсказуемы, если учесть, что в «Фабрике ужаса» речь о жизни в советской действительности с точки зрения героя, ну никак в нее не вписывающегося — ни в детстве, ни в юности, ни в зрелости — а в сборнике «Покажи мне дорогу в ад» имеем как бы итог его исканий, воплощенный в эмигрантской фантасмагории. С другой стороны, ваш фирменный прием — переход от реализма к сюрреализму в одной и той же истории — порой неуловим, и вот уже читатель идет кривой дорожкой в ад очередной истории. Вы намеренно выстраивали «именную» связь в названиях книг, или это естественный ход жизненных событий — возвращение из «Сада наслаждений» в «фабричную» эстетику модернистских ужасов?

ИШ: Боюсь, вы приписываете мне то, чего во мне нет. Названия всех трех моих книг — это названия рассказов. Если угодно «знаковых» рассказов. Книга «Сад наслаждений» состоит в основном из квазиавтобиографических текстов о советской действительности. Одноименный рассказ посвящен одной из самых пронзительных тем советского бытия — теме сексуального одиночества так называемого совчела. Несмотря на то, что главный

герой рассказа — молодой муж красавицы жены, которую он очень любит, он несчастлив и она несчастлива. Потому что он хочет от нее в постели чуть большего, чем она способна ему дать, и даже представить, а она в свою очередь… В результате, то что должно было бы быть «садом земных наслаждений» (некоторые исследователи предполагают, что свой знаменитый триптих Босх нарисовал по заказу — как подарок на свадьбу) — превращается в оргию непонимания, в позорную драку между супругами, и кончается разлукой и одиночеством. Рассказ это искренний, честный, не выдуманный. Описанное драматическое событие произошло с одним из моих друзей. Он рассказал мне о нем через двадцать лет после того, как оно произошло. Рассказ этот можно рассматривать и как развернутую метафору к советскому бытию. Как только совчел пытался реализовать что-то, что не соответствовало разрешенному советскому мейнстриму — его наказывала система. Иногда довольно жестоко.

Вторая книга, «Фабрика ужаса» — изначально называвшаяся «Ужас на заброшенной фабрике» — тоже названа по одноименному рассказу, имеющему много продолжений, как сейчас говорят — сиквелов. Это история о том, как в жизнь главного героя входит что-то невыносимо ужасное и одновременно интересное, чудесное… Спасающее его от скуки рутинной немецкой провинциальной жизни. Если в моих «советских» рассказах я описывал то, что было в действительности, лишь изредка прибегая к деликатному остранению или, точнее к гиперболизации, то в рассказах о жизни в Германии я часто пишу о том, чего нет. И это не фантазии (терпеть не могу это мыльное слово), не перверсии, не бредовые интенции слабоумного, а упорные поиски в мнимой зоне человеческого сознания. Попытка дополнить реальность мнимыми событиями и явлениями, с одной стороны объясняющими эту реальность, с другой — позволяющими ее нейтрализовать, выйти на новый уровень жизни.

Третья книга, «Покажи мне дорогу в ад» одноименна последнему тексту этого издания, своеобразной повести, рассказывающей о злоключениях некого Гарри, странника по нижним мирам и по совместительству — палача на службе у сатаны. Гарри и человеком-то назвать можно с натяжкой… Это порождение

мнимой области мира. Также как и окружающие его образы — не то люди, не то персонификации, не то демоны. И это повествование, изложенное в обратном времени, не есть фантазия или бред… Это камера обскура обычной реальности. Ее подложка. Подкорка. Темная скрытая сторона.

Да, вы правы, все три книги составляют своеобразный триптих, а их названия — намечают путь. Точнее каскадное нисхождение.

С чем я не могу согласиться, так это с определениями «фабричная эстетика» и «модернистские ужасы». У меня в текстах этого нет.

БТ: Как и кем подбирались обложки ваших книг? И еще, кто еще из художников, по вашему мнению, соответствует вашей прозе, и могли бы вы сами, как художник, ее проиллюстрировать?

ИШ: Обложки моих книг я всегда планирую сам. Все-таки я бывший художник. Дизайнер «Алетейи» только удачно воплотил мои замыслы, за что я ему очень благодарен. На передней стороне обложке «Сада наслаждений» — слегка деформированный фрагмент композиции на остатках Берлинской стены неизвестного мне художника, которую я сфотографировал несколько лет назад. Мир этой картины — биологический и одновременно механистический — показался мне подходящей антитезой к названию и содержанию книги. На корешке и задней обложке книги — на зеленом фоне фрагмент одной из гравюр Гойи из серии «Капричос».

На передней стороне обложки «Фабрики ужаса» — фотография одной из глухих стен дома в центре Берлина, покрытой граффити. Разнообразие, пестрота и хаотический стиль этого изображения как нельзя лучше подходит к моим «страшным рассказам». На задней стороне обложки — и тоже на густом зеленом фоне репродуцирован фрагмент работы Босха.

На передней стороне обложки книги «Покажи мне дорогу в ад» — фрагмент огромного триптиха-коллажа, который я сделал

к выставке в Ганновере ЭКСПО 2000. Несколько месяцев он висел в вестибюле одного из павильонов выставки. Фон обратной стороны — опять Босх.

Моей прозе «соответствуют» много художников, прежде всего это Босх, Брейгель, Гойя… художники немецкой «Новой предметности», французские, испанские и бельгийские сюрреалисты. Дали однако в этот список не входит, а вот Макс Эрнст — безусловно входит. Иллюстрации к прозе — как и Восток — дело невероятно тонкое. На мой взгляд, мои тексты — и есть иллюстрации к самим себе. Своеобразные словесные картины, словесное кино. Сам я не могу больше рисовать — разучился и руки дрожат.

БТ: Ваши поздние рассказы и повести уже полностью принадлежат европейской эстетике, там где Деблин, Йозеф Рот и Бруно Шульц — имена и школы можно множить, но неизменным остается одна очень важная авторская черта. Во-первых, фееричность вашей прозы по-прежнему связана с соответствующей «изобразительностью» — от «Капричос» Гойи до психоделии в духе «Желтой подводной лодки» — и это уже не причуды, а узнаваемый стиль. Во-вторых, прежние ментальные модели в сюжетах, напоминающие Зощенко и Аверченко, надежно синтезировались в кафкианский модернизм. Вы сознательно столь стремительными темпами выходили из шинели «сатирической» школы или это неизбежный исход, и природа художника, увидевшего мир, взяла свое?

ИШ: В этом вопросе вы больше утверждаете, чем спрашиваете. С вашими утверждениями я более-менее согласен. И изобразительность текста и суггестивная психоделика привлекают меня в текстах больше всего. О Бруно Шульце я написал большое эссе, это один из моих любимых графиков и авторов. Но прочитал я его и впервые увидел его работы — относительно недавно, когда то, что вы называете моим стилем, уже сложилось.

Дёблина и Рота я к сожалению не читал. Дело в том, что я, хоть и неплохо говорю по-немецки, не могу наслаждаться немецкой оригинальной прозой. И поэтому не читаю ее. Мое взаимо-

действие с культурой приютившей меня страны происходит на бытовом уровне и через изобразительное искусство, которым я до сих пор живо интересуюсь. До наступления пандемии я был жадным посетителем музеев и галерей современного искусства. И не только в Берлине, и не только в Германии…

Полагаю, связь моих рассказов с Зощенко и Аверченко — лишь видимая или и вовсе случайная. Я не литературоцентричный человек. Уже много лет я не могу заставить себя прочесть роман. Через семь страниц все уже ясно, а на восьмой — засыпаю. Поэтому сам стараюсь писать кратко. Мои впечатления и мои тексты — из земли, из живого опыта, моего и моего поколения. Кафку я читал с упоением в юности. На мой вкус это слишком болезненный писатель. Из его текстов сочится гной. Мне его очень жалко.

Мне трудно мыслить вашими категориями. Я никогда не причислял себя к «сатирической школе». И близко не лежало. Гротеск — да, это правильное слово. Но мой гротеск — это на мой взгляд не более чем гротеск обыкновенной жизни.

И да, увидев мир, я конечно изменился. Особенно на меня повлияли пейзажи Мертвого моря и Иерусалима, посещение Стамбула, Рима, Сан-Франциско, Аляски… Душа как бы распахнулась… Но входом в метафизические, мнимые миры я обязан моей родине и странной, неестественной жизни, которой я против воли жил в индустриальном Кемнице после Объединения Германий.

30 ЛЕТ В ГЕРМАНИИ

Сегодня 30 сентября 2020 года. Ровно 30 лет я живу в Германии. Три раза по десять лет. По-хорошему за такое надо было бы медаль вручать. Вроде как «За взятие Берлина». Или «За отвагу».

Ну да, чтобы решиться на отъезд с родины — навсегда, навсегда — надо иметь мужество или наоборот быть последним трусом. Или быть очень глупым, или очень умным. Надо быть ужасно жадным или абсолютным бессребреником.

В эмиграции эти качества непостижимым образом сходятся.

Мужественный — спасает семью, трусливый — бежит без оглядки, глупый полон никогда не сбывающихся надежд, умный точно знает, что будет делать в Европе, немецкий и английский выучил заранее, имеет крепкое здоровье, верную молодую жену, влиятельных друзей на всем земном шаре, хорошую профессию и план на ближайшие 50 лет, жадный хочет несметно разбогатеть, бессребреник — надеется насладиться творческой свободой…

Каким тогда, до отъезда был я? Ни то, ни се, ни рыба, ни мясо… Мужества у меня была только капелька, зато трусости — целое ведро, глупых надежд — почти не было, также как и ума, немецкий я не знал, английский забыл, по профессии работать не собирался, плана никакого не имел, с женой был в ссоре, разбогатеть и не мечтал, к творческой свободе на Западе относился с здоровым скепсисом.

Какого же лешего я тогда, 29-го сентября 1990 года убрался из родного Совдепа? На поезде уехал. С Белорусского вокзала. Прямо в Берлин. С концами.

А черт меня знает. Все уезжали. Много всего налипло на душе.

Встретил меня на перроне Восточного вокзала дальний родственник жены — Эдик, добрейший парень моего возраста. Долговязый блондин. Из кавказских немцев. И повез на своем красном спортивном форде по старому, гитлеровскому еще ав-

тобану к себе, в Дрезден. Эдик гордился своей машиной, лихачил, гнал под 250… И в пробках пришлось постоять… Меня укачало до рвоты.

По дороге я все спрашивал его — где Берлин? Где города? Что это за сараи?

О тогдашней Восточной Германии я не имел понятия. То есть мне и в голову не приходило, что немцы могут так жить. Как? Так бедно. Убого.

…

Подробно и серьезно я написал о своей эмиграции лет десять назад (текст опубликован под не слишком оригинальным названием «Несколько слов о эмиграции»). А сейчас… мне хочется написать об этом душещипательном и судьбоносном событии иначе. Нет. Не не серьезно, а… иначе. Потому что многие объяснения, мотивации, целые модули мышления… со временем потеряли вначале актуальность, потом силу, а затем и смысл, стали душевным мусором. А на их место пришло нечто новое, расплывчатое, а то и вовсе непонятное… и это, новое… новый взгляд на себя, на жизнь… настоятельно требует точной формулировки… хоть какой-нибудь формулировки. Или простого упоминания.

Понимаете, за 30 лет, проведенных в Германии, я не только стал другим человеком, но и основательно подзабыл того, двойника-невротика в туманном прошлом, все реже и реже мерещащегося мне в кривых перекрещенных зеркалах, забыл его страхи и упования… Этот типичный московский человек, не диссидент, не обыватель, не ученый, седьмая вода на киселе, после 5 лет университета проторчавший непонятно зачем десять лет в научно-исследовательском институте, самозваный художник и неудавшийся, написавший лишь один (уничтоженный впоследствии) роман писатель… так и не знал, кто он и что собственно в жизни хочет. Заимел двоих детей, развелся с первой женой и непонятно как жил со второй… бросил осточертевший институт, устроился охранником в типографию на Арбате, ушел оттуда, писал на заказ иконки для одной московской церквухи на окраине, проработал непонятно кем целый год в другой церк-

вухе, но православным там и не стал… серьезно подумывал о самоубийстве, но так и не убил себя… к моменту эмиграции представлял собой жалкий конгломерат из подсознательных страхов, фантастических видений и примитивных потребностей тела.

В вышеупомянутом тексте я так сформулировал причины моего отъезда в Германию в сентябре 1990 года: страх перед возможными погромами, страх перед голодом, страх перед новой Россией, грозящей стать неофашистским государством на русский лад… надежда на то, что немецкая социальная помощь освободит меня от обязанности каждый день ходить на работу и позволит несколько лет заниматься самообразованием и спокойно рисовать. И — если выдюжу — стать профессиональным художником, известным и обеспеченным.

Звучит все это хорошо, и конечно «контурно» или «пунктирно» все эти причины действительно имели место быть. Но только «контурно»… А на самом деле… Не знаю, что было на самом деле. Посередине — гвоздик.

Пунцовые и голубые дирижабли, покрытые золотистыми буковками, медленно проплывающие перед закрытыми глазами. Тысячи голосов, поющих и шепчущих мне что-то в мертвящей тишине.

Странные существа, в которые то и дело превращалось мое тело, тянули меня в незнакомые мне миры, в лучшем случае пародирующие мой московский мир…

Удивительные сюжеты, представляющимися мне трехмерными картинками с затейливыми цветными стеклянными трубочками, по которым текла какая-то жидкость. Жидкость-время…

Чем все это было? Визуальными и звуковыми галлюцинациями шизофреника? Или непонятными сигналами из прошлого или из будущего?

Больным я себя не ощущал. Видения мои не были чем-то патологическим… патологической была наша обычная советская жизнь. Наоборот, они были единственным ценностью моей постылой жизни. Ее единственным сокровищем.

Я пытаюсь вспомнить хоть одно видение, услышать еще раз шёпот времени, но мне это не удается… я вижу лишь полузаброшенные дома на бесконечных улицах Зонненберга, и слышу гул и треск страшного города, в который закинула меня судьба.

Германия наступила своими тяжелыми стальными сапогами на пуповину, связывающую меня с Москвой моего детства. И я благодарен ей за это.

В СТРАНЕ ГОРЯЧИХ ВАГИН

Так и не растерявший за время своего четырехлетнего пребывания в ГДР знаменитое кавказское гостеприимство Эдик привез меня в свою большую трехкомнатную квартиру на первом этаже шестиэтажного дрезденского дома, украшенного колоннами и рельефами, чудом уцелевшего в бомбардировках февраля 1945 года. Кроме него в квартире жили — Эдикова жена Зинка и двое их беспокойных маленьких детей. Девочка и мальчик. Девочка стала в будущем защитницей животных, а мальчик — профессиональным военным.

Через год, кажется, Эдик нашел для себя и семьи новое жилье. Потому что дом этот шестиэтажный купил маленький пузатый турок-нувориш из Западного Берлина. Блондинистому гиганту, чистокровному этническому немцу Эдику он был не просто неприятен… невыносим. Эдик не мог слышать его голос (турок говорил на хорошем немецком, хоть и с акцентом, а Эдик выражался неловко), не мог равнодушно смотреть на то, как новый хозяин, жестикулируя, говорит с рабочими, малярами (турок затеял ремонт), другими жильцами… Эдик боялся, что не выдержит и хрястнет турка разводным гаечным ключом по потной круглой лысой голове.

Переехал от греха подальше в небольшой домик на две квартиры, с плоской крышей и садиком. На окраине Дрездена. В садике Зинка устроила огородик и цветник, а Эдик посадил три грушевых дерева и установил клетку с кроликом. Первых груш Эдик так и не дождался, потому что снова переехал, на этот раз в деревню километрах в пятидесяти от Дрездена. Там ему было спокойнее.

Несчастного кролика задрала ласка или хорек.

В тот мой первый немецкий день я ужасно объелся приготовленными специально для меня, хорошо наперченными грузинскими пельменями — хинкали (сметану для соуса Эдик купил в русском магазине, торгующим гречкой, воблой, водкой и невкусными конфетами «Птичье молоко») и тающей во рту пахлавой. И выпил немало.

На праздничный ужин Эдик пригласил гостей, таких же как он, бывших кавказских немцев. Видимо он хотел, по советской привычке, похвастаться своим московским визитером. Я это почувствовал, застеснялся, стал грызть себя, ведь блистать-то мне было нечем. Как-то вдруг стало ясно, что, сам того не понимая, я уже — стоило только приехать в Европу — превратился из «перспективного московского ученого» (на самом деле, я таковым никогда не был, для близких друзей я был — «художником-нонконформистом») в жалкого, бесправного беженца из потерпевшей крах советской империи, прикатившего сюда побираться и проситься на жизнь. Без гражданства, без настоящих документов, без статуса.

Превратился в бездомную собаку… крысу… Уууу!

Я прочитал этот приговор в суровых глазах эдиковых гостей, в презрении, неожиданно проскользнувшем в гримасе на сахарном личике Зинки (я непонятно зачем объявил за столом, что у меня в портмоне три сотни немецких марок, сумма эта, мне, все еще советскому человеку представлялась тогда громадной), в сочувственном, но едко-покровительственном взгляде эдиковой мамы, бывшей домашней хозяйки, изробленной многолетней круглосуточной работой в деревенском доме и неустанной заботой о большой требовательной семье, а ныне — независимой немецкой пенсионерки с приличной пенсией и капиталом. Семья Эдика привезла с собой из СССР целый чемодан советских денег. Откуда они взялись? Как они его вывезли, не знаю. Но знаю, что вывезли и обменяли на марки ГДР. А в июле 1990 — повторно обменяли на немецкие марки. Деньги эти впрочем впрок не пошли, Эдик быстро спустил их в трубу в свой непродолжительный «предпринимательский период». И, по тогдашнему обыкновению, еще должен остался.

Спать меня уложили на двуспальной кровати хозяев (с золотистыми металлическими украшениями и рюшками), а сами они устроились на ковре в детской. Если бы я не был пьян как свинья, ни за что бы не допустил этого. Но сделанного не воротишь.

Проснувшись, испытал неловкость. Эдик был смурной, Зинка смотрела на меня волком… нельзя было не заметить то, что она заревана, синяк на щеке припудрила… видимо поругалась с мужем из-за нежеланного гостя на их брачном ложе, и он врезал ей в сердцах по сахарной физиономии. Рука у Эдика была тяжелая.

Вечером следующего дня я поселился в пустующей квартире матери Эдика, а через пару недель уехал в «лагерь для еврейских беженцев» в Глаухау.

…

Эти первые две недели в Дрездене… стояла ясная погода. Хотелось жить и радоваться. Я распахивал как можно шире воротничок моей куцей курточки. А хотел распахнуть душу.

Как же сладок был переливающийся перламутрами, качающийся воздух чужбины!

Воздух культурной Европы!

Европы, только недавно освободившейся от гнета своего и советского коммунизма. Еще по улицам Дрездена разгуливали обескураженные и озабоченные офицеры Красной армии, еще в наглухо запертых гарнизонах томились в казармах согнанные со всех уголков «нерушимого союза» голодные и униженные командирами и «дедами» солдаты, а в ангарах, шахтах и бункерах все еще ждали своего часа ракеты, самолеты, танки, катюши… весь арсенал смерти, который приволок сюда СССР, чтобы грозить всему миру и шантажировать чужих и своих… но острие стрелы тоталитарного государства рабочих и крестьян уже потеряло прочность. И сама стрела на глазах превращалась в костыль злобной слабоумной старухи.

…

Тогда, в октябре 1990 года, я не думал о серьезных материях. Не думал я и о окружавших меня бывших гэдээровцах, которым вскоре пришлось очень туго. Почти все они потеряли работу и привычный уклад жизни. Потерял работу на своей фабрике и Эдик. Но, кажется, вовсе не жалел об этом.

Я жадно, как студент Ансельм, разгуливал по берегу Эльбы.

Отчетливо слышал звон хрустальных колокольчиков и искал зеленых золотых змеек. Всюду мне виделись чудеса.

Вон старинный мост.

Вон величественные руины Фрауэнкирхе.

А тут целая галерея на открытом воздухе. Саксонские курфюрсты. Усатые все и толстые.

Тут продают аметисты из Рудных гор, а тут — книги, книги, книги. По иронии судьбы первой книгой в мягкой обложке, попавшейся мне руки, был «Архипелаг» по-немецки. В одном томе. Уцененный, всего за одну марку.

Правильно, подумал я, так и надо. Сколько можно натужно скорбеть и мучить себя клоповыми шкафами прошлого. Весело отбросил «Архипелаг» в сторону и стал листать эротический комикс «Бешеный Джо в стране горячих вагин». Содержание соответствовало названию.

Пошлость! Ну и что с того? Испугали…

Это слово не зря существует только в русском языке. Это такая специальная желчь, которой русские интеллигенты плюются друг в друга... а иногда оплевывают ей и самих себя. Пора перестать плеваться. Надо брать то, что жизнь дает.

…

Подошел к Цвингеру.

Сердце застучало, как на первом свидании.

Наконец-то я увижу то, о чем мечтал много лет, разглядывая снова и снова скверные иллюстрации дедушкиного тома «Дрезденская галерея», напечатанного издательством «Искусство» в начале шестидесятых.

Верьте мне. Я посмотрел в глаза «Сикстинской мадонне». Погладил путти по головкам.

Приляг рядом с «Дремлющей Венерой» Джорджоне. Надеюсь, не разбудил.

Вытащил стрелы из тела «Святого Себастьяна» да Мессины. Хватит, достаточно настрадался парень.

Пощупал за грудь «Вирсавию» Рубенса.

Вырвал письмо из рук «Девушки, читающей письмо» Вермеера. И попытался его прочитать. Ничего не понял.

Не позволил палачу на центральной части «Алтаря Святой Екатерины» Кранаха вынуть из ножен меч.

Налетался всласть в чудных пространствах картин Белотто.

Осторожно подергал за волосы «Святую Агнессу» де Риберы. Как же она на меня посмотрела!

Погрозил пальцем грозному старику с кинжалом в руках работы Гольбейна Младшего.

Стащил раковинку и часы с натюрморта Питера Класа.

…

Гулял по залам Дрезденской галереи часов пять или шесть.

Обезумел от восхищения.

Встретился с высшей жизнью.

С высшей энергией.

И удивительным смирением перед судьбой. Согласием с волей Творца.

И удавшимся сотворчеством.

А от глаз Сикстинской мадонны просто не мог оторвать взгляд. Пялился, пялился. Влюбился в нее как в земную женщину.

…

Побрел в квартиру эдиковой матери недалеко от главного вокзала. В ужасном сером доме с аркой. В доме, несколько раз переболевшем оспой.

По дороге купил йогурты и ячменную лепешку размером с блюдо. В турецком киоске. Деньги надо было экономить.

В квартире было нестерпимо холодно. В большой комнате стояла угольная печь, но я не знал, как ей пользоваться.

В ванной комнате на стене висел газовый нагреватель. Включил его не без труда и напустил в ванну горячей воды. Разделся и лег. Как хорошо! Стал вспоминать увиденные картины. Заснул. И проснулся через три часа. В ледяной воде.

Выскочил, дрожа и умирая, вытерся, приготовил себе большую кружку растворимого кофе и выпил его, заедая остатками лепешки.

Нашел в шкафу ватные одеяла, завернулся в них и заснул на узкой деревенской кровати. Неужели Эдик привез ее сюда из своей кавказской деревни?

Мне снилась Сикстинская мадонна.

В стране горячих вагин.

Эдик взял меня с собой в Берлин. Высадил из своего форда у станции эс-бана Цоо и обещал забрать там же в шесть вечера.

Западный Берлин — вокруг Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (обычно называемой Гедехтнискирхе) — еще не потерял тогда, в октябре 1990 года своей привлекательности для десятков тысяч туристов со всего света, львиную долю которых составляли все еще не насытившиеся «западом» бывшие гэдээровцы. Форменно притягивал к себе людей.

Рестораны, кафе, кинотеатры и театры, галереи и фешенебельные магазины от огромного торгового центра КаДеВе с одной стороны до самого конца шикарной улицы Курфюрстендамм (называемой просто Кудам) с другой были полны народа. По Кудаму еще разгуливали элегантно одетые мужчины и женщины. Попадались даже фраки и смокинги. Дорогие платья коктейль. Шляпки и шляпы.

В отелях не было свободных номеров.

Гуляющую публику развлекали самодеятельные музыканты, певцы, фокусники, гимнасты и танцоры, тут и там неизвестные художники малевали прямо на асфальте прекрасные картины, мастера-графики рисовали карандашом на бумаге реалистические портреты радостно позирующих прохожих. Был и один артист, строивший удивительно гадкие рожи. Натягивающий безразмерные губы на нос. Вокруг него толпилось куда больше народа, чем вокруг классической певицы, настырно и нудно тянувшей «Аве Марию».

Немыслимое количество небольших магазинчиков торговали дешевой электроникой, шмотками и сувенирами. Сувениры и шмотки меня мало интересовали, но всевозможные радио, магнитофоны, плееры и маленькие наручные телевизоры (была тогда такая мода) — тянули к себе неодолимо.

Неизменным успехом пользовались наперсточники, то и дело к туристам подходили обманщики с фальшивыми страховками и абонементами на журналы и газеты, цыганки просили что-то прочитать… что было прелюдией к гаданию и вымоганию денег. Карманники молча и жадно работали в человеческой массе.

Было недалеко от Гедехнискирхе еще кое-что, что меня притягивало. И, пожалуй, даже сильнее, чем плееры и наручные телевизоры. Нечто…

О существовании этого нечто я во время своей советской жизни и не подозревал.

Это были сексшопы с кабинками для индивидуального просмотра порнографических видеофильмов.

Жена моя все еще жила в Москве. Я был ей верен. От онанизма отказался еще в юности. И считал это достижением.

Как же мы все наивны, высокопарны и глупы!

И с какой легкостью природа доказывает нам это…

Короче, после того, как я расстался с Эдиком — без колебаний направился в близлежащий сексшоп. Разменял в автомате у входа двадцатимарочную бумажку с нюрнбергской патрицианкой на одно и двухмарочные монетки.

Посмотрел журналы на полках. В руки не брал — брезговал. Рядом с ними лежали предметы, о назначении которых я только смутно догадывался.

Направился к кабинкам. Дрожал от возбуждения. Пускал слюни. Соображал туго.

С трудом нашел пустую кабинку… зашел… и… и не успел закрыть за собой дверь, похожую на дверь в самолетных туалетах, как в нее проскользнула девушка. Лет 15–16.

Немочка. Какая-то грустная. Неказистая. С короткой стрижкой.

Она показала мне лапкой с обгрызенными ногтями на мою ширинку, пролепетала — двадцать. И встала передо мной на колени.

Я не успел среагировать. Даже кивнуть не успел.

Она ловко открыла молнию на моих болгарских джинсах, влезла в трусы (я от страха и волнения окаменел), спустила их на колени и взяла мой вставший член в рот.

Губы у нее были как у ребенка... но очень мягкие.

Язык — быстрый как ящерица.

Я держал ее руками за оттопыренные уши и прыгал на небесном батуте...

Через две или три минуты кончил.

Она устало отпрянула от меня. Вытерла губы бумажным платком.

И тут я с ужасом понял, что это не девушка, а юноша.

Небольшого роста. Хорошо выбритый. Женственный. Порочный. Обознался в полутьме. Батюшки.

Дал ему сорок марок. Он спрятал деньги во внутренний карман курточки, усмехнулся невесело и, не глядя на меня, покинул кабинку.

…

Все оставшееся до приезда Эдика время я бродил по Кудаму. Думал, думал, вздыхал. Копался в себе.

Потихоньку до меня дошло, что новый мир, в котором я очутился и в котором уже хотел остаться навсегда, изменит меня. Изменит радикально. Что у меня нет желания сопротивляться. Что мне придется собрать все оставшиеся силы для того, чтобы не дать ему стереть себя в порошок.

Моя крепость, которую я строил всю свою советскую жизнь, как оказалось, не была укреплена с южной (нижней) стороны. Там не было ни стены, ни башен, ни даже окопов. И толпы варваров запросто могли войти в нее. Без боя, без кровопролития.

Но самым мучительным было то, что я уже хотел, жаждал этого. До замирания сердца хотел, чтобы они вошли. И подняли меня на копье.

…

Кстати о варварах.

На улицах Дрездена я заметил особенных молодых людей. Бритоголовых, в ботинках чуть не до колен. В укороченных джинсах и с выглядывающими из-под курточек подтяжками. Явно агрессивных и не скрывающих своей агрессии. Никогда не появляющихся на улице в одиночку.

Спросил Эдика: «Это кто такие?»

Эдик ответил так: «Черт их знает. Скины… Раньше их тут не было. Понаехали с Запада. Могут напасть и забить до смерти. Уже были случаи. Не лезь на рожон, обходи их стороной. В случае чего — беги. Ты бегаешь быстро».

Я это наставление намотал на ус.

И вот… иду я однажды по Старому городу. Полный восхищения и зависти. После посещения Альбертинума, где тогда располагалась коллекция саксонских драгоценностей «Зеленый свод». Вспоминаю увиденное великолепие.

Память моя визуальная была тогда не то, что сейчас. Каждую фигурку запомнил. Каждый камешек. Особенно мне большой зеленый грушевидный бриллиант понравился. На золотой броши или подвеске. Душу можно за такую красоту дьяволу продать. Хотя… сомневаюсь, что душа моя нечистому духу интересна, слишком много совпадений, как говорит одна моя знакомая.

Ну так вот… я иду, вспоминаю, мечтаю, как всегда… и вдруг осознаю, что иду я не один, а в огромной, тысячи две человек, толпе этих самых скинов. Многие скины пьяны, горланят что-то, что — не разберу. Другие смотрят вокруг совершенно безумными глазами, видимо наглотались чего-то, руки сжали в кулаки, зубами скрежещут и ревут как медведи… явно ищут жертву. На мое счастье, жертву они искали не в своих рядах, а на улице. А меня они видимо догнали, пока я мечтал, и обошли со всех сторон, так что я, не заметив этого, оказался среди них. В самой гуще.

За толпой следовали полицейские в шлемах и доспехах с пластиковыми щитами и дубинками в руках. Катили машины скорой помощи и автобусы с решетками на окнах. За ними виднелись грозного вида автомобили-водометы, похожие на межпланетные корабли. Сирены ревели так, как перед авианалетом.

Как я мог такое светопреставление не заметить? До сих пор не понимаю. Так приворожили меня экспонаты «Зеленого свода». Обомлел с непривычки.

Я такое только в «Алмазном фонде» видел, в Оружейной палате. Но в «Алмазном фонде» гораздо меньше художественных ценностей, чем в «Зеленом своде», в основном там — помпезная роскошь. А в Дрездене — настоящее пластическое ювелирное искусство, глаз не оторвешь.

…

Несколько секунд ничего не происходило.

А затем… как раз после того, как мы обогнули Дворец культуры и направились по Прагаштрассе в сторону Главного вокза-

ла… человек двадцать скинов необыкновенно быстро выскочили из толпы и окружили двух наблюдавших процессию и разинувших рты подростков южного типа, должно быть румын, болгар или югославов. И тут же повалили их на землю и начали жестоко бить ногами. Мерзавцы были явно старше и сильнее своих жертв.

Дальше события развивались стремительно. Группу скинов, избивающих несчастных подростков окружили полицейские. Они вытянули избитых подростков из круга и начали в свою очередь зверски избивать скинов. Изо всех сил лупили дубинками по лысым головам. Я слышал характерный треск. После чего к ним подъехал один из полицейских автобусов и избитых скинов затолкали в него. Автобус тут же уехал, а подростков увезла скорая помощь. Полицейские вернулись на свои места. Толпа двинулась дальше. Через полминуты события повторились. Скины напали на чернокожего мужчину. Почему он не убежал? Видимо растерялся. Не предполагал, что в цивилизованной Германии подобное возможно.

Воспользовавшись суматохой, я покинул фалангу. Забежал в близлежащее кафе. Раскошелился на кофе со сливками и пирожное. С малиной и черникой. Пальчики оближешь.

…

Позже Эдик рассказал мне, что скины, оказывается, возвращались после концерта. Все вместе, чтобы не попасть поодиночке в руки к враждебным им левакам. Разогретые музыкой, сочащейся ненавистью. И алкоголем. И наркотой. Шли к Главному вокзалу. Но не могли сдержать злобу и нападали на всех, кто казался им не немцем. Избили даже двух мулаток-американок, баскетболисток и студенток Высшей Технической школы Дрездена.

Многих скинхедов задержали, других отправили на поездах домой.

В поездах скины продолжали избивать иностранцев. Сломали руку пятилетнему мальчику из семьи беженцев из Анголы. Изнасиловали двух его сестер. Подонки.

Прошло тридцать лет. На улицах немецких городов не видно бритоголовых, зато иностранцев стало заметно больше. В основном — это молодые мусульмане. Юноши и мужчины, имеющие военный опыт.

Часть бывших бритоголовых повзрослела и занялась делом, другие — мутировали в откровенных неонацистов. Таких в Германии все больше. Чем это кончится, я не знаю, я не пророк.

ДЕЗЕРТИР КУРОЧКИН

Я жил в «лагере для еврейских беженцев» в саксонском Глаухау — с середины октября 1990-го года до июня следующего года. В феврале туда приехали жена и дочка. А в июне они уехали назад в Россию. Потому что жене в Германии не понравилось. Я не знал, увижу ли их когда-нибудь еще.

…

Жизнь в Глаухау — была, пожалуй, самым странным периодом в моей жизни. Объяснить это трудно. Потеря родины оставила в душе черную дыру, в которой пропадало все. Обретение новой страны обитания зажгло в сердце новую звезду. Так я и жил — с черной дырой и звездой в груди.

Расскажу об одном характерном происшествии. Ничего особенного, но на меня подействовало сильно.

Когда это случилось, я забыл… скорее всего в начале декабря 1990-го года. Или в конце ноября. Фамилию главного героя этой истории тоже забыл, но помню, что простая, птичья, немного задиристая. Петухов? Гусев? Назову его Курочкиным. Для определенности. Так вот этот самый Курочкин был то ли тромбонистом, то ли трубачом в советском военном оркестре в Дрездене. Дудел, в общем. В звании сержанта, кажется. Как и все остальные музыканты Курочкин узнал, что тогда-то будет вместе со всем оркестром переведен назад в СССР. То ли в Саранск, то ли в Сызрань. Это привело его в ужас. Потому что он уже давно дудел в Дрездене, привык и к местному пиву, и к сосискам, и к небольшим льготам для музыкантов, даже завел себе местную сдобную бабу из бывших советских немцев, часто нелегально ночевал у нее, и возвращаться на родину вовсе не хотел.

Все шло однако своим чередом, оркестр отыграл последний раз на торжественном прощании дрезденского гарнизона с Германией… прошел маленький парад… опустили флаг… почеломкались с осиротевшими немецкими друзьями. Через день отправка… все в поезд и ту-ту.

Тут у Курочкина не выдержали нервы. И он дезертировал.

От каких-то дальних знакомых он слышал, что в Германии можно остаться «по еврейской линии». А у него, к счастью, в свидетельстве о рождении было написано, что мамочка его, давно покойная, — еврейка. Из тех же смутных источников Курочкин узнал, что в Глаухау есть «лагерь для еврейских беженцев». Кто-то из знакомых одолжил ему подержанный мерседес, и Курочкин подло покинул сослуживцев и уже полупустой гарнизон и прикатил на своем мерседесе к нам, в лагерь. Вместе со своей толстомясой подругой. Кто-то из наших пустил их в свою комнату жить. Курочкин хотел отдышаться, собраться с силами, а через два дня пойти в полицию Глаухау, попросить статуса беженца. Забыл, бедняга, что такое советская армия.

А дальше случилось вот что.

На следующий день после его приезда в лагерь, рано утром… я спал себе на нижнем этаже двухэтажной кровати в крохотной комнатке студенческого общежития языкового колледжа Высшей Технической Школы в Цвикау. Так официально называлось место, где временно был расположен наш «лагерь», где мы, «евреи из СССР» учили по шесть часов в день немецкий язык и привыкали к новой жизни.

Спал я тогда еще крепко и сладко, не то, что сейчас.

И вдруг… слышу сквозь сон, как кто-то открывает входную дверь. И входит в мою комнату. Не мог спросонья ничего понять. С трудом открыл глаза.

Двое недружелюбных высоких мужчин в черных костюмах стояли рядом со мной и разглядывали мою сонную морду. Один из них пролаял: «Курочкин, это ты? Вставай, поедем в часть. Конец гастролям. Заждались мы тебя, крррасава…»

Я только смог выдавить: «Вы кто?»

— Потом узнаешь, кто. Все узнаешь, мразь… Под трибунал пойдешь, предатель…

О Курочкине я слышал, кто-то шепнул вечером на ухо, но лично с ним я не встречался.

Понял все. Проворчал: «Я не тот, кого вы ищете».

Тут второй черный костюм сказал первому: «Это не он, посмотри, у этого рожа в три раза шире».

И показал ему маленькую фотографию, похоже паспортную. Первый посмотрел на фотографию, потом на меня, пробурчал: «Все жиды друг на друга похожи… говори, где Курочкин! Если не хочешь, чтобы мы твою сытую харю исполосовали».

Показал мне нож.

— Не знаю.

Я и вправду не знал. А если бы и знал, не сказал бы гадам.

Второй костюм сказал что-то на ухо первому.

После чего оба мою комнатку покинули, а я вскочил, умылся (каждая комнатка в общежитии была снабжена умывальником), и выглянул на улицу. То, что я увидел, меня не обрадовало.

Общежитие наше окружали солдаты Красной армии. С автоматами. На стоянке перед зданием стояло четыре военных грузовика для перевозки личного состава, бронетранспортер на колесном ходу и черная волга. Приехали!

Первая мысль: военные устроили путч. Отказались уходить из Германии. И для начала решили прошерстить «лагеря для евреев», захватить заложников.

Что делать? Что делать? Что делать?

Идти пешком к бывшей границе. По маршруту Цвикау-Плауен-Хоф. Перекрыть полуторатысячекилометровую границу сразу они не смогут. Километров сто пятьдесят придется пройти до Баварии. Выдержу ли?

Может, по железной дороге удастся проехать хотя бы часть пути. На товарняках… по ночам…

О Курочкине я забыл. Какой еще Курочкин? В лагере гэбисты. Вокруг — солдаты. Бронетранспортер. Волга.

Тут ко мне постучали. Открыл. Этот был Марк, товарищ по лагерю. Спокойный, высокий, сильный человек.

Он меня успокоил, сообщил, что никакого путча нет, что «эти суки» ищут дезертира-трубача Курочкина, который «спрятался вместе со своей бабой где-то под кроватью, лежит и трясется как заяц…»

— Я бы тоже трясся. И ты…

— Как думаешь, что делать? Нельзя трубача отдавать. Долго прятать не получится.

— Для начала надо полицию вызвать.

— Суки поставили двух солдат у телефона на проходной. Связи нет.

— Надо Курочкина как-то из здания вывести, через черный ход. Посадить в мерс и пусть дует на запад. Ты знаешь, где он прячется?

— Предположим.

— Переодеть надо его в бабу. А телку его оставить тут, она немка, ей ничего не грозит…

— Это идея.

— Пусть она ему свою одежду даст. Главное — парик надо найти. И выбрить его как следует. Припудрить слегка.

— Знаю, у кого есть парик и пудра.

— Ты все знаешь. Если его мерс отогнали, надо в другую машину его сажать. Поговоришь с Розеном? У него уже кажется три вольво. Собирает он их, что ли?

— Поговорю. Думаю даст, он парень азартный.

— Пойдешь потом к трубачу? С париком и пудрой.

— Пойду.

— Ну ты герой. Смотри только, чтобы пиджаки тебя не заметили. У одного из них нож.

— Это бутафория. Они дипломаты. Никого резать не будут. Пугают только.

— Ну давай, удачи!

…

Как это ни удивительно, но план наш осуществился.

Курочкин действительно переоделся в женщину, надел парик и покинул наше общежитие часа через два после нашего разговора с Марком. Марк сказал, что он «жопой вилял как потаскуха и губы накрасил помадой». Беспрепятственно прошел к одному из вольво спекулянта Розена на стоянке. И уехал. Гнал всю дорогу до Хофа, хотя его никто не преследовал, нашел там полицию и сдался властям. Его, кажется, позже послали в другой лагерь. Не на территории бывшей ГДР.

Осаду с нас сняли только вечером. Черная волга, правда, исчезла значительно раньше. Или это был фольксваген?

В июне, июле и августе 1991 года я жил в Дрездене в квартире эдиковой мамы. Рисовал тушью на акварельной бумаге абстрактные композиции. Гулял по городу, заходил в Дрезденскую галерею и другие музеи. Посетил несколько раз крепость Кёнигштайн, где когда-то жил в заточении алхимик Бёттгер, разгадавший секрет изготовления китайского фарфора. Съездил в Мейсен, где этот фарфор позже производили. Подивился на затейливые фигурки. Побывал в Пильнице, Августусбурге, Фрайберге.

В конце августа снял и въехал в большую трехкомнатную квартиру в городе К. на Бланкенауерштрассе. С печным отоплением и туалетом на лестничной клетке. В доме, принадлежавшем еврейской общине. Впечатления от этого события использовал позже в мрачном рассказе «Инес». В этом тексте все предстает, разумеется, в гипертрофированном виде, но многие мелкие подробности тамошнего житья-бытья — «чистая правда».

В октябре в Германию приехали моя беременная жена и дочка. Я встретил их в Польше. Дочка быстро освоилась, а бедная моя жена впала в депрессию. Каждый вечер плакала. В начале декабря родила вторую дочку. Но плакать не перестала.

А меня приворожила одна немочка. У которой тогда еще был муж. И трое несовершеннолетних детей. Моя семейная жизнь стала адом. В сентябре 1993 года жена не выдержала и уехала вместе с двумя дочерями к ее, приехавшим тогда из России на ПМЖ в Германию, родителям, в деревню недалеко от города Пфорцхайм. Жизнь в богатом и благополучном Баден-Вюртемберге, недалеко от Штутгарта, Баден-Бадена и Страсбурга была помягче, чем в Саксонии, находившейся после Объединения Германии в состоянии перманентного раздрая. Жена взяла себя в руки, победила депрессию, сняла хорошую квартиру в многоквартирном доме. Нашла плохую работу. Помучилась и нашла работу хорошую. Стала тем, кем была и в Москве — программистом. А потом нашла себе нового мужа, с которым до сих пор живет. А я остался один в городе К. Эмиграция как будто началась с начала. Ужас сгустился.

Еще до отъезда жены, в декабре 1992 в городе К., в галерее «Кунстхютте» открылась, затянувшаяся месяца на три, моя

первая персональная выставка в Германии. Называлась она весьма претенциозно — «Мистические конструкты». Так назвал ее директор галереи, господин Баллерин, ставший позже моим другом. Около семидесяти графических работ. Позже я вступил в Союз художников Саксонии. Меня «узнали». Обо мне писали в местной прессе, брали интервью, даже по телевизору показывали несколько раз… все это не дало мне ничего, но тешило мое тщеславие.

Помню, шел по перрону железнодорожного вокзала в городе К. Навстречу попались две девицы лет по двадцать. Неожиданно они схватили друг друга за руки и уставились на меня. Поскорее мимо прошел. Но расслышал, как одна девица сказала другой: «Смотри, этот тип в берете… Его вчера по телевизору показывали!»

А другая ей ответила: «Ну и мрачная же у него рожа… Кого он убил?»

Первую свою постоянную работу — в «культур-клубе» я получил только в 1994-м году. Курировал там для ностальгирующих гэдээровских пенсионеров «русский проект». Делал доклады (искусство иконы, Врубель, Кандинский, Габо, Шварцман, Булгаков), устраивал выставки, концерты и «культурные вечера».

В Москву не хотел. Полюбил Саксонию. Было за что… удивительно красивая страна. Холмы, горы, замки. И жратва вкусная. Народец только немного того… подвел. Но что можно требовать от людей, переживших Первую Мировую, инфляцию, фашизм, Вторую Мировую, сорокапятилетнее советское господство… а потом вдруг «влитых» в ФРГ. Да еще и с одновременной потерей работы.

…

О городе К. я писал и не раз. И о том особенном, многогранном психозе, который получает эмигрант в награду за эмиграцию. Любой эмигрант. Но особенно — эмигрант-интроверт, эмигрант-невротик, эмигрант-художник.

Грань первая. Мне казалось, что все на меня смотрят. Смотрят с неодобрением. С осуждением. Не только чиновники в управлении по делам иностранцев или в социальной службе (эти

звери и смотрели зверем)… но и простые смертные, прохожие, покупатели в супермаркете или посетители музея. Зверем смотрели на меня и автомобили, и здания, и улицы, и Солнце и Луна, и рекламные плакаты и собаки. В их взглядах, в их белесых глазах читались презрение и угроза. Если бы я захотел это нарисовать — нарисовал бы улицы с огромными собаками вместо домов, ощерившими свои зубастые пасти с высунутыми языками на маленькую фигурку, идущую по середине улицы. Кажется, кто-то из мастеров гротескной графики уже нарисовал что-то подобное в прошлом веке. Наверное, Пауль Вебер.

Я с детства боюсь собак…

Это чувство — что все на тебя смотрят — прошло только на четвертом или пятом году эмиграции.

Грань вторая. Мне чудилось, что все окружающие слышат мои мысли. Как будто невидимые дьявольские динамики разносят их по всему свету. И тысячи, миллионы людей хохочут надо мной. Знаете, что этот тип сегодня выдал? Животики надорвете от смеха.

Грань третья. Сам себе я представлялся беззащитным, обнаженным, слабым — даже в тех ситуациях, когда было ясно, что это вовсе не так.

Грань четвертая. Когда я говорил по-немецки с немцами… мне все время казалось, что я делаю ошибки. И несу ужасную чушь. Их же ответы представлялись мне — умными и содержательными, даже если таковыми не были. Я нервничал и делал из-за этого еще больше ошибок.

О других гранях психоза эмигранта я и говорить не хочу, так они позорны. Замечу только, что с новой родиной у эмигранта начинается что-то вроде интимных отношений. И этот «секс» носит нездоровый характер, это отношения домины и раба. И домина тут не игрушечная, покупная, а реальная жестокая садистка. И раб — вовсе не мазохист-любитель, который после порции унижений и издевательств получает-таки долгожданный коитус… Нет, рабство эмигранта не вознаграждается никогда, и единственное, что может уменьшить страдания — это привычка. Не карьера на новом месте, не успех, не деньги, даже не новые женщины — только привычка.

Сейчас, после тридцати лет жизни на новой родине, я к ней привык. Но она до сих пор то и дело маленькими хлесткими ударами и уколами напоминает мне о моем истинном положении и конца этому не будет.

…

Никогда не думайте, что вы заведомо — хоть в чем-то лучше, талантливее, глубже других людей. Так думают только недалекие люди.

В мои первые годы в городе К. я вообразил себе, что я в нем — лучший художник. Долго-долго я, втайне от всех, наслаждался этой сомнительной мыслишкой. Посмеивался саркастически. И мой сарказм согревал мою одинокую глупую душу…

Потом, помнится, забрел на выставку художницы Р, затем на выставку графика Т… и мне, скрепя сердце, пришлось признать, что эти артисты (несколько позже в этот список вошли и другие художники) не только очевидно лучше меня технически, но и «продвинутее» меня в том, в чем я себя считал особенно продвинутым, в — спонтанном развитии формы, приводящем к появлению на листе бумаги или на холсте метафизических миров, не только достаточно внутренне богатых, насыщенных и разнообразных, чтобы соперничать с нашим реальным миром, но и годных для того, чтобы принять нас, стать для нас местом обитания, убежищем…

Честно говоря, это открытие не расстроило меня. Наоборот — оно придало мне надежду. Если не я, то другие. И еще и значительно лучше меня.

Главное, эти миры, миры о которых я мечтал еще в детстве — существуют. И тянет в них не только меня, но и совершенно чуждых мне людей, людей чужой культуры.

Ладно, говорил я себе, немецкие мастера графики это действительно мастера… но ты, ты лучше всех можешь интерпретировать их работы.

Как видите, мои амбиции, как катящийся по изогнутой поверхности шарик, замирающий в нижней точке, нашли таки себе нишу. Я опять начал саркастически похохатывать. Да, мол, рисуете вы, не все конечно, но некоторые из вас, пожалуй иногда и

лучше меня… но понять и объяснить ваши работы, подарить им жизнь, я, чужак и пришелец, могу лучше, чем ваши эксперты и чем вы сами. Вашу искусствоведческую мудрость я уже освоил, но у меня есть еще и другой опыт, совсем другой… и вместе они делают меня сильнее и глубже вас.

Жизнь не сразу, но и тут, и на этом поле, доказала мне мою неправоту. Случилось это так. Мои новые друзья-художники посоветовали мне, почему-то злорадно посмеиваясь, — показать мои работы коллекционеру и искусствоведу, господину Грегору Б. Он, мол, знаток восточного искусства, возможно увидит в них то, что мы, дубинноголовые простецы, не видим.

Мне дали номер телефона, и я по нему позвонил не без внутренней дрожи — говорить по телефону, если ты неважно знаешь язык — особенно трудно. Можно запросто свалять дурака. После моих первых неловких попыток, объяснить по-немецки, кто я такой и чего я хочу, низкий голос в трубке вдруг спросил меня по-русски, почти без акцента: «Вы русский художник? Хотите зайти ко мне и показать свои рисунки? Приходите завтра в семь часов вечера. Улица… Дом номер… Вы где живете? Бланкенауерштрассе 8? Мои апартаменты в пяти минутах ходьбы от вас. Выходите на бульвар, первая улица налево. Там легко найдете».

На следующий день я отправился к Б.

Несмотря на ноябрьский туман, быстро отыскал его квартиру, в большом старом доме постройки начала двадцатого века. Дверь показалась мне огромной, она была явно выше и шире обыкновенной двери и как-то особенно укреплена… уже через несколько минут я понял, зачем и почему.

Грегор Б. оказался маленьким, уютным человеком с большим толстым носом, в прямоугольных очках. С брюшком. И с ужасными бакенбардами девятнадцатого века. Он расцеловал меня в прихожей (как-то слишком рьяно), пахнул на меня при этом алкоголем и дорогим одеколоном и препроводил в большую комнату с темными стенами. Одна из них была украшена маняще поблескивающими золотом старыми русскими иконами.

Три другие стены этой комнаты тоже не пустовали. На них висели работы художников русского авангарда двадцатых и тридцатых годов. Узнал по стилю Малевича, Лисицкого, Татлина, Гончарову, Ларионова…

Не удержался, спросил: «Откуда у вас такие сокровища? Настоящий Татлин?»

Господин Б. ответил по-немецки (иногда он замечал, что я не понимаю, и переходил на русский, которым владел в совершенстве): Конечно настоящий. Контррельеф. В вашей прекрасной стране произведения авангардистов долгое время не ценили. Все работы, которые вы тут видите, я приобрел в провинциальной России в начале шестидесятых годов за копейки. Вывезти их мне помогли влиятельные друзья из вашей номенклатуры, недоумевающие, зачем это мне понадобились этот «хлам» и эта «мазня». Тогда же я буквально спас от уничтожения и эти иконы, их у вас во времена Хрущева сжигали тысячами, содрав оклады на переплавку…

— А Ларионова и Гончарову в Париже купили?

Да, картину Гончаровой я приобрел у небезызвестной Томилиной, а тот холст, который вы приняли за работу Ларионова, я выменял. Отдал владельцу не очень дорогую китайскую вазу.

— А китайские вазы где приобрели? Хотя понятно, во времена «культурной революции» их, говорят, хунвейбины кололи как орехи.

Именно так. Но мне, как тогдашнему официальному представителю закупочной комиссии ГДР разрешили приобрести по льготной цене и вывезти. Хотите, пойдем посмотрим мою коллекцию фарфора и керамики в другой комнате?

— Нет. Прошу вас, позвольте мне эту комнату вначале переварить. Я не ожидал увидеть тут, в этом темном городе такое чудо… я ведь тоже иконы писал.

— Хорошо, тогда для начала выпьем винца. Монтепульчано. Бордовое. Мне недавно прислали целый ящик из Италии. Друзья.

В комнату неожиданно вошел «прекрасный юноша» в полупрозрачной шелковой рубахе навыпуск и в шелковых же шароварах. На ногах его посверкивали украшенные цветными стекляшками полусапожки. На голове его я заметил небольшую позолоченную корону. В руках он держал поднос с бутылкой вина, двумя синими рюмками и небольшим блюдом с хрустя-

щими хлебцами. Юноша поставил поднос на стол, кивнул и грациозно удалился. Я заметил, что его лицо было загримировано под женщину, губы напомажены. Посмотрел вопросительно на хозяина дома.

— Это один из моих мальчиков, Гитон. Он помогает по хозяйству и ухаживает за оранжереей. Хотите посмотреть мою оранжерею?

— Спасибо, может быть в другой раз. Я хотел бы показать вам мои рисунки.

— Ах, да, какой я забывчивый. Разумеется. Давайте вначале выпьем по бокальчику, закусим, а затем посмотрим, что вы там нарисовали…

Выпили и закусили.

Чертово вино тут же ударило мне в голову. Хлебцы имели какой-то странный привкус. Имбирь?

Почему-то почувствовал себя заторможенным и поглупевшим. Этот голубой дядя явно лучше меня разбирался в искусстве. Лучше понимал жизнь. Сейчас я раскрою свою папку, а он начнет смеяться и сочувственно хлопать меня по плечу.

Господин Б. спокойно пролистал мои рисунки. Кивал головой. Не хвалил, не ругал, вообще не комментировал.

Но о горе, горе!

Невольно смотря на мои заветные работы его глазами, я и сам все увидел, все понял. Все туманы развеялись сами, все маски упали.

Я увидел печальную правду. Рисунки были слабыми. Слабыми! Неумелыми попытками изобразить то… То, что не имеет формы. Не может ее иметь. Жалкие попытки дилетанта приблизиться к непостижимому.

Как бы вторя моим мыслям, Б. пробурчал: «Не обижайтесь, господин Ш. Но единственное, что тут достойно похвалы, так это ваша дерзость… Сами знаете, что вы хотели… на что замахнулись. Ну и срезались. Естественно. Нахрапом Небесный Иерусалим не завоевать. Посмотрите на ваши иконы. Сколько труда, терпения, смирения, и сколько таланта! Не хотите ли еще винца?»

Я ушел от господина Б. через три часа. Полный новых впечатлений и нового знания о мире и о самом себе.

Подобное озарение произошло со мной два раза в жизни. Первый раз — в Москве конца семидесятых, в квартире знаменитого мистика-иерата Михаила Шварцмана. Второй — в туманном саксонском городе К., в домашней галерее коллекционера Грегора Б. Трудно себе представить более непохожих друг на друга людей. Однако оба они сбили с меня спесь, прочистили мозги и подтолкнули вперед. Вперед в моем случае, не означало наверх, скорее — немного вниз.

Господин Б. показал мне таки свою коллекцию фарфора, и японские гравюры, и китайские рисунки тушью, и множество изящных вещичек эпохи югендстиля, и многое другое. Сопровождал эту экскурсию короткими, точно бьющими в цель комментариями. И эти его реплики дали мне больше, чем десятки многословных и нудных искусствоведческих книг, которые я к тому времени прочитал.

Надо было мне тогда перестать рисовать. Но я был упрям как вол. Что ж, былого не воротишь. Я сменил стиль с «возвышенного» на «низменный». И рисовал еще несколько лет, пока окончательно не забросил художества.

Позже я узнал, что господин Б. был много лет информатором ШТАЗИ. И что именно поэтому ему и позволили, и помогли собрать огромную уникальную коллекцию, которую он, впрочем, пожертвовал позже различным музеям.

Но мне на это наплевать.

МНИМОСТИ ШЕСТКОВА

Беседа Игоря Шесткова с Иваном Толстым

Программа Радио Свобода «Мифы и репутации»

Авторизированная запись

Иван Толстой: В прошлом году я открыл для себя берлинского прозаика Игоря Шесткова и прочел несколько его книг, выпущенных издательством «Epubli». Шестков печатается много, его рассказы вышли и в антологии эмигрантской литературы, выпущенной недавно во Франкфурте-на-Майне, и отдельными книгами, а в начале 2020-го года появились одновременно в Киеве и Петербурге. Прежде, чем дать слово самому писателю, я скажу несколько слов о своем впечатлении. Игорь Шестков — сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого, но будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до «гибели всерьез», но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению. Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто — мнимыми. Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков — весь XX век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт.

Игорь, пока книга о вашей жизни еще не вышла в серии «Жизнь замечательных людей», расскажите нам, пожалуйста, о себе. Как вы стали писателем, когда это произошло?

Игорь Шестков: Писателем я стал от скуки в 2003 или в 2004 году в Берлине. Точно не помню.

Иван Толстой: Как вы оказались в Берлине? Что вас туда, русскоязычного человека, привело и откуда вы приехали?

Игорь Шестков: Я приехал из Москвы в 1990 году в Германию. Мне было тяжко в России этого времени, мне хотелось увести дочку и жену из этой страны. По капризу каких-то высших существ я попал в Саксонию, в город К., как я его называю, в Хемниц. Там пришлось прожить почти тринадцать лет, у меня просто не было физической возможности оттуда уехать. Я там рисовал, работал, устраивал выставки. Жизнь там была очень странной, невозможно это описать. После Москвы попасть в бывшую ГДР, да еще в такое экзотическое место — вокруг горы, замки, а внутри одни фабрики. Это было трудно. В 2003 году у меня появилась первая физическая возможность оттуда уехать, переехать в Берлин. Я это сделал, и неожиданно понял, что в Саксонии было не так уж плохо.

Иван Толстой: Тогда давайте поговорим о том, что было плохо в Москве. Кто вы по своим корням? Кто ваша семья? Чем вы занимались в России и сколько лет в России прожили?

Игорь Шестков: В России я родился и прожил тридцать четыре года. Моя семья — это ученые мерзлотоведы. Папа умер в геологической экспедиции МГУ в 1962 году, он был ее начальником. Утонул в горной реке. Покойная мама тоже работала в МГУ, и тоже была мерзлотоведом. Этим же занимался и мой отчим Юрий Шур, которого я очень люблю, который до сих пор профессорствует, теперь уже на Аляске.

А в России… Вы сами знаете, что такое Россия. Это не была Россия, это был Советский Союз. Мне не нравилось там жить. Хотя я учился в прекрасной школе математической, в знаменитой 2-й, за универмагом «Москва», а потом закончил мехмат МГУ, но чувствовал я себя в СССР как-то неуютно. То, что там происходило, приводило меня в ужас, я плакал по ночам. От бессилия. Потом началась перестройка и я надеялся, как и все остальные люди, что все сдвинется в хорошую сторону. Я участвовал в этих огромных демонстрациях 89-го и 90-го годов, видел много прекрасных лиц, которых раньше не замечал в Москве. Но в сентябре

1990-го года мне показалось, что Горбачев поправел, а московская атмосфера стала предпогромной. Я уже не говорю о том, что невозможно было хлеб купить, нужно было стоять часами в очереди. И я решил уехать.

Сам я проработал десять лет после университета в научно-исследовательском институте, это было мучительное и неприятное занятие. Для сердца, для души я был художником, участвовал в неофициальных выставках Горкома графиков на Малой Грузинской улице в Москве. А потом, когда уже приехал в Германию, я тоже был художником, тоже участвовал в выставках и устраивал свои собственные выставки. Годах в 2000–2001 до меня наконец дошло, что то, что для меня все еще является искусством, для Запада — прошедший этап, что искусство переместилось в какое-то новое пространство, и это пространство инсталляций, перформансов и подобных вещей мне неприятно. Враждебно даже. А то, что я любил, — Дюрер, Кранах, Босх, Гойя, Новая предметность 20-го века, сюрреализм, — все это стало для людей чужим. И еще я понял: то, что я рисую, тоже стало чужим и публике и критикам. Хуже того — всегда было чужим, старомодным, провинциальным. Когда я приехал в Берлин, я оказался между небом и землей. Работу найти сразу не смог, рисовать дальше было бессмысленно, я впервые в жизни заскучал… и начал писать по-русски. Я уже отказался от русского языка к тому времени, я его стал забывать, а тут пришлось вспоминать, пришлось опять читать и писать по-русски. Ну, что ж, такая странная судьба.

Иван Толстой: Игорь, вы употребили слово «пространство» применительно к занятиям живописью. Но я должен сказать, что как человека, который прочитал очень много вашей прозы, и не только прочитал, но прочитал ее для записи (то есть постарался смоделировать голосом те вещи, те интонации, тот мир, который, мне кажется, важно представить слушателю как можно достовернее или точнее, как можно достовернее с моей точки зрения, то есть внести свою субъективность в вашу субъективность), так вот, слово «пространство» мне кажется и для писателя Игоря Шесткова чрезвычайно важно. Вообще, от некоторых ваших рассказиков создается ощущение такого «посещения музея», употребляя название Владимира Набокова, где герой, я напомню нашим

слушателям, заходит в какой-то провинциальный французский музей и, в результате блуждания по нему, даже какого-то стремительного хождения, поисков чего-то, он выходит в Россию, оказывается в реальной России. И его проблема, его ужас — как вернуться назад, в свободную Европу. В результате рассказчик, по его словам, выбирается, иначе бы он этот рассказ не написал (как уж это происходит, он карты не раскрывает). В ваших рассказах очень часто эта фантасмагория с пространством присутствует, и эта фантасмагория придает и сюжетности, и очарования этой прозе. Читателя захватывает этот мир фантасмагории, мир чудес, ужаса, испытания, инициации. Это одновременно и просто сюжетная, детективная или сюрреалистическая проза, и книги путешествий, это очередная одиссея героя, которая почти в каждом рассказе нам представлена. Вот я и хотел поговорить об этом пространстве, которое так держит вас из книги в книгу, из рассказа в рассказ. Как вы, как человек Игорь Шестков, не как писатель, ощущаете Россию сегодня и сегодняшнюю Германию, в каких они находятся взаимоотношениях? Есть ли то средостение, есть ли та пуповина, которая связывает две страны или пуповина одновременно и разделяет? Как вообще вы ощущаете эти два мира, путешествуете ли вы в Россию, видите ли вы себя в Германии дома, что происходит с вами как с посетителем музея?

Игорь Шестков: Видите ли, Иван, вы задали мне сейчас столько вопросов, что надо написать две или три книги, чтобы на них ответить. Я кратко попытаюсь ответить вначале о пространствах, а потом о России и Германии.

В России я жил двойной жизнью. Я работал, ходил в магазин… общался как и все мы с родиной. А когда я вечером начинал рисовать, я пытался уйти в метафизический мир, который уже строился по другим законам, который был построен так, как я этого бы хотел. Это не была мечта, это был мир-компенсатор. Вот из таких миров-компенсаторов и произошли мои графические работы того времени. Это была такая фантомная реальность, реальность не совсем хорошая, не совсем плотная, потому что она была местом бегства, я там скрывался, это была моя пещера, в этой пещере я жил. Как известно у подобных людей, у эремитов-мистиков, которые живут в пещере, возникают видения. Вот эти

видения, которые возникали тогда, я уже тогда пытался или нарисовать, или описать в тексте. Но у меня это не получалось. Это — относительно метафизических пространств. Повторю, это были миры-компенсаторы, место, куда я убегал, моя собственная монада, довольно экзотичная. Строил я ее с помощью Макса Эрнста, Иеронима Босха, Брейгеля, Пауля Клее и так далее. То есть я использовал этот мировой культурный материал для постройки своих миров и скрывался в них от реальности совдепии.

Когда я начал писать в 2003 году, этот особый, пещерный опыт, опыт скрывающегося человека, выстроившего индивидуальную вселенную, мне очень пригодился. Ведь мы же не Бунины и не Набоковы, у нас, авторов-эмигрантов из бывшего СССР, за душой-то почти ничего нет. Нет особняков, имений, нет «темных аллей», нет парижей и ривьер, ни черта нет, только ядовитая совковость и наши пещеры, в которых мы что-то изобрели или увидели. А что у нас было? Гнилая капуста на грязном полу продмага, матерщина в ночи, убогий секс на картошке, брежневская челюсть в телевизоре. Помните, у Бродского: «В этой комнате пахло тряпьём и сырой водой». Вот это «тряпье» мы и перерабатываем, и воспроизводим каждый на свой лад. Весь соцарт — это декалькомания Совка. «Москва-Петушки» это тоже оттиск совка. А вот мне уже не хотелось оттискивать совок, когда я начал писать, мне хотелось оттискивать те метафизические события, те метаморфозы, которых я был свидетелем в своей второй, странной, параллельной к первой, советской жизни. Это то, что касается пространств, миров и прочего.

А вот Германия и Россия — тут очень сложно. Мне очень тяжело оперировать такими глобальными категориями. Я думаю по-русски, а иногда по-немецки, я пишу по-русски, все мои попытки писать по-немецки, к сожалению, провалились, я понял, что я не языковой гений, не Конрад или Елена Бальзамо. Были еще несколько знаменитых примеров людей, которые писали на новом, выученном языке, я на это не способен. Поэтому я остался русским человеком, человеком русской культуры, который воспринял, не так как Набоков, без этого высокомерия, а, наоборот, с необыкновенной радостью воспринял музеи Германии, Нью-Йорка, Италии… различные Стамбулы, Иерусалимы, Прадо и Лувр, и вообще все, что западный мир дает. Я просто с открытым

ртом бегал из одного музея в другой, гулял по улицам западных городов, и совершено у меня не было страха заблудиться и выйти в Ленинграде. А вышел бы я в Ленинграде, я бы пожалуй не стал бороться за выезд, а пошел бы и нашел Хармса, который сидел там «в советском плену» и писал великолепно, на мой взгляд, лучше Набокова. Понимаю, какую вызову ярость у многих поклонников Набокова. Хармс, этот злой, этот озлобленный человек Совдепии писал великолепным русским языком и писал очень хорошо. И понимал Россию и русского человека глубже кого бы то ни было. То есть, не стоило так уж бояться того, куда он вышел из этого музея. Вот примерно так я бы это сформулировал.

Я не буду говорить о России современной, я страдаю, когда получаю новости из России. Мне мучительно слушать о том, что там происходит. Да, для меня это настоящее мучение. Я колеблюсь от злобы к сочувствию, и не могу найти никакой середины. Мне хотелось бы, чтобы Россия стала прекрасной современной демократической страной. А с другой стороны, я отлично понимаю, что это невозможно.

А Германия? Германия меня приняла. Я благодарен ей за это. Германия вовсе не хотела, чтобы я сюда приезжал, но я приехал, привез жену и дочку, потом родилась еще одна дочка, дочки получили тут хорошее образование… у меня уже три внучки. То есть идет какая-то своя германская жизнь, мои внучки по-русски не говорят, и я не страдаю от того, что они мои книги никогда не прочтут. Может быть, это даже и хорошо.

Иван Толстой: Игорь, ваши книги сформированы таким художественным миром зла, всеми его оттенками. А добро? А счастливая любовь? А дети, животные, шум листвы, простите за высокопарность?

Игорь Шестков: Читатели действительно часто упрекают меня в том, что в моих рассказах много секса, насилия… тьма и общая атмосфера тяжёлая, давящая. Я слышал этот упрек не один раз и долго вырабатывал ответ на него. Ответ примерно такой. Понимаете, главный закон фикшн-литературы это то, что в художественном тексте, как, например, в лубке, почти всегда все наоборот, все вывернуто наизнанку. И время, и реальность, и сами

люди. Ведь литературный герой на самом деле не имеет ничего общего с обычным человеком. Обычный человек в тысячу раз более сложное существо, чем литературный герой. Он сочный, а литературный герой состоит из буковок. Литературный ландшафт тоже не похож на ландшафт реальный. Это не просто декорация, это описание декорации. Вся эта вывернутость наизнанку для того создается писателем, чтобы обычная жизнь после чтения воспринималась легче и интереснее, чтобы ее можно было вынести. Мозг во время сна очищает материальные и нематериальные шлаки, скапливающиеся в организме, отсюда и кошмары. Что-то подобное делает и писатель, по крайней мере, писатель моего плана, а помогает ему в этом весь гигантский арсенал гипербол, героев и сюжетов, этого литературного мыла. Говоря математически, воспроизводимый мной в тексте мир заведомо не положительный, но и не отрицательный, а скорее мнимый, не реальный.

Корни нашей с виду обычной жизни в мнимой области находятся, дубовым реализмом их уже не достать. Правильный, но немножко скучноватый мир Льва Толстого исчез, а, может быть, никогда и не существовал, просто людям было приятно верить в эту иллюзию. Мнимость, небытие стучит костлявым пальцем в окно нашей спальни. Многие погрузились в депрессию, удручены, раздражены. 21-й век, наш век, это вообще век раздражения, потому что что-то пошло не так, произошла глобальная подмена.

Кстати, в моих рассказах есть и любовь. Помните: «Кто сказал, что на свете… Да отрежут лгуну его гнусный язык!»

Есть и любовь, есть и природа, есть и свет, просто надо это увидеть на фоне метафизической тьмы, и тогда маленькие проблески света, которые у меня встречаются… Мне самому они греют душу. Но, если это не происходит у читателя, тут уж я ничего сделать не могу. Каждому свое. Любят люди Стивена Кинга, например, хотя там один кошмар, вампиры и другие кошмарные сущности, тем не менее, любят его, а потом, после чтения, пьют кофе, едят печенье и с удовольствием занимаются любовью с женой и птичек слушают на природе. Что может быть лучше?

Иван Толстой: Нет, мой вопрос, конечно, был немного лукавым, потому что и любовь, и природа, все это, разумеется, есть в ваших книгах, и после их чтения не остается тяжелого ощущения

на душе, потому что все это сплетается, испаряется и висит над вашими книгами в качестве такого облачка, в виде иронии, самоиронии, абсолютной условности, которая как результирующая оказывается в воспоминаниях о вашей прозе. Так что все это, безусловно, есть. Я не хочу ваших слушателей слишком уж пугать. Игорь Шестков писатель очень ироничный, и у него, разумеется, свой инструментарий для этого.

Давайте поговорим о тех двух дуплетах, которыми вы отметились в начале этого года. И в Петербурге, и в Киеве, в двух культурных столицах, вышли ваши двухтомники. Расскажите, пожалуйста, что их составило, чем они отличаются, ну и, разумеется, о тех издательствах, которые их выпустили.

Игорь Шестков: Я неожиданно, еще до того, как этот коронавирус приехал в Китай и Европу, получил предложение издать по две книги — в Киеве для украинских читателей и в Санкт-Петербурге для читателей из России. У меня довольно много материала и я с удовольствием и сразу предоставил в издательства мои рассказы. В результате, в Киеве (в издательстве «Каяла») вышли в феврале 2020 года книги с символическим названиями — «Ужас на заброшенной фабрике» и «Покажи мне дорогу в ад». Я надеюсь, что люди, прочтя такие названия, не мрачнеют, а улыбаются. Чисто технически в этих книгах около ста текстов и около тысячи страниц, оба названия имеют подзаголовок «Страшные рассказы». Это вовсе не означает, что эти тексты написаны в жанре хоррор. Моя проза, я надеюсь, иронична и самоиронична, эротична, полна гротеска и сюрреализма.

Почему же все-таки «страшные рассказы»? Потому что главная, сквозная тема этих рассказов, их главное настроение — все-таки страх. Страх, нервозность, усилившееся в последние годы ощущение тревоги, дурное предчувствие. Не только страх перед одиночеством, болезнями, смертью, перед неотвратимо надвигающимися на нас природными и социальными катаклизмами, войнами, но и страх перед самим собой, перед ближними и далекими, страх перед бытием, страх быть человеком, экзистенциальный страх, вытеснивший потихоньку экзистенциальную тошноту. Страх, превращающий нас в тривиальные существа.

В санкт-петербургском издательстве «Алетейя» в феврале 2020 года вышли две книги — «Фабрика ужаса» и «Покажи мне дорогу в ад». «Фабрика ужаса» — это в точности та же книга, что и «Ужас на заброшенной фабрике». Директор издательства попросил меня назвать ее «Фабрикой ужаса», и я согласился, ему виднее. А книга «Покажи мне дорогу в ад» немножко сокращена по сравнению с книгой в Киеве, потому что я понимаю, что есть некоторые правила игры, которые мне не хотелось нарушать. В России сейчас не все можно печатать, и большую антиутопию «Вторжение» я выкинул из книги. И несколько рассказов.

Иван Толстой: Есть ли у вас опыт обратной реакции читательской, обратной связи?

Получаете ли вы какие-то письма, участвуете ли в каких-то конференциях, в круглых столах, в дискуссиях? Вы упомянули, что ваши читатели не всегда адекватно понимают ваши писательские интенции, и все-таки, что теперь говорит ваш более чем пятнадцатилетний писательский опыт?

Игорь Шестков: Я человек интровертный, для меня самая большая радость это не печатание книг, известность, которой у меня очень мало, не деньги, которых у меня совсем немного, а именно сами тексты. Для меня главной радостью является не бумага, не книга, а именно текст. В этой «машине жизни» я могу жить, я могу что-то себе представлять… и оно осуществляется. Текст как-то особо влияет на мою жизнь, и не только на мою. Эта игра с буковками, с героями, которых я стараюсь не насиловать, а позволяю им действовать и говорить самим, вот эта игра для меня главная.

У меня нет никакого круга почитателей или круга читателей. Я уверен, что очень мало людей, которые сейчас слушают радио, знают мое имя. Ну, что ж, такая судьба, я с этим не борюсь. Дело в том, что эмигрант может печататься только в эмиграции, крайне редко удается напечатать что-то в России. Все-таки за свободу текста надо платить. В России нельзя сейчас писать текст, не думая о политической на него реакции. Где-нибудь ты проговоришься, где-нибудь все-таки скажешь что-то не то о «клике», о «хунте» или о президенте, не дай бог. И все. Это озна-

чает, что ты напечатать ничего не можешь. Поэтому я печатался до сих пор только в эмигрантских изданиях, в нескольких нью-йоркских изданиях, мои книги печатал Сергей Юрьенен в Нью-Йорке, и во Франкфурте на Майне у Владимира Батшева, в его журналах «Литературный европеец» и «Мосты». Все эти издания имеют очень небольшой круг читателей. Какие уж тут «конференции» и «круглые столы».

Разумеется, кто-то мне что-то в интернете пишет, иногда меня хвалят, иногда ругают, как всегда, но настоящей литературной или окололитературной жизни я не веду просто потому, что в этом нет никакого для меня смысла, это мне не поможет. И к тому же я человек не общественный, а домашний, и люблю сами тексты больше, чем разговоры о текстах и писательстве. Один раз, впрочем, моя книга, первая книга, напечатанная в издательстве «Алетейя» в 2009 году, «Вакханалия», вошла в длинный список литературной премии «Нос». Значит, кто-то ее прочитал, может быть, один или два редактора этой премии. А потом… в этой премии такое правило, что уже читатель начинает высказывать свое мнение и голосовать. Но поскольку меня никто в России не читал, за меня не проголосовали, и я остался с длинным носом.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «НЕЛЮДЬ»

Писать предисловия я не умею. Да и смысла в них не вижу, потому что их обычно пропускают. Но отказать редактору настоящего сборника ВБ-у, попросившему меня написать предисловие, я не в силах. Поэтому я решил кратко представить тексты, опубликованные в сборнике, потом записать те немногие соображения, которые у меня возникли после прочтения «Нелюдя», смешать это все в один ком и выдать его за «предисловие».

…

В позднем рассказе знаменитого эмигранта-миллионера Владимира Пименовича Крымова, названном весьма претенциозно «Анатас», речь идет о злоключениях пожилого эмигранта, парижанина, Исайя Ильича Ипорукоположенского, бывшего чиновника при обер-прокуроре святейшего синода, действительного статского советника. Принявшего во Франции фамилию «Труази» для облегчения произношения своего имени европейцами.

«Анатас» — это имя его приятеля еще по дореволюционной России, с которым «они встретились в эмиграции, в Париже, через много лет, почти как старые друзья». Загадочный этот богач-биржевик Анатас (полное его имя Ираклий Астартович Анатас), является, похоже, *альтер эго* автора. Может быть, поэтому мы так мало узнаем о нем из текста Крымова. Подробно написано только о том, кому Анатас давал взаймы деньги, а кому нет.

В какой-то момент Анатас исчезает, дом его, «в окрестностях Парижа, на берегу Сены» стоит пустой, двери заперты. Исай Ильич недоумевает «как это после таких дружеских отношений можно куда-то уехать, не простившись, и не дать о себе знать».

«Так прошло два года или больше».

А потом… Исай Ильич вдруг получает от Анатаса письмо «пневматик», приглашение «на бридж».

Встретил его «лакей или камердинер с рыжими с проседью бакенбардами… в чем-то вроде смокинга с какими-то блестящими нашивками». Исай Ильич вспоминает, что лакей этот умер, и он даже давал когда-то деньги «на венок», о чем и сообщает лакею. Тот подтверждает: «Так точно, венок был получен с благодарностью».

Непонятно откуда взявшийся Анатас проводил гостя в большую комнату. Предложил поиграть за него и вышел. И из комнаты и из текста.

«За ломберным столом, затянутым голубым сукном… с четырьмя большими восковыми свечами в подсвечниках с розетками, сидели трое партнеров».

Как выяснилось, один из них был студентом, Дмитрием Бегичевым, с которым Исай Ильич жил в студенческую пору в одной комнате.

«На последнем курсе университета Бегичев застрелился».

Исай Ильич был на его похоронах… И «ясно вспомнил, был такой мрачный осенний день, слякоть»… и он «простудился тогда, стоя у могилы с непокрытой головой и без кашне».

Другой, «пожилой мужчина с седой бородой», Петр Семенович Захаров, бывший революционер-бомбист, даже служил в синоде, куда его устроил в свое время Исай Ильич. «В девятнадцатом году был расстрелян большевиками».

Третий игрок, в генеральском мундире военного инженера, сказал Исайю Ильичу: «Сколько раз мы завтракали с вами у Кюба на Морской и не я ли вам тогда говорил в июле четырнадцатого года, что война неизбежна, а вы сдуру не послушались, уехали в отпуск и потом не могли вернуться в Петербург несколько месяцев. Это вы дурака ломаете, как будто не понимаете, что все мы покойники и что вы тоже умерли три дня назад и сегодня утром вас хоронят на монпарнасском кладбище…»

В панике покидает Исай Ильич дом Анатаса… едет на кладбище… устраивает там дикую сцену… пытается разбить киркой крышку гроба… попадает в полицию… откуда его — и вполне за-

служенно — препровождают в дом умалишенных Сент-Анн, где он проводит три месяца. По выходе он «рассказывает всем о том странном и непонятном, что с ним случилось».

Что произошло дальше, читатель сам узнает, если прочтет текст Крымова.

Замечу только, что автор как-то подозрительно быстро теряет и этого героя (Исайя Ильича) и заканчивает свое повествование длинным-предлинным диалогом непонятно зачем вынырнувшего в тексте врача-психиатра и некой Саввишны, вдовы священника, женщины без социального положения, шьющей для православных покойников шелковые или шерстяные туфли разного цвета, слывущей за ясновидящую.

Несмотря на то, что литературные критики страшно ругали Крымова-писателя (хотя и почитали за честь быть приглашенными на его обеды и лопать там отменные деликатесы), этот небольшой рассказ подтверждает то, что написал о нем Кирилл Дмитриевич Померанцев, хорошо его знавший, — Крымов действительно был замечательным рассказчиком. Добавим от себя, не омрачненным никакими литературными амбициями. «Анатас» — это не художественное произведение, а вечерняя сказка-страшилка, рассказанная много пережившим, почти ослепшим денежным дедушкой. И ожившие покойники тут появляются потому — как говорила Саввишна о Боге и чертях — «что жить лучше, когда в это веришь, не так пусто и одиноко на земле».

…

В мастерски написанном рассказе Александра Урусова «Товарищ Комаров» описывается странное гибридное существо. Вроде бы оно — Председатель Госкомитета (какого — не важно) тов. Комаров, совчел, чиновник, начальник. Имеет заместителей, секретаршу, большой штат сотрудников и персональную «Чайку» с шофером. И в то же время оно не человек, не начальник, а нечто «скользящее», метафизический комар, или «окрыленный кровососущий гнус». И существует это создание параллельно в двух мирах — в хорошо нам знакомой, реальной до дрожи Совдепии и в другом, ужасном мире.

В этом, втором мире Комаров выглядит так: «к маленькому кругловатому тельцу с четырьмя худенькими конечностями сверху была приставлена, как бы совершенно не к месту голова, из нее торчали красноватые ушки, а черты лица, сморщиваясь к центру, оставляли особняком выразительно выступающий вперед подвижный рот». Что-то мультипликационное, плоское, лишенное глубины…

Текст Урусова — это день Комарова. Начинается он с поездки героя на «Чайке» с дачи в Москву, в Госкомитет.

«Они уже мчались по шоссе; верхушки сосен вдруг вырастали в ветровом стекле на фоне пустого ноябрьского неба и также неожиданно исчезали; город приближался, — вместо сосен стали появляться верхние этажи многоэтажных башен, — Комаров подступающей тошнотой чувствовал приближение городского хаоса». Браво!

В то же время, в параллельной вселенной, в настоящем обиталище Комарова происходит нечто другое — «какие-то посторонние силы тащили его … в холодный… мир, похожий на склеп с низкими ноябрьскими сводами».

Комаров входит в «подъезд для избранных»…

Далее автор так красочно описывает абсурдные бюрократические ритуалы, круговорот бумаг, безделье, подхалимаж и прочие прелести… что читатель солидаризируется с героем рассказа — он как и Комаров не хочет ни с кем встречаться в этом мертвом советском доме.

После небольшой потасовки с вахтером, Комаров овладевает ключом от двери в общий коридор, через который он хочет пройти к пожарной лестнице. Все это только для того, чтобы ни с кем не встретиться. Он знает, что чиновникам в это время выходить в общий коридор строжайше запрещено.

Но тут происходит непредвиденное. «Странный звук, доносившийся из-за двери какого-то кабинета… его испугал — слышался стрекот пишущей машинки, но казалось, что по клавишам немилосердно лупили не пальцами, но крыльями». Понятно, комар боится птиц.

«С тихим стоном бросился он к уборной…»

Неожиданно происходит встреча начальника и подчиненного: «Отшатнувшись от писсуара, побелев лицом, похожий на некое выделенное стеной кафельное изваяние, перед ним покачивался какой-то человечишка, видимо служащий первого этажа».

«Комаров … стремглав устремился в кабинку и закрыл за собой в дверь».

Тут новая напасть — надписи на стенах. Одна из них раскрывает страшную тайну этого рассказа: «Комаров — кровопиец. Кровавый гнус. Вампир».

Все следующие сцены, особенно описание состояния Комарова непосредственно перед тем, как он «вошел хоботком в самую плоть живого тела» — написаны мастерски и вызывают заслуженные ужас и омерзение. Те самые чувства, которые пробуждали советские начальники в нормальных людях.

«Комаров... голый проходит в ванную и долго стоит под холодным душем. По коже его пробегают волны озноба, она деревенеет, покрывается гусиными пупырышками, волдырями; он весь затвердевает, преображаясь в новое существо, и зудящее вожделение охватывает его. Начинают дрожать нетерпеливо пальцы, дрожь переходит в руки, мучительно ноет в паху — он уже выскользнул из ванной и с еле слышным гудением все быстрее и быстрее, не касаясь пола, несется по коридору, сотрясаемый конвульсиями, дергаясь всем своим новым тельцем». Урусов воспроизводит правду не традиционным прямолинейным реалистическим путем, достаточно осточертевшим и читающей публике, и самим писателям, а с помощью элементов литературы-фэнтези. Убийственный контраст свинцовой советской мерзости и изящных описаний автора — является на мой взгляд главным достижением этой прозы.

...

Написанные приятно старомодным, немного корявым, эмигрантским русским языком рассказы недавно умершего Владимира Рудинского (настоящее имя — Даниил Фёдорович Петров) — реалистичны по форме и романтичны по содержанию. Они содержат милые, наивные и симпатичные, как говорят геологи, «включения». Фантастические, мистические…

«Приключения на Корсике».

Приятель рассказчика, доктор Пьер Арнели, страстный орнитолог и энтомолог, подстрелил, сам не зная зачем, причудливо парящую над лесом летучую мышь. После чего «высокий и плотный рыжий мужчина» попросил его о помощи. Его жена потеряла много крови. Но никаких следов кровотечения не нашли. После чего рассказчик, уже один, встретил по дороге домой странного «мужчину в темном плаще». Он был ранен. Дробью. «Кожа его была холодна как лед». Кто это? Неужели вампир, которого подстрелил доктор?

«Нелюдь».

Рассказчик и отец Никанор шли домой после обильного угощения «на именинах Софьи Димитриевны». «Город выглядел пустынным и мертвым», как и положено при появлении нечистой силы, оказавшейся поэтом-декадентом, эссеистом и критиком Майдановичем, «вершителем судеб прозаиков и стихотворцев», душителем подлинных талантов. Рассказчик говорит об этом страшном человеке со своим знакомым, полицейским Ле Генном. Ле Генн сообщает ему, что «в нашей картотеке… о нем богатейший материал. Но ничего такого, за что бы можно ухватиться». Рассказчик узнает, что Майданович «сексуальный извращенец» и дает полицейскому идею, поймать злодея на живца. Полиция так и поступает и, в конце концов, освобождает в ходе ночной операции в жутком подвале «прикованную за руки и за ноги к прутьям своего ложа» белокурую девушку и разоряет гнездо сатанистов.

«Коса на камень».

Герой-рассказчик возвращается домой после кино. «Стоял густой туман, и только фонари рассеивали мглу позднего вечера». В силу особых обстоятельств рассказчик попадает в таинственную комнату, в которой обнаруживает «вылепленную из розового воска фигурку … с точностью воспроизводящую его черты». Рядом с куколкой лежала длинная вязальная спица.

«Иррациональный ужас мною овладел … мою грудь пронзила острая боль». В комнате той оказывается жила колдунья. Эмигрантка первой волны. Аристократка. Чтобы нейтрализовать ее чары, рассказчик обращается к знатоку оккультного, венгерскому эмигранту, профессору Керестели…

В этом же стиле написаны еще пять рассказов Рудинского, включенные в сборник: «Преступление в Медоне» (об убийстве из корысти), «Ночь на Монмарире» (об игре в бридж и покушении на рассказчика по политическим мотивам), «Старик со сквера» (о любви и таинственном старике, изобретшем удивительную машину, усиливающую волю), «Нырок во тьму времен» (о машине времени), «Неразъясненное происшествие» (о вампире и его жертве).

…

Свою фантасмагорию «Неизвестный пейзаж с руинами на холме» пишущий по-русски и по-французски парижанин Евгений Терновский начинает с констатации: «Этот день злорадно вылил на меня рог изобилия мелких и крупных неприятностей». «Неизвестный похититель» обокрал машину рассказчика, испортил его итальянскую машину (ее марка — первая загадка для читателя, и далеко не последняя в этом тексте). Пришлось ему пойти искать помощь пешком. Рассказчик, как и положено, натыкается на «давным-давно заброшенную усадьбу», за которой «виднелись смутные очертания руин замка или того, что называют бастидой». Употребленные автором слова — «департаментская дорога 26» и «бастида» дают читателю понять, что действие рассказа происходит на юге Франции.

«Ни ворот, ни ограды, ни места для стоянки автомобиля… Не было ни души, ни живой, ни мертвой… затейливая полустертая надпись на стене привлекла мое внимание: Усадьба ОННО» (еще одна загадка). Декорации построены, пора герою войти в таинственное строение, то ли в усадьбу, то ли в бастиду, а приключению пора начинаться. Оно и начинается. Путешествие по странному миру требует однако поводыря, который конечно не заставляет читателя слишком долго ждать: «Кряхтя, сипя и сопя, небольшое существо неизвестного пола вышло из пасти камина, сопровождаемое гулким стуком подозрительного происхождения… Трудно было вообразить более отталкивающую физиономию. Его крючковатый нос, покрытый зеленоватыми прыщами, можно было назвать сучковатым… Багровые щеки, отвислые, как у старой кобылы, почти касались ключиц. В глу-

бине глазниц умирали два зрачка. … Ко всему прочему, во рту воинственно торчал желтый клык». Знакомый образ, сбежавший с картины Босха. Он назвал себя Куассаром и повел рассказчика по усадьбе. Рассказчик и Куссар посетили: опрятный рабочий кабинет, комнату для друзей, гостиную, которую Куассар характеризовал так: «Король ливерных колбас из Ливерпуля специально приезжал с тем, чтобы сфотографировать ее. Профессор из Лейдена написал о ней диссертацию». Затем случилось что-то вроде взрыва и…

«Когда черные клубы и клоки рассеялись, я увидел необозримое пространство, освещенное нежным аметистовым светом … на расстоянии не более ста метров… множество крохотных и круглых домиков, похожих на ячейки, располагались стройными ярусами … можно было бы подумать, что все это предназначалось для любителей моделизма, если бы не многочисленные сизые и лиловые лилипуты, которые радостно протягивали к нам свои кукольные ручки и раскрывали свои кукольные рты…» Ага, хоббиты! Мило.

После небольшой лекции о четвертом измерении Куассар привел гостя в странный кинотеатр. «Несколько зрителей утопали в поту и в потоках собственных слез. Один из них брился, уставив свою заплаканную физиономию в осколок зеркальца. Крошечная пожилая дама с небольшой бородкой и с багровыми окаёмами толстых век, в черном платье, усыпанном красными горошинами, напоминала божью коровку, тогда как ее жирная соседка в коричневых джинсах и желтом поло более походила на корову. Обе сотрясались в жалобном плаче. Бледнолицый юноша рыдал навзрыд, одновременно поглощая тыквенные семена и гулко выплевывая шелуху. Плевки и рыдания чередовались с удивительной регулярностью.»

«Почему они не уходят? Спросил я Куассара. Разве фильм не закончился? Закончился. Но они об этом не знают».

Автор приготовил для своего героя еще несколько подобных сцен. Познакомил его со снежным человеком, втравил в кулачный поединок, хорошо помурыжил, а в конце вернул в обычную реальность.

Владимир Флеров представлен в сборнике тремя классическими рассказами ужасов. Написанными почти без иронии и литературных прикрас, в документальном стиле.

В тексте «Берлинская ночь» описывается происшествие, случившееся с рассказчиком в начале пятидесятых годов в Западной части Берлина.

«Дух смерти и разложения серым туманом охватывал силуэты врезающихся в небо руин … после захода солнца только бездомные бродяги, воры и агенты многочисленных разведок бродили по угрюмым улицам…» Какая идиллия!

Рассказчик ехал себе ночью по Нюрнбергской улице, как вдруг: «какая-то черная тень мелькнула в свете левой фары и исчезла перед носом моего автомобиля». Выяснилось, что он чуть было не задавил «стройную, слегка худощавую, высокую женщину, одетую в черное платье». Ожидаемо. Она назвала свое имя — Рита Рехагель. «Предложила зайти к ней на бокал старого вина». Рассказчик согласился. В ее комнате, освещенной красным светом, он неожиданно встретился глазами с пригласившей его женщиной. «В них горела безумная страсть, смешанная с холодной жестокостью. Вуаль соскользнула в сторону и между нервно вздрагивающими губами блеснули две пары, острых как у хищного зверя, клыков»… Бедняга еле ноги унес.

Действие двух других текстов Флерова происходит в оккупированной немцами Белоруссии.

В «Деревенском колдуне» дочь раскулаченного крестьянина, Марфа Ивановна, рассказывает о своем покойном муже, Амвросии, деревенском знахаре-травнике. После своей кончины он до смерти напугал жену и убил их собаку.

В «Забытом хуторе» описываются невеселые приключения деревенского гармониста, приглашенного поиграть на свадьбе мертвецов.

Оба этих текста читаются как показание свидетелей. Интересно… и жуть берет.

В рассказе Бориса Майнаева «Пурпурная мгла» речь идет о смертельно опасной для людей новой форме жизни, зародившейся в реакторах атомной станции. И еще о ее директоре

Вадиме Григорьевиче Поликарпове, его двойнике из параллельного мира, о его жене, любовнице и о его дочери. И еще — и это главное и пронзительное сквозное ощущение — о старении и смерти.

Повествование движется на двух героях-ходулях — на удивление приличных, порядочных и достойных сотрудниках «регионального управления государственной безопасности» — начальнике управления полковнике Алексее Сидоровиче Мишине и его подчиненном, тоже полковнике, Василии Игнатьевиче Ручьеве.

Директор АЭС Поликарпов приходит к Мишину в управление. Но трагически умирает в вестибюле. У него «неестественно синяя кожа и черные пятна на лице». Очевидно, он был отравлен. Вскрытие показывает, что у Поликарпова свернулась и высохла кровь. «Он был набит сухим порошком».

Мишин поручает дело Ручьеву. Ручьев посещает жену Поликарпова, «высокую, красивую женщину… В ее выразительных глазах, стремительном разлете бровей было что-то жесткое». Поликарпова сообщает следователю, что у его мужа была маленькая внебрачная дочь. Ручьев находит ее и ее мать-художницу, «худенькую женщину с огромными лучистыми глазами». Сообщает им о смерти Поликарпова. Тем временем на АЭС умирают еще девять человек, видимо для ровного десятичного счета.

У одного из знакомых Поликарпова Ручьев находит пакет с общей тетрадью и тремя конвертами для сына, дочери и жены.

В этой общей тетради Поликарпов описал загадочные и неприятные события, произошедшие на АЭС в последние два месяца, а также процитировал апокалиптические прогнозы своего двойника из параллельной вселенной…

Кончается повесть мрачно: «Туман сгустился, и теперь со стороны атомной станции на город ползла пурпурная мгла».

Рассказ написан хорошим, приятным русским языком, легко читается и захватывает с первых строк. Читатель верит в «пурпурную мглу», верит в «потоки маслянистой розоватой жидкости из стены реакторного отсека», верит в то, что зародившиеся в

радиоактивной гуще реакторов существа размножаются в телах людей, верит даже в двойника из параллельного мира, но не верит в порядочность и ум чертовых гэбистов.

…

Виталий Скуратовский. «Вечно живой».

Два приятеля, которым надоели «узбекистаны с арагвями», в поисках места, где можно уютно, «в по-приличному грязной подворотне» выпить, забрели на Красную площадь. Подкупив охранника фальшивыми стодолларовыми купюрами, они вошли в Мавзолей и расположились вокруг стеклянного саркофага.

«Эх, — сказал Петя, отправляя в рот бутерброд с колбасой. — Где мы были раньше? Такое место зря пропадало! Тут тепло, музычка бренчит и ни одного мента. Рай земной!»

За разговором… открыли саркофаг… и вылили в рот мумии Ленина полстакана водки.

«… лицо вождя порозовело. Он шумно вздохнул и внезапно открыл глаза. Мы с Петей в ужасе отпрянули».

«В-в-владимир Ильич, — наконец спросил я, заикаясь по непонятной причине — к-как в-вы с-себя ч-чувствуете? — Хогошо! — ответил он своим неповторимым говорком».

А потом…

Сатирическая эта проза на мой взгляд излишне груба. Но и фактура тут описывается конечно не шелковая. Больше всего мне понравилось то, что воскресший Ильич принял двух приятелей за приснопамятных «ходоков».

…

Николай Боков. «Смотритель моста».

Это изысканно мистический текст. Непонятно где, непонятно когда, возможно в Европе девятнадцатого, золотого века, «в погожий осенний день смотритель моста, как обычно, вышел посмотреть вдаль. Он смотрел довольно рассеянно, однако скоро внимание его привлек путешественник с мешком за плечами…»

Оказалось, это женщина в мужском костюме.

«Она шла уверенно и быстро, как свойственно людям, чья воля к движению соединена с другой, более могущественной». Посланница!

Путница с «прозрачными серо-голубоватыми» глазами попросила смотрителя о аудиенции. Передала ему таинственный и чудесный, поющий как небесные сферы предмет, содержащий «карту небесных созвездий и, возможно, само небо».

Далее смотритель «потчевал путешественницу ужином, состоящим из плодов … и особым вином…»

«Они легли на постель…»

«Ни с чем не сравнимую радость вызвала у него спазма рук женщины, сжимавших его ягодицы».

Изящная, зрелая проза.

…

Анатолий Гладилин. «Лодочник».

Начинается рассказ интригующе: «Две молодые женщины сидели на открытой веранде кафе-ресторана и вели заинтересованный разговор».

По ходу дела выясняется, что «обе птички были высокого полета и все друг про друга знали. Или почти. Одной покровительствовал российский миллиардер, другой — колумбийский наркобарон, выбившийся в сенаторы…»

Кроме того, у обеих «птичек» были любовники на стороне.

Читатель ждет криминально-эротической драмы с кровавым исходом. Напрасно. Выясняется, что любовник одной из прелестниц, «офицер», служащий на некой «закрытой территории» — вызывает у нее страх. Она предполагает, ни больше, ни меньше, что он — серийный убийца. И просит вторую прелестницу помочь ей разобраться в этом деле. Та предлагает встретиться вчетвером — две прелестницы, «офицер» и ведущий финансовые дела обеих леди, ушлый и всезнающий адвокат Оливье — пообедать и поговорить. Она надеется, что опытный Оливье выведет «офицера», которая его пассия кстати зовет Арончиком, на чистую воду.

Оливье в предварительной беседе высказывает предположение, что Арончик — один из тайных главарей русской мафии, и соглашается прийти на обед.

Обед состоялся. Оливье немилосердно колол железобетонного Арончика вопросами-иголками, но так ничего и не добился. Арончик не разговорился и не выдал никаких тайн. Но рассказал занятную историю про то, как конвоировал самого… Саддама Хусейна. Саддам пытался подкупить Арончика, потому что цинично считал, что любого человека можно купить. Но Арончик не поддался и заявил Хусейну многозначительно и с пафосом: «Дорога, по которой мы двигаемся, — с односторонним движением. За всю историю человечества людская память не сохранила ни единого случая, чтоб кто-то по ней вернулся обратно».

После этого автор как бы забывает и о обеих прелестницах и об Оливье… и на тридцати страницах рассказывает о том, кто есть Арончик на самом деле, что с ним происходило последние 200 лет его жизни и что с ним случилось после визита ангела хранителя и помещения его в особый госпиталь…

Арончик оказывается работает в бригаде Харонов… Да-да, настоящих. И перевозит мертвых через Стикс.

ЗАПИСКИ ЧИТАТЕЛЯ

(отрывок)

Сегодня я поговорю о роскошной книге-антологии «100 лет русской зарубежной прозы, том I», выпущенной издательством «Литературный европеец» в 2019 году.

Вышли уже два тома этого издания.

…

Открывается книга — пушечным ударом и страстным словоизвержением будущего нобелевского лауреата — знаменитой парижской речью Бунина 1924-го года «Миссия русской эмиграции». Это даже не речь, а стон. Хруст костей ушедшей в небытие царской России. Ее посмертный вой, все еще слышащийся в зимних облаках лихолетия.

Бунин бряцает кимвалами и восклицает: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков… «

Миру было на русские души, такие или сякие, глубоко начхать. И тогда и сейчас. И красноречие Бунина и его библейские призывы и укоризны ничего не изменили. Начхать. И не только «миру», но и подавляющему большинству самих русских, легших после смерти ублюдка Ленина под кровавый сталинский сапог. А когда он помер — под Хруща. И так далее.

Прочитав речь несколько раз, я так и не понял, в чем же заключается миссия русской эмиграции. Прямой и ясный ответ на этот вопрос Бунин не дает.

В конце одного пассажа он пишет: «…миссия эта заключается ныне в продолжение этого неприятия». Неприятия чего? Понятно, чего — «Ленинских градов, ленинских заповедей», большевиков и их государства.

Продолжение неприятия? Ох-хо-хо…

Хорошо, продолжим неприятие. А как жить? И на какие шиши за квартиру платить и булочки покупать? И молочко для дитяти.

О своей собственной миссии Бунин пишет так: «молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне … святую ненависть к русскому Каину».

Пафосно. И как все пафосное — бесполезно.

А кончает свою речь Бунин слабенько, беспомощно даже: «Давайте подождем... Подождем соглашаться на новый похабный мир с нынешней ордой».

Кажется, он еще верил, что коммуняки провалятся сквозь землю и все вернется на круги своя… Стоит только подождать.

Видимо, он так и не понял сучьих законов жизни, слишком уж глубоко сидела в нем вера в то, что человек — образ и подобье Божие. А на самом деле — человека можно превратить в манкурта, в советского манкурта… Не знаю, можно ли превратить в манкурта англичанина (Джордж Орвелл считал, что да), но русского человека — можно заведомо. История доказала.

А вот сможет ли жизнь когда-нибудь это неприятное существо, поддерживающее сейчас имперское свинство властей, превратить назад в человека — это непонятно.

Не понимал Бунин и природы большевизма. Не в пломбированном вагоне он приехал из враждебной страны. Не из фолиантов Карла Маркса выпрыгнул. Не в местечках за чертой оседлости он зародился и не среди кавказских бандитов.

И не был большевик-расстрельщик русским Каином. Слишком бы все было просто. Нет, он был и русским Каином, и Авелем…

Накопилась в народе за тысячу лет угнетения и побоев ненависть. К помещику, к власти, к полиции, к офицерам армии, к попам. Вот и взорвалось…

Первая волна русской эмиграции исчезла в океане истории… не оставив после себя ничего… Как все исчезает.

Ничего?

Не совсем — волна эта оставила после себя литературу. Написанную на сочном, естественном и пластичном русском языке.

И уже этот первый том антологии — свидетельствует об этом. И вовсе не «продолжением неприятия» большевизма интересна эта книга (его в ней конечно хватает, могло бы быть и поменьше), а талантом и подлинностью… изысканным ароматом исчезнувшей культуры.

Между строчек. Я считаю, что никакой «миссии» у русской эмиграции нет. Жить на свободе и наслаждаться жизнью — единственная миссия. А там уж как получится.

Лирическое отступление. Познакомился я однажды с господином Ивановым. Случилось это в одной из больниц Западного Берлина. В очереди на рентген. Мы разговорились. Выяснилось, что Иванов — по-русски говорить не умеет. Отец еще говорил, а я…

Внук настоящего белоэмигранта, сражавшегося с красными там-то и там-то. Деда Иванов не знал, тот умер до его рождения. Отец получил образование, стал инженером. Сам Иванов тоже где-то работал. Я спросил его, читал ли он каких-либо русских авторов. Да, конечно читал. Кого же? Пауза. Как Иванов ни пытался, так и не смог выдавить из себя ни одного имени.

А Батшев говорит о «стране Эмиграции». Какая страна? Тут и поселочка нет… городского типа. Только пустошь, поросшая полынью.

…

Аркадий Аверченко «Перед лицом смерти».

Два симпатичных анекдота из истории великой французской и русской революций. О том, как парижане не повесили аббата на фонаре за его остроумное замечание («Вам что, от этого светлее станет?»), и о том, как «товарищ Саенко» не расстрелял приговоренного к расстрелу Никольского в «харьковской чрезвычайке» (тот хладнокровно заявил, что Никольского вчера расстреляли, и Саенко вычеркнул его из списка).

Скорее всего — неправда, но красиво и оптимистично.

«Разрыв с друзьями». Этот текст — жалоба героя, «опустившегося, подлого, пропитанного дешевой сивухой, ночлежного человечишки … грязного, небритого, гнусного», на новую жизнь. Он встречает своего «бывшего прежнего друга», «в черном, прекрасно сшитом пальто… на руках свежие замшевые перчатки, на

голове изящная фетровая шляпа, из-под атласного лацкана пальто виден чудесно завязанный галстук… ноги обуты в изящные лаковые ботинки…»

Только что из-за границы.

И ему хочется «броситься на него, вцепиться в горло и … рвать сверкающее белье на беззаботной холеной груди»…

Еще страшнее для него то, что он не может больше читать старые книги. Приводит примеры. «Простите вы меня, но не могу я читать на пятидесяти страницах о Смерти Ивана Ильича … Я теперь привык так: матрос Ковальчук нажал курок … Иван Ильич взмахнул руками и брякнулся оземь. Следующий! — привычным тоном воскликнул Ковальчук».

Рано умерший Аверченко писал кратко, точно, очень живо. Его ирония не саркастична, скорее траурна. Отличные тексты.

…

Владимир Азов. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Карловичем».

Небольшая юмористическая зарисовка.

Иван Иванович (обыкновенный русский эмигрант в Берлине двадцатых) и Карл Карлович (немец, проживший двадцать лет на Васильевском острове, «где он содержал прекрасную булочную») поссорились из-за курицы. «Обыкновеннейшей курицы для супа». Ну и еще из-за коварного русского языка, которым честнейший Карл Карлович так и не овладел в совершенстве. Иван Иванович посетовал на базаре: «Курица нынче кусается». Карл Карлович понял это буквально. Он решил, что это шутка… Иван Иванович де боится того, что мертвая, ощипанная курица его укусит. И пошутил сам: «Амалия просила меня купить один гусь. Но я не буду покупал. Я буду ей сказал, что гусь очень кусался». Что из всего этого вышло — читайте в антологии. Мило.

…

Марк Алданов. «Французская карьера Дантеса».

Документальную прозу знатока истории Марка Алданова нет смысла представлять. Редко кто из русских интеллигентов не читал блестящего и увлекательного Алданова. Шести с половиной страничный текст про Дантеса читается легко и приятно.

«Роковая для русской литературы дуэль не слишком повредила светской и общественной репутации Дантеса».

Это был не очень удачливый карьерист, «веселый человек». Мериме писал о нем «атлетически сложенный человек, с немецким акцентом и вида хмурого. Очень хитрый малый… прекрасный оратор».

«Интересовали его, главным образом, финансовые и промышленные дела. Он входил в правления разных банков, обществ страховых, транспортных…»

Бывший сенатор Дантес умер в 1895-м году в своем поместье в Эльзасе. Ему было 84 года. Пережил Пушкина почти на шестьдесят лет. Жалко, что Александр Сергеевич его тогда, на Черной речке, не пристрелил.

…

Александр Амфитеатров. «Точка опоры».

Главному герою этого небольшого ироничного текста — Слюзину — приснился необыкновенный сон. Будто бы он гений-изобретатель. В шкафу у него тикает вечный двигатель. И вообще… он знает, где точка опоры, с помощью которой можно перевернуть мир. А затем… Слюзин женился.

«Эта легкомысленная дама совершенно презирала науку своего мужа… жизнь Слюзина превратилась в ад». Потому что его жена думала только о шляпках и платьях, продала его вечный двигатель… В конце концов Слюзин не выдержал, нашел ту саму точку и… «как хватит каблуком о земь».

Мастерское описание того, что после этого произошло, полагаю и было главной целью автора. Процитирую только небольшую часть этого описания.

«Мир затрещал и покачнулся в основах! Все пошло вверх тормашками … Мимо Слюзина летали города, реки, леса, горы, звери, птицы, футуристы, имажинисты, насекомые, литераторы, пресмыкающиеся, тюрьмы, редакции, совнаркомы, ватерклозеты… Эйфелева башня кувыркалась где-то далеко, между Сатурном и Ураном, в перегонку с неистово визжащей Айседорой Дункан. Прыгали сапоги всмятку… мелькнул как метеор профессор Эйнштейн верхом на Илье Эренбурге… даже Шаляпин рассыпался. Даже Коминтерна не стало…» В конце рассказа происходит ожидаемое пробуждение героя.

Леонид Андреев. «SOS».

Этот, написанный в 1919-м году в Финляндии, текст нельзя отнести к литературе. Это крик о помощи погибающего, отчаявшегося человека, огненная антибольшевистская прокламация. Обращение к народам мира.

Андреев использует такие выражения: «океан русской крови», «дикари Европы» (это о большевиках), «желтолицые убийцы для истребления европейцев» (о революционных китайцах), «одурелая Европа» (знакомо?), «зубы господина Вильсона», «кровь, кровь, кровь» (это о послевоенной России)…

Читать этот текст трудно. Потому что сегодня, 100 лет спустя, мы все знаем. Знаем, что никто тогда не помог умирающей России. Что никто никогда не поможет впредь, чтобы там ни происходило. Разве что «ножками Буша».

Знаем и самое страшное — то, что Россия не помогла сама себе в тот момент, когда изжило себя и пало царство большевиков и развалился СССР. Поколебалась немного, а потом — влезла по шею в зловонную жижу.

…

Зиновий Арбатов. «Ноллендорфплатцкафе».

Это тоже не художественная литература, а воспоминания секретаря Союза писателей и журналистов в Германии Арбатова о встречах с русскими литераторами в кафе на площади Ноллендорфплатц. Союз этот просуществовал до августа 1937-го года. Архив его сгорел во время войны. Кафе было разрушено в 1944 году, во время бомбардировки.

Текст Арбатова состоит из небольших статей, посвященных отдельным литераторам. Перечислю их: Илья Эренбург, Владимир Лидин, Андрей Соболь и Борис Пастернак, А. Каменский, И.М. Василевский (Не-буква), Сергей Горный, Игорь Северянин, Ив. Коноплин, Юлий Исаевич Айхенвальд, Аркадий Тимофеевич Аверченко, Саша Черный, Марк Александрович Алданов, Иосиф Иосифович Колышко (Баян), Иван Дмитриевич Сытин, Владимир Бурцев, Жак Нуар, Иван Лукаш, Алексей Ремизов, Вл. Ходасевич, Иван Сергеевич Шмелев.

Мне было чрезвычайно интересно читать эти живые записки про известных и не известных мне людей. Приведу несколько

цитат. Об Эренбурге: «он нередко прямо из нашего кафе отправлялся в советское посольство, где подолгу задерживался… Эту двойную игру Эренбург, однако, не вел долго: он вскоре порвал с эмиграцией и вернулся в Советскую Россию». Мне этот человек всегда был неприятен. Интуиция подсказывала, что он был доносчиком, чекистом. И литературный талант его был какой-то противный. Также как талант Олеши (про которого ничего не знаю) и многих других советских корифеев (например, Ильфа и Петрова).

О Пастернаке: «он производил впечатление человека напуганного, чрезмерно осторожного… Его родители жили в Берлине. Правление Союза считало, что Пастернак останется с нами и войдет в наш союз. Но Пастернак держался в стороне от нас — эмигрантов — и больше склонялся к дружеским беседам с группой писателей, возвращение которых в Советскую Россию ожидалось со дня на день».

Не могу поверить в то, что Пастернак добровольно вернулся в ленинскую Москву. В лапы к НКВД. Почти всю жизнь прожил под Сталиным, пил из отравленного коммуняками источника. И умер в атмосфере хрущевской травли.

Об Аверченко: «Мы забудем русский язык! — уныло предвещал он. — Тесно… негде печатать свои вещи так, как к этому душа лежит! — безрадостным тоном повторял тот самый Аверченко, от которого несколько лет тому назад в Петрограде несло здоровьем, веселым юмором и чудовищной неутомимостью».

Прав был Аверченко. Русский язык в эмиграции вначале подвергается эрозии, а затем еще и забывается. Увы.

Пастернак где-то писал, что именно этого и боялся, и потому вернулся.

…

Ирина Астрау. «Запоздавшее счастье».

Небольшой рассказ о любви двух сестер-погодок — Тамары и Лиды — к одному мужчине, — Сигизмунду. Сигизмунд прожил лет двадцать с Тамарой, а после того, как она погибла в железнодорожной катастрофе взял в жены Лиду.

Умная, сдержанная, женская проза. Еле дочитал, так скучно.

Михаил Арцыбашев. «Жгучий вопрос».

И этот полемический текст (в десяти частях) не имеет отношения к художественной литературе. Начинается он так: «Каждую весну настроение подымается, и растут самые фантастические слухи. Каждую осень настроение падает и начинается общее нытье: Стоит ли надеяться и ждать, не лучше ли махнуть на все рукой и возвращаться на родину?»

Ближе к концу Арцыбашев пишет: «Кто лишениям эмигрантского существования предпочитает лишение свободы, тот пусть возвращается в советскую Россию, но о себе ведает, что он слаб и ничтожен духом. Это не осуждение. Это простое констатирование факта. Что же касается меня, то, не будучи Герценом, я все-таки останусь здесь. И даже не испытывая штамповой тоски по родине. Ибо для меня понятие родина не исчерпывается географическим пространством и этнографическими особенностями. Для меня родина — это нечто, стоящее над землею и над народом, с ними связанное, но способное отлететь от них, как душа отлетает от мертвого тела».

Понятно и правильно.

Но в конце своего текста Арцыбашев все-таки сбивается на эмигрантский штамп: «Моя родина — это русский народ, со всей его историей, с его величавым прошлым [Колья и чаны с кипящей смолой Ивана Грозного? Салтычиха? Шпицрутены?], с его культурой, с его языком, с его поэзией, с его своеобразной красотой [Иудушка Головлев? Коробочка? Бурлаки на волге?], с тем, что загажено ныне до неузнаваемости. Чужой дух воцарился над моей страной…»

Это вечное противопоставление «святой Руси, града Китежа» или, попросту царской России — и отвратительной ленинско-сталинской Совдепии доказывает мне, что русские эмигранты действительно не понимали своей страны, своего народа, не знали его истории (истории вечного самозакабаления, топтания на месте)… И даже не догадывались, что ленинщина-сталинщина — это не чужое, это одна из граней русского народа. Большевики только закончили дело… убила Россия себя сама.

Екатерина Бакунина. «Тело».

Это первый текст в книге, который меня раззадорил, поразил, увлек. Независимая, гордая, в меру эмансипированная писательница описывает жизнь стареющей «стандартной русской женщины в эмиграции». Уроженки Петербурга. Ныне — парижанки. Швеи. Жены. Матери. Бедную, скудную, несчастливую жизнь.

Честно говоря, никогда по-настоящему не понимал женщин. Не знал, кончают ли действительно мои жены и подруги, не знал, о чем они думают, чего на самом деле хотят, что замышляют… Для писателя эти белые пятна на жизненной карте — неприятны, некомфортны. Потому что, хочешь, не хочешь, но женские персонажи все равно разгуливают по твоему тексту. И говорят, и действуют. И, чтобы не писать чепухи, ты должен понимать женщин, должен уметь поставить себя на их место и взглянуть на мир их глазами, ощутить его их телом…

Теперь, прочитав текст Бакуниной (это часть романа), я женщин понял. Удостоверился, что мои туманные догадки не были такими уж фантастическими и абсурдными.

Героиня смотрится в зеркало. «Я видела лицо, которое совершенно не выражает того, что за ним. Между тем это мое лицо. Случайная смесь длинного ряда поколений. Я совсем не хочу иметь такое лицо. Не только потому, что оно некрасиво (некрасивая женщина — неудавшийся замысел), а потому, что в нем нет моей сущности. В круглых карих, маслянистых глазах нет ни горя, ни бунта. В спокойном состоянии они сонливы и невыразительны. В минуты отчаянье (я заметила), — глупы. Нет ничего бессмысленнее карих глаз — они всегда похожи на телячьи. Щеки уже не вырезаны правильным некогда овалом — сказываются годы. … начинающий отвисать подбородок и вянущая шея. Тело еще твердое, но уже начинающее полнеть. Все это меня возмущает нестерпимым контрастом между сущим и должным. С каким остервенением я сорвала бы эту стареющую кожу, выбросила груди, колышущиеся при ходьбе, вырвала ненавистные, не такие как хочу, глаза. Родиться с неудобным женским телом и быть урезанной из-за внешности в своих возможностях! В этом есть нечто непоправимое и озлобляющее меня».

Алеша Карамазов заметил бы: «Это бунт!» А современный врач-психиатр посоветовал бы накопить денег, поехать в Бразилию, сделать там операцию, сменить пол.

Историю замужества своей героини Бакунина описывает так: «…однажды вечером, захлопнув крышку рояля, я ушла к поразившему мое воображение известному певцу и предложила ему себя с равнодушной девичьей любознательностью к тому, что будет. Певец оказался грубым, мне было больно и неприятно … Я ушла запачканной с одним желанием — не вспоминать о том, что было. Но … навязанное мне тело забеременело, певцу пришлось жениться. Это и есть мой муж. Банальная случайность, которою почти всегда бывает момент становления женщиной, обратилась в позорную и неопрятную привычку. В силу нее, я с мужем изменяю самой себе и иногда пытаюсь найти утраченную верность в случайных и редких изменах. … К сожалению, я не принадлежу к числу поверхностных мужеподобных, спортивных женщин, для которых один из видов спорта — любовь — протекает легко, разнообразно и приятно».

Похоже, тут и операция бы не помогла.

«Особенно тягостна мне покорная, все выносящая преданность мужа. Женившись по необходимости, он с годами привязывается все больше и больше. Мое же отношение к нему развивается в обратном смысле».

Бедняга певец.

«Певец давно потерял голос и теперь стал шофером. … Жить приходится в тесной квартире парижского большого дома, шум которого непрерывно раздражает. … В моей квартире никогда не бывает солнце. Она прямо на земле, и отдает погребом. Поэтому она дешева. В окна видно все, что делается внутри, и их надо завешивать тюлем. Тюль пылится и от него вечная полутьма».

А вот как описывает Бакунина отношение своей героини к родам и материнству: «Вера, дочь… ходит в лицей. Ей уже шестнадцать лет. Случайно зачатая, она вросла сначала в мое тело, а потом в душу, как ядовитый нарост, сосущий соки. Она цепко привязывает меня к тому постоянному пересиливанию, перемо-

ганию себя, каким является моя жизнь с того момента, когда с брезгливым удивлением, отвращением и сознанием бесповоротно совершившегося несчастья я увидела ее, выдавленную из себя, беспомощно свешивающеюся с ладони акушерки, еще опачканную кровью и слизью, багрово сизую, казавшуюся мясным комком, вырванным из моего живого тела».

«Мне было чрезвычайно трудно освоиться с мыслью, что я больше не принадлежу себе … и меня может назойливо позвать к себе постоянно марающееся, мутноглазое, ненасытное существо. Меня возмущали набухавшие груди, требовавшие сосанья, и я себе казалась похожей на какое-то крупное или отелившееся животное».

Хорошо, что изобретены противозачаточные таблетки!

«Вера требует ухода… она требовательна, груба, эгоистична … все больше становится похожа на отца … он огрубел от работы, пьет, нечистоплотен. … Я вынуждена спать с ним в общей постели. Это и то, что с этим связано, так мучительно, что я по ночам работаю, часто до рассвета … вышиваю шелковые платья. Уже давно слепну над этой работой. Ненавижу ее, тупею над ней, вечно хожу не выспавшаяся с красными белками глаз».

Бакунина не щадит и читателя, ни своих героев: «Что мы погибаем — очевидно. Стареем, и сил все меньше, а жить все трудней. Цепляемся за свой жалкий угол, но каждый срок квартирной платы задолго является кошмаром и надолго истощает после. Михаил Сергеевич — шофер никуда не годный. Он близорук, нервен, неумел. У него постоянно несчастия … женский труд вообще оплачивается грошами … Говорят, шитье скоро прекратится вовсе. Никому не нужно вещей. Кризис… В газетах все чаще случаи семейных самоубийств ... и способ установился: газовый кран».

Мог бы цитировать и дальше, но, полагаю, хватит.

Текст Бакуниной не такой пессимистичный, как может показаться. Он всего лишь… правдивый. Не лживый как обычно. Не лицемерный. И это не только рассказ о женщине… это и рассказ о эмиграции. Один из самых пронзительных.

Рекомендую его прочитать.

Особенно он необходим — мужьям, которые уверены в том, что их семейная жизнь хороша, нормальна, как у всех, а то и счастлива. И еще — тем, кто задумал эмигрировать. С женой и ребенком.

…

Николай Белогорский. «Вчера».

Это короткая зарисовка (несколько главок из романа) матерого белогвардейца. Описывается посещение главным героем Врангеля. После бегства из Крыма.

«Каюта Врангеля. Кормовая. … Светлая каюта, но серый день, бессолнечный. Врангель, как под Царицыном, в черкеске. Чуть загорелое лицо. И весь, чуть более сухощавый, чем прежде. Он поднялся нам навстречу. Вы ждете, я уверен, что будет вот сцена, слезно трогательная. Сильно ошибаетесь. Все и все замороженные и не все выговоренное. Потому что экспансивным, по природе, был в каюте этой один лишь Врангель. А мы — я так на четвертушку; Бестужев же, — страстный, это верно, по-земному и даже по-звериному, когда его прорвало, — вообще был на десять тысяч верст от всех экспансивностей. … Если бы в тот день и в тот час Врангель позвал нас в Галлиполи или на Лемнос… Бестужев не пошел бы, ни за что в жизни; уже наметил свое нужное ему направление, — за женой. А я, — тоже не пошел бы, но задумался б сильно. Только Врангель нас и не звал. Потому что, во-первых, не нужны ни для чего. Это не требует никакого пояснения. И еще второе, только смутно ощутимое. В нас не было даже тени какой-либо критики и ни малейшей горечи. Как и сам Врангель, мы считали себя «не побежденными». Но инстинкт нам твердил, что все не так, как надо. Что все скверно. И скверно потому, что Врангель ушел из Крыма. Надо было его отстоять, а не уходить. Иначе, лучше быть убитым. … Да возможно, что и в самом Врангеле, ну хоть в часы бессоницы, вставало такое же».

«По пути назад, и на катере. И на берегу, мы с Бестужевым молчали. Да, на словах, в лицо не говоришь того, что чувствуешь. Но чувство есть. И немного позже, когда Врангель один, бессильный, все-таки не склонил головы перед всеми нажимами, это стало сильней».

«Армия не воскресла. И не сел на коня снова Врангель, — умер в Брюсселе. И думаю, знал, в самом себе знал, что никогда уже больше не сядет. Никогда и никогда, — потому что нельзя: вся жизнь этой земли нашей круглой во всем изменилась. А ветер, — Русский ветер, — если когда-нибудь снова подует в степях, так все рано не наш ветер будет. Чужой и нам все равно».

«Сам Врангель, Петр Николаевич Врангель, был … лучший и из всех нас, самый одаренный».

Полагаю, глубже, чем таким, сдержанным и точным языком военного, невозможно передать безвозвратность совершившегося, горечь и тоску от поражения Белого движения.

…

Нина Берберова. «Большой город».

Этот энергичный рассказ — о Нью-Йорке. Какой контраст с ноющей эмигрантской прозой!

Пересказывать этот клубящийся как пар из трубы парохода текст бессмысленно, поэтому только цитирую: «Я приложил бинокль к глазам, покрутил колесико, потом другое. И вдруг в освещенном окне, висевшем передо мною в небе, на расстоянии квартала, я увидел комнату и двух мальчиков в ней. Они стояли у стола, у каждого в руках был нож. Оба только что ранили себя в руку и старались капнуть кровью на лежащий перед ними лист бумаги. На голове у одного был пернатый шлем, у другого — сдвинутая на лоб мексиканская маска. Я взглянул выше. Какая-то женщина пыталась открыть запертый ящик высокой, узкой этажерки, подбирая ключ, она страшно торопилась, а в левом углу комнаты, неслышный мне, но явственно видный, играл грамофон — кружилась пластинка.

В соседнем окне какая-то туша, завернутая в меховую шубу, лежала на диване, а вокруг нее уныло бродила собака — печальная, изящная, породистая борзая, которая вдруг вздрогнула, и взглянула в окно, так что наши глаза как будто даже встретились на минуту.

— Это что же за бинокль такой? — проговорил я, проглатывая набежавшую слюну. — Это что же такое?

Человек улыбнулся мне доверчиво и ласково:

— Это что! Бывает и лучше. Я однажды держал в руках штуку, в которую, говорят, один немец в сорок втором году Петербург видел, а потом, через год, Хеопсову пирамиду.

Я взглянул опять. Мальчики расписывались кровью, собака, как каменная, смотрела на меня, грамофонная пластинка вертелась. Этажем ниже шел класс черчения, еще ниже две пары танцевали в полумраке, а левей, там, где кончался фасад далекого дома, в пролете, сверкал огнями в порту белый пароход, уходивший в море. Темно-синяя вода переливалась сиреневыми отсветами, черный дым оставался висеть неподвижно, и за ним едва угадывался плоский остров с высокой радиовышкой (не ее ли зеленый глаз ночевал у меня на плече вчера?). Плоский остров мутнел, а за ним уже открывался настоящий, бескрайний океан.

Янагнулся немного, и вот, далеко-далеко, под оголенными деревьями еще неведомого мне парка, где белые, круглые шары-фонари сияли сотнями свечей, в осенней мгле я увидел диковинных зверей за решетками клеток. Я увидел, как сторож делал тигру знак, чтобы он вошел в маленькую низкую дверь, и он вошел, и дверь опустилась. А на усыпанной песком площадке задумчивый двугорбый верблюд положил маленькую лохматую голову на спину другого».

…

Клеопатра Болотина. «Чудо с неба».

Очень горький рассказ. Чем-то похожий на Зощенко.

Бабушка Клавдия Ивановна приехала в Нью-Йорк. И разгуливала по городу в своей «старой обношенной юбке» и дырявых туфлях. Стыдилась и обижалась на то, что сын не видит ее бедности. И не только сын, но и вся родня.

«Вот здесь-то с бабушкой и приключилось…»

«Что-то большое, шумное обрушилось на нее сверху, ударило в плечо и свалило к ногам пешеходов».

«Сама она только на минуту как бы очумела, а потом, закаленная родиной, пошла быстро … через дорогу к дому. Боялась… что осерчают на нее дома».

А за ней «увязался один господин».

А дома о ней все заботится стали, невестка даже свою кровать предложила.

«Обомлела совсем старушка… не знает, заплакать ли ей… или закричать караул. Не сговорились ли хитрым образом родственники избавиться от нее? Сколько раз на своем веку видела, как здоровых маменек таким способом в сумасшедший дом сплавляли».

Не сразу поняла бабушка, что в Америка за такие вещи деньги дают… Обрадовалась, думала новую юбку купить и туфли, да не тут-то было.

Очень, очень горький рассказ обо всех нас.

…

Николай Брешко-Брешковский. «Принц и танцовщица».

Если у вас тяжело на душе, если все осточертело. Если неохота возиться с интернетом и омерзел телевизор, — почитайте роман Брешко-Брешковского. Легкая, достойная проза. На сорока страницах этого текста вы столкнетесь не только с принцем и танцовщицей, но и с «господами во фраке», «бараньими котлетками соус субиз», «голландскими и кубанскими сигарами», с «цирком Барбасана», с «торговцами живым товаром», с «метрдотелем с большим кожаным портсигаром», с «непристойно-громадными для мужчины бриллиантами», с «рубиновыми и желтыми ликерами», с «с цилиндром и тростью с золотым набалдашником», с «апельсиновой коркой, на которой поскользнулся жокей», с «сахарными красавчиками», с «губами утонченного европейца», с «с гунтером Галифе» (это лошадь), с «непрошенным, таинственным гостем», с «герцогом Язоном Родосским», с «колье из двадцати трех скарабеев», с «миллионом франков», с «ростбифами и бифштексами у Пикадилли», с «Луи Наполеоном», с «силуэтами двух неподвижных рабынь».

Достаточно? И мне тоже. Я заснул на семнадцатой странице.

…

Иван Бунин. «Un petit accident».

По-русски это название звучит так «Небольшое дорожное происшествие» или, приземленнее — «Небольшая авария».

Позволю себе процитировать эту словесную зарисовку размером с полстранички.

«Зимний, парижский закат, огромное панно неба в мутных мазках нежных разноцветных красок над дворцом Палаты, над Сеной, над бальной площадью Согласия. Вот эти краски блекнут, и уже тяжко чернеет дворец Палаты, сказочно встают за ним на алеющей мути силуэты дальних зданий и повсюду рассыпаются тонко и остро зеленеющие язычки газа в фисташковой туманности города, на сотни ладов непрерывно звучащего, поющего автомобилями, в разные стороны бегущими со своими огоньками в темнеющих сумерках. Вот и совсем стемнело и уже блещет серебристо-зеркальное сияние канделябров Площади, траурно льется в черной вышине грозовая игра невидимой башни Эйфеля и пылает в темноте над Бульварами грубое богатство реклам, огненный Вавилон небесных вывесок, то стеклянно струящихся, то кроваво вспыхивающих в этой черноте. И все множатся и множатся бегущие огни автомобилей, их разноголосно звучащего потока, — стройно правит чья-то незримая рука его оркестром. Но вот будто дрогнула эта рука, — близ Мадлен, какой-то затор, свистки, гудки, сдвигаясь, стесняется лавина машин, замедляющая бег целой части Парижа: кто-то тот, что еще успел затормозить в этой лавине свою быструю каретку, ярко и мягко освещенную внутри, лежит грудью на руле. Он в шелковом белом кашнэ, в матовом вечернем цилиндре. Молодое, пошло античное лицо его с закрытыми глазами уже похоже на маску».

Представляю, как нравится это импрессионистическое описание вечернего Парижа — поклонникам Бунина. Меня подобная проза не трогает, как давно уже не трогают картины импрессионистов. Мне не нравится слово «мутных». Или мазки «мутные» или мазки «нежных разноцветных красок». Потом эти мутные нежные разноцветные краски — еще и «блекнут». Далее появляется в тексте «алеющая муть», похоже вовсе не поблекшая. А затем и «тонко и остро зеленеющие язычки газа на фисташковой туманности города». Фисташковой — звучит конечно красиво, но… Мало того, город этот «поет автомобилями … бегущими со своими огоньками». А затем заблестело «серебристо-зеркальное сияние канделябров». Именно так в тексте «блещет

… сияние». К тому же «траурно льется … грозовая игра … башни Эйфеля». И «пылает … грубое богатство», «огненный Вавилон … вывесок»… то «стеклянно струящихся», то «кроваво вспыхивающих». Потом случился затор… и вот уже «пошло античное лицо … похоже на маску».

Все это изящное, но чрезвычайно самонадеянное, упивающееся «алеющей мутью» и «траурно льющейся игрой», описание — устаревшая романтика, не больше, и интересовать может только людей, не читавших в юности Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме… и не видевших картин Моне, высосавшего из Парижа навсегда его «нежные разноцветные краски».

…

«В Альпах». И эту, вторую, короткую зарисовку Бунина я процитирую полностью.

«Влажная, теплая, темная ночь поздней осенью. Поздний час. Селенье в Верхних Альпах, совсем мертвое, давно спящее.

Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столпами. Освещаемые ими, мелькают вдоль шоссе кучки щебня, металлически-меловая хвоя чахлого ельника, потом какие-то заброшенные каменные хижины, за ними одинокий фонарь на маленькой площади, самоцветные глаза бессонной кошки, соскочившей с дороги, — и черная фигура размашисто шагающего, развевая подол рясы, молодого кюре в больших грубых башмаках... Шагает, длинный, слегка гнутый, склонив голову, одиноко неспящий во всей этой дикой горной глуши в столь поздний час, обреченный прожить в ней всю свою жизнь, — куда, зачем?

Площадь, фонтан, грустный фонарь — точно единственный во всем мире и неизвестно для чего светящий всю долгую осеннюю ночь.

Фасад каменной церковки. Старое обнаженное дерево возле фонтана, ворох опавшей, почерневшей, мокрой листвы под ним... За площадью опять тьма, дорога мимо убогого кладбища, кресты которого точно ловят раскинутыми руками световые полосы автомобиля».

И этот текст не приводит меня в экстаз. Фраза «Автомобиль набирает скорость с горизонтально устремленными вперед дымчато-белесыми столпами» — очевидно бессмысленна. Что это за

«столпы» такие? Свет фар? Тогда это конуса, а не «столпы». И что это за конструкция — «металлически-меловая хвоя чахлого ельника»? Почему «металлически», почему «меловая»? Из-за «столпов» что ли?

Молодой кюре («слегка гнутый» как гвоздь), конечно, непонятно куда шагает в своих «больших грубых башмаках». И непонятно зачем. Он обречен прожить в «дикой горной глуши» всю свою жизнь… Как безаппеляционно приговаривает русский писатель этого молодого человека к пожизненному заключению в глуши. А что, если у него связи в Ватикане? И блестящая церковная карьера впереди?

Фонарь, естественно, «грустный», светит, дуралей, «неизвестно для чего всю долгую осеннюю ночь». Такая, у него, у фонаря, функция — светить… Чтобы «гнутый» кюре нос не расквасил по пути к больному.

«Каменная церковка», «старое обнаженное дерево», «ворох опавшей листвы», «убогое кладбище», «кресты … ловят раскинутыми руками световые полосы автомобиля». Видимо все «столпы» они уже поймали.

…

«В такую ночь…»

Это третья зарисовка Бунина в антологии.

Он и чужая жена из Конотопа гуляют лунной ночью «по высоким обрывам над морем» и декларируют друг другу реплики Джессики и Лоренцо из «Венецианского купца» в чудесном переводе Петра Вейнберга. Хорошо написано, красиво. Но не Буниным. Вейнбергом. Бунин выпилил в этом тексте только рамочку.

И еще маленькое замечание — в последней фразе рассказа неправильно употреблены слова «приливы и отливы»: «Возвращались поздно, когда луна уже склонилась, золотая вода сумрачно светилась, волнуясь у берега внизу, и было так тихо, что слышны были ее медленные приливы и отливы».

«Сумрачно светилась … волнуясь» — тоже нехорошо, хоть и красиво. И еще. Шум прибоя — слышен даже тогда, когда «не тихо». «Так тихо» тут — ветхая дань романтизму.

Читатель ждет, что над любящими пролетит редкая птица… на середину Черного моря…

...

«Ночлег». Небольшой этот рассказ (последний в «Темных аллеях») — написанный явно не для взрослых читателей, а для «юношества» — о неудавшейся попытке изнасилования малолетки. Отличная тема! Интересно и мальчикам и девочкам.

«Это случилось в одной глухой гористой местности на юге Испании».

Голос автора мрачен и монотонен. Подростки затаили дыхание. «Была июньская ночь, было полнолуние, небольшая луна стояла в зените, но свет ее, слегка розоватый, как это бывает в жаркие ночи после кратких дневных ливней, столь обычных в пору цветения лилий, все же так ярко озарял перевалы невысоких гор, покрытых низкорослым южным лесом, что глаз ясно различал их до самых горизонтов».

Не логично. Полнолуние, а Луна «небольшая». Самая большая, какая только может быть. Да еще и в «зените». Поэтому «все же так» тут совершенно лишняя и глупая подробность. И еще, кому до всего этого есть дело? Дети уже начали зевать. Ясно, что автор хочет построить мрачноватую, но чарующую декорацию к своему рассказу. Но и честь надо знать! «Узкая долина шла между этими перевалами на север. И в тени от их возвышенностей с одной стороны, в мертвой тишине этой пустынной ночи, однообразно шумел горный поток и таинственно плыли и плыли, мерно погасая и мерно вспыхивая то аметистом, то топазом, летучие светляки, лючиоли. Противоположные возвышенности отступали от долины, и по низменности под ними пролегала древняя каменистая дорога. Столь же древним казался на ней, на этой низменности, и тот каменный городок, куда в этот уже довольно поздний час шагом въехал на гнедом жеребце, припадавшем на переднюю правую ногу, высокий мароканец в широком бурнусе из белой шерсти и в мароканской феске».

Ну вот — «долина ... между перевалами», «пустынная ночь» (в горах?), «мертвая тишина» (а как же «горный поток»?), «аметисты, топазы» (это светлячки вспыхивают... мер-

но и мерно же погасают), «лючиоли» (это что за твари?), «древняя каменистая дорога» (сквозь туман кремнистый путь блестит), «каменный городок», «бурнус» и «феска»…

И еще — «узкая долина», но «противоположные возвышенности отступали от долины».

Впрочем, что это я все придираюсь и придираюсь. Дети уже отложили было книгу в сторону — слишком много никому не нужных подробностей! Но… произошло явление героя! И какого романтического! Марокканец. Почему-то у Батшева в антологии — с одним «к». Прощаем. Зато в бурнусе из белой шерсти и феске. Автор продолжает строительство романтических декораций к своей тривиальной истории. «Городок казался вымершим, заброшенным. Да он и был таким. Марокканец проехал сперва по тенистой улице, между каменными остовами домов, зиявших черными пустотами на месте окон, с одичавшими садами за ними. Но затем выехал на светлую площадь, на которой был длинный водоем с навесом, церковь с голубой статуей Мадонны над порталом, несколько домов еще обитаемых, а впереди, уже на выезде, постоялый двор. Там, в нижнем этаже, маленькие окна были освещены, и мароканец, уже дремавший, очнулся и натянул поводья, что заставило хромавшую лошадь бодрей застучать по ухабистым камням площади».

«Да он и был таким» — лишнее предложение. «Проехал по тенистой улице», «светлая площадь» — кажется автор уже забыл, что дело происходит глубокой ночью. «Маленькие окна освещены» — плохо. Получается, что их кто-то осветил прожектором с улицы.

Автор вводит в текст остальных действующих лиц — старуху и девочку.

«На этот стук вышла на порог постоялого двора маленькая, тощая старуха, которую можно было принять за нищую, выскочила круглоликая девочка лет пятнадцати, с челкой на лбу, в эспадрильях на босу ногу, в легоньком платьице цвета блеклой глицинии, поднялась лежавшая у порога огромная черная собака с гладкой шерстью и короткими, торчком стоя-

щими ушами. Мароканец спешился возле порога, и собака тотчас вся подалась вперед, сверкнув глазами и словно с омерзением оскалив белые страшные зубы. Мароканец взмахнул плетью, но девочка его предупредила: — Негра! — звонко крикнула она в испуге, — что с тобой? И собака, опустив голову, медленно отошла и легла, мордой к стене дома».

Кончается рассказ так. «Когда девочка вбежала с полным кувшином в отворенную дверь верхней комнаты, марокканец лежал на кровати уже совсем раздетый: в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая коротко стриженная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни. На столе среди комнаты блестел большой револьвер с барабаном и длинным дулом, на кровати рядом с его кроватью белым бугром была навалена его верхняя одежда... Все это было очень жутко. Девочка с разбегу сунула на стол кувшин и опрометью кинулась назад, но мароканец вскочил и поймал ее за руку.

— Погоди, погоди, — быстро сказал он, потянув ее к кровати, сел, не выпуская ее руки, и зашептал: «Сядь возле меня на минутку, сядь, сядь, послушай... только послушай...» Ошеломленная, девочка покорно села. И он торопливо стал клясться, что влюбился в нее без памяти, что за один ее поцелуй даст ей десять золотых монет... двадцать монет... что у него их целый мешочек...

И, выдернув из-под изголовья мешочек красной кожи, трясущимися руками растянул его, высыпал золото на постель, бормоча: «Вот видишь, сколько их у меня... Видишь?»

Она отчаянно замотала головой и вскочила с кровати. Но он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать, Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула: «Негра!»

Он опять стиснул ей рот вместе с носом, стал другой рукой ловить ее заголившиеся ноги, которыми она, брыкаясь, больно била его в живот, но в ту же минуту услыхал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Вскочив на ноги, он схватил со стола револьвер, но не успел даже курка поймать, мгно-

венно сбитый с ног на пол. Защищая лицо от пасти собаки растянувшейся на нем, обдававшей его огненным псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло».

Браво, Бунин! Не дал свершиться злодейству. Сохранил невинность молодой испанки. Прикончил наконец ненавистного араба. Вырвал ему горло. С помощью адской псины. С «огненным дыханием». Дети довольны. Критики рукоплещут. Взрослый читатель пожимает плечами.

ИСТОЧНИК

Для писателя существует только один источник — прошлое. И только один адресат — будущее.

Из прошлого в будущее устремляется поток героев, событий, мизансцен и мыслей. Через череп писателя, через компьютер настоящего...

Писатель пишет свой текст в скобках существования...

Я леплю словесные фигуры. Обретающие по ходу работы самостоятельность и самобытность, оживающие в тексте, берущие свои судьбы в свои руки, стремящиеся выйти за скобки...

Из самого себя, знакомых, близких, далеких и вовсе никогда не существовавших я делаю новых людей... Они — их страсти, слезы и радости — главная цель, извечное наслаждение писателя, этого фанатичного переработчика вторсырья.

Что мне помогает писать рассказы? Тяга будущего и боль пережитого. Старейший жанр литературы — рассказ — родился из желания преодолеть боль прошлого... Преобразить ее. И выплеснуть в будущее новой энергией жизни.

Охотник рассказывает о своих ранениях на охоте. О драконах и саблезубых тиграх. Шаман — о путешествии в страну мертвых. О битвах со злыми духами. Писатель — это и метафизический охотник и путешественник в загробном мире и борец с драконами...

В сумерки или холодной ночью, когда страхи и ужасы гнетут сердце, хочется посидеть у камина с друзьями. Послушать бывалого охотника Балдео из «Книги джунглей Киплинга». Или прокуриста Иозефа К. из «Процесса» Кафки. Или пасечника Фому Григорьевича из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», который, как известно, никогда не носил пестрядевого халата, а сапоги чистил самым лучшим смальцем...

Русский писатель в Германии? Оксюморон! Так, так...

Кому все это надо? Никому, кроме тебя... Литература — это твое последнее тело, подготовь его к вечности.

Родился я в Москве в 1956 году. В январе. Как мне потом рассказывали — в лютый холод. Моя беременная мама решила на санках покататься. Очнулась — в роддоме на Шаболовке. В детстве я жил в «Доме преподавателей» на Ломоносовском проспекте. Учился в знаменитой математической Второй школе за универмагом Москва. Литературу нам преподавал толстовец Герман Наумович Фейн (Герман Андреев) — блестящий педагог и добрый человек. Он научил нас читать и анализировать текст. Атмосфера свободы и творчества Второй школы раздражала власти гришинской Москвы. Школу разгромили. Тогда это делали еще без применения ракет воздух-земля, но тоже достаточно эффективно.

В 1978 году я закончил мехмат МГУ. Науку я не любил, учился только для того, чтобы не расстроить бабушку. После окончания университета десять лет работал в НИИ. Параллельно посещал частные уроки живописи. Неоднократно бывал у легендарного Михаила Матвеевича Шварцмана, создателя «иератур». В восьмидесятых годах участвовал в выставках неофициального искусства в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице в Москве.

В 1990 году эмигрировал в Германию с женой и дочерью. Наш тогдашний отъезд был, как это сейчас модно говорить, не эмиграцией, а эвакуацией из страны, грозящей не только лишениями и голодом, но и погромами. Погромы не состоялись, но мы уехали.

Я человек без биографии. Писать рассказы начал в 48 лет. В этом возрасте Довлатов уже умер. А я бросил рисование и начал рассказы писать.

…

Мне не надо путешествовать и встречаться с людьми, чтобы увидеть и понять мир — мир сам приходит ко мне в мой подвальный театр («Записки следователя») и выступает передо мной на сцене, а я его журю и подбадриваю... Кстати, жуткий этот рассказ — один из самых реалистических в моей книге капричос. Был у меня двоюродный брат отца, следователь, жил в Щекино под Тулой. Вся история убийства оттуда, со всеми подробностя-

ми. Кто на самом деле убил — никому не интересно. Важно — кого можно за это засадить и что с этого можно поиметь. А сверхзадача — чисто советская — показать народу, что карающая рука, вот она, тут! С Калдырихой я беседовал недалеко от нашей первой дачи под Нарой. Многие подробности «снов» — из бессвязных записок дядюшки Шурика. Он умер в своей однокомнатной квартире в Щекино. Лет семидесяти пяти. Милиция взломала дверь. Шурик лежал мертвый на полу.

Меня иногда обвиняют в злоупотреблении насилием и сексом. А мой натурализм, между прочим, произошел не от желания писать так-то и то-то, а от жестокости советской жизни. Нашей жизни. Жизни вообще. Как-то я подсчитал на пальцах, скольких моих родных убили или репрессировали при Сталине, сколько близких, друзей, знакомых погибли в мое время и позже — в девяностые годы прошлого века. Пальцев не хватило. Я знаю, что натуралистические сцены отвращают от моей прозы две главные группы читателей — чувствительных мужчин и стареющих женщин. Знаю, но поделать ничего не могу — мои герои манифестируют не мое, а свое либидо. Иногда в довольно грубой форме. Мешать им в этом неблагородном деле я не имею права. Безобразничают они, а шишки сыплются на меня, на автора... Это несправедливо — не Толстой спал с лысым Вронским, а потом бросился под поезд, а мадам Каренина, не Достоевский насиловал девочку, а потом удавился, а Ставрогин.

Добавочной «жесткости» моей прозе придают немецкий язык и немецкое искусство... С кем поведешься... Немецкое предложение — конкретно, ясно. Информация, точная реплика. Приказ. А фраза на русском языке зачастую вовсе не имеет смысла. Как мост в никуда.

И немецкое искусство удивительно конкретно, до тривиальности прямо. Прям божественный Дюрер. И Кранах. И Грюневальд. Прямы и экспрессионисты. Не циничны, — конкретны. Смотрел недавно выставку эротической графики Георга Гросса — и с удивлением заметил фактурное сходство с моими текстами, посвященными советской жизни...

Рассказ «Перед грозой» — не тяжкая выдумка. А реальность. Как и другие мои рассказы.

Проза — это палящее метафизическое пространство... От зноя жизни не спрячешься в словечки. Автору не к лицу жеманство. Приходится принимать на себя тяжесть небес. Небес, телес — все одно. Тут не отрава, не забава, не натурализм. Тут опыты существования. Чистая экзистенция. Нулевая литература. Без фиговых листочков культуры.

...

На мой взгляд, честный писатель, сочиняя и воспаряя, использует даже не личный опыт, а, еще ниже, — свою низость и убожество. Гоголь только и делал, что упивался убожеством и низостью Плюшкиных и Маниловых, которых вытаскивал из закромов собственной души. То же самое делал и Достоевский со своими бесами (игрок, сладострастник, убийца)... И даже Толстой (ревность в «Крейцеровой сонате»). Кроме собственной низости или, если угодно, человечности, отлитой в разные образы, у писателя и нет ничего... Все остальное — помпезное вторичное вранье, самовнушение, бессмысленные словесные спекуляции.

Довлатов умудрился из собственных комплексов создать или выдуть как стеклодув целую галерею героев-компенсаторов. Это роднит его с Пушкиным... Который в своей литературе представляется Дон Жуаном или Германом или конногвардейцем, а в реальности должен был против воли надевать мундир камер-юнкера и выпрашивать у царя деньги.

Недавно умер Солженицын. Этот писатель, по-видимому, верил в то, что так, как он написал, все на самом деле в истории и было. Это мания величия. У меня такой веры нет. Человек не понимает не только других людей, но и самого себя. Что же говорить об истории... Но не все так безнадежно. Если писатель беспристрастен, легок как пух, морально нейтрален, политически не заряжен... Тогда он может уловить неуловимое — тайные течения жизни, скрытую жизнь образов и слов. Если же себя заранее «зарядить» чем-то положительным — например патриотизмом, православием и народностью — то художественная правда, вильнув хвостиком, исчезнет. Помните Пушкинское — «Зачем крутится ветр в овраге, подъемлет лист и пыль несет, когда ко-

рабль в недвижной влаге его дыханья жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на чахлый пень? Спроси его. Зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт».

В рассказе «Доносчица» грань между реальностью и вымыслом не размывается — там все вымысел, представляющийся автору самой реальной на свете реальностью. Это наш советский — чахлый пень...

…

Алконост — это райская птица. Нечто вневременное. Поэт Николай Клюев писал: «Я алконостную Россию засунул в дедушкин сусек», «У Алконоста перья — строчки, пушинки — звездные слова». Иногда Алконоста под влиянием прекрасной картины Васнецова неправильно называют — птицей печали. Противопоставляя ее птице радости — Сирину. Алконост привиделся герою ключевого рассказа моего сборника. Перед добровольной смертью. Как последнее упование. Попытка пробиться к свету, к радости райской.

В оформлении изданной Литературным европейцем книги «Алконост» я использовал советские плакаты. Меня в этих изображениях привлекает жалобная нота исчезновения, бессилия идеологии перед сменой исторических формаций. Сменой платформ. Их невыносимым скрежетом. Эта кукрыниксовая ложь была для большинства населения огромной страны — правдой. Сталинские соколы летали в розовом советском поднебесье. Могучие коровы выдавали кубические километры молока. Доярки бряцали блестящими бронзовыми медалями. Миллионы советских людей мирно трудились на своих местах и над всем этим воспарял великий светлый человек Сталин. И вдохновлял. И помогал. И думал о каждом. И вот, все это барахло выброшено на помойку истории. С которой ее пытаются достать новые вожди слепых...

Развивайте свиноводство! Проклятье поджигателям войны! Строго храни военную тайну, сынок!

В своих рассказах я пытаюсь найти этого «сынка», этот сюрреалистический звук. Диссонансную, пронзительную ноту, зву-

чащую в эпоху перемен. Так что советские плакаты в книжке — это только изобразительная параллель повествованию. Инварианты совкового сознания. Декорации мелодрамы.

…

Корень моего писательства — Юго-Запад Москвы, среда моего детства. Туда, в прошлое, бежит мысль, стремится душа. Туда направляются и слова. Чтобы собрать на лапках букв смысл прошедшего бытия, как пчела собирает мед...

Мандельштам писал: «Я человек эпохи Москвошвея».

А я человек Ленинского проспекта, по которому каждый день ездил на троллейбусе в школу... Мой мир — это Ленинские горы, кинотеатр Прогресс, Калужская застава, Нескучный сад, улица Панферова, где я жил в университетском доме, проспект Вернадского, метро Юго-Западная, рядом с которым, в тринадцатиэтажном доме находилась наша вторая кооперативная квартира. После окончания университета и до отъезда за границу я жил в Ясенево, но это неприятное место так и не полюбил. Мое сердце осталось на Юго-Западе.

Там, на Юго-Западе Москвы частично осуществилась задуманная Сталиным и материализованная в хрущевско-брежневское время коммунистическая утопия. Был построен советский — Город Солнца. Роль центрального храма на холме выполнял — храм науки — МГУ.

Во время народных праздников или встреч космонавтов Ленинский проспект украшали красными полотнищами, вечерами загоралась щедрая иллюминация, через металлические репродукторы в уши москвичей транслировалась оптимистическая торжественная музыка. Первый концерт Чайковского... Огромные кирпичные дома внушали жителям бесчисленных коммуналок ложное чувство уверенности в завтрашнем дне, превосходства над остальными москвичами и обитателями провинции. Юго-Запад был триумфом, мечтой, советским Олимпом.

Мое первое послесталинское поколение, выросшее на этом Олимпе, было морально раздавлено историей. О его судьбе я и пишу в своих рассказах. Без обобщений и морализаторства. Без претензий на литературу.

Литература сама по себе меня больше не интересует. Меня не трогает форма, почти не привлекает поэзия. Я постарел. И цель моя традиционна для стареющих — пробиться к ускользающей реальности, воскресить в памяти навсегда утраченное. Слава Богу, память не безгранична.

…

На событие можно смотреть по-разному. Например, сверху. Это позиция всевидящего ока. Оно смотрит с небес на людишек, на их копошение, видит все — их рождение, их никчемную жизнь и их конец. Писатель — всевидящее око — планирует, определяет жизнь своих героев. Создает композиции или конструкции, разворачивающиеся во времени по строго рассчитанному расписанию... Конец известен заранее. Ужасы деструкции и восторги апофеоза пережиты еще до начала писания.

Альтернативой такому писательству служит органическое письмо, открытая композиция. Органический писатель не смотрит на мир сверху, он находится внутри мира. Внутри текста. Он участник, голос, тело, сознание, предложение, слово... Он не планирует повествование, а подчиняется его ходу. Освобождает своих героев от предустановленных пороков или добродетелей, — разрешает им самим развиваться, говорить, действовать.

Боль пережитого вдохновляет писателя на писание, воспоминание — это первичный импульс, завязка... Писатель фиксирует образ словами, создает ядро. И толкает его. Дальше ядро катится само — писатель едва успевает записывать — действие рассказа развивается, разливается как река в половодье. Словесная образная жидкость течет по прихотливым протокам жизни. Течет вниз, как дао... Конец путешествия заранее не известен, апофеоз может и не произойти вовсе.

Действие не следует схеме, предустановленной гармонии или запрограммированной катастрофе, а складывается из внутренних необходимостей, из прозаических случайностей, из вольного развития речи. Мысли. Судьбы…

Не нужно учить человека и человечество, они не обучаемы. Не нужно что-то доказывать — это бесполезно, жизнь опровергает любые истины. Не нужно манипулировать героями, надо дать им свободу. Воздержаться от подтасовок.

Лев Толстой понимал стохастическую природу бытия, но в своей прозе не мог удержаться от планирования. Его органичность распространялась только на детали. Которые именно из-за этого нам так нравятся, несмотря на несносно-большое их количество.

Достоевский слушал голоса своего расщепленного сознания, его органичность распространялась до уровня диалогов. Ветки повествования он силой связывал в пучки и располагал их крестообразно. Так диктовала ему его христианская совесть. От этого его герои теряли убедительность. Исчезала тайна. Романы наполнялись истерикой не желающих подчиняться автору героев. По жилам повествования разливалась ядовитая достоевщина.

…

Классические примеры органичного письма — это «Гаргантюа и Пантагруэль» Рабле, «Жизнь Тристрама Шенди» Лоренса Стерна. Из современной литературы — «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева.

Хотя у Ерофеева страшный конец с шилом в горле просвечивает уже в самом начале поэмы — т.е. все повествование происходит, как сказал бы Флоренский, в «обратном времени». Но развитие внутри глав бессмертной поэмы — органично. Свободно. Повествование льется как водка в стакан, вдохновляясь от самого себя…

Органичны и «Мертвые души» Гоголя — и внутри одной фразы и в рамках глав. У этой книги нет архитектурной структуры, скорее это аквариум. Попытка превратить его в некое подобие готического триптиха или иконостаса Гоголю не удалась. Его герои так и не стали иконами или иллюстрациями добродетели. Свиные и кувшинные их рылы остались торчать в окнах гоголевской прозы. Не фантазия и не грехи писателя подвели его, а сама животная природа человека-подлеца. Чичикова невозможно переделать в рачительного хозяина. В Коробочке или в даме, приятной во всех отношениях, нет ни скромной добродетельной помещицы, ни тем более «Царицы Небесной». Сопротивление героев навязываемой им их создателем сущности или судьбе может привести писателя к катастрофе. Что и случилось с Гоголем. После его бессмысленно ранней смерти мир так и остался лежать во зле.

Другой подобный эксперимент, проведенный две тысячи лет назад — распятие Бога — тоже не помог. Обещанное воскресение так и не состоялось. Наиболее внушаемые начали тешить себя новой иллюзией. И только...

…

Я пишу преимущественно визуально. Мысли, рассуждения — вписываю в текст, только если мои герои думают или рассуждают. Даже в диалогах я стремлюсь к визуализации… Т.е. говорящий персонаж, словами, как штриховкой, набрасывает свой характерный силуэт, — рисует сцену. Наглядность, простота, естественность прозаического описания — это то, к чему я стремлюсь... Длинные предложения наводят на меня тоску — как рисунки с бесконечным количеством лишних линий...

Я не боюсь элементарно построенной описательной фразы. Если бы мог — писал бы без глаголов. Глагол — это авторский пинок в зад герою. Иди туда-то и туда-то. Делай то-то и то-то, говори так. Чувствуй так... А из безглагольного описания действие вылезает само. И движения и мысли и чувства...

Пустое пространство на рисунке играет важнейшую роль. Чтобы придать ему форму и рисуются линии. Таинство прозы совершается во время короткой паузы для дыхания — в бессловесной пустоте между фразами, между словами и буквами. Герои прозы живут тут самостоятельно. Это их главное бытие — в отрыве от вериг языка...

ПЕРЕПРЫГНУЛ

В январе я перепрыгнул через 60. Лет. С моим весом это нелегко.

60 — голубое число, было для советских тружеников мужского пола одним из сакральных чисел, гораздо более важным, чем фундаментальные математические константы пи и е. Потому что в шестьдесят лет мужчины выходили на заслуженную пенсию. Чаще всего — в первый же день после дня рождения. За неделю до которого происходили торжественные проводы. Со слезами, награждениями, водкой и мордобоем. А если пенсионеры работали дальше, то для всех других они становились стариками, ветеранами, отработанным материалом.

Если статистика не врет, до пенсии доживали в СССР только семь мужчин из десяти, к шестидесяти пяти их оставалось четыре с половиной, а до семидесяти доживали только полтора человека. Могикане!

80 — число огненное. Обозначенная Всевышним граница жизни. Восьмидесятилетние мужчины встречались в СССР редко, они считались долгожителями. Это были динозавры. Пережитки прошлого. Рамолики и отжившие свой век развалины… вечно больные, ворчливые, придирчивые… полуслепые, тугоухие, пованивающие… корчащиеся в больницах и домах для престарелых или сидящие на шеях постаревших детей, дожидающихся их смерти. И отравляющие все вокруг себя гноем старости. Были конечно и исключения.

90 — число ледяное. Тут и комментарий бесполезен. Не только люди и их дела, но и память о них, и сами слова замерзают, не выдержав оцепенения небытия.

А 100 — это уже не число, а нечто юбилейно-статистическое.

…

Шестидесятилетие притягивало и пугало. Многие надеялись на то, что, вот, мол, выйду на пенсию, и тогда отдохну, порыбачу,

займусь наконец садом… лечением… воспитанием внуков… почитаю вволю… поиграю на трубе… посмотрю мир… напишу роман… выучу японский… посещу семью умершего брата в Ленинграде… разведусь…

Но почти ни у кого из этих «пенсионных мечтателей» не получалось ничего. Хорошо еще, если они не умирали в сорок или пятьдесят, а через пять лет после выхода на пенсию не ходили под себя.

А сколько было страхов! Океан ужаса. Уволят и стаж, стаж, понимаете, стаж прервется! Да что вы, не дай бог!!! Характеристику испортят — понизят зарплату, пенсия будет пятьдесят рублей. Не дадут персональную пенсию, а я всю жизнь на них ишачил!

Сколько из-за будущей пенсии, маячившей сладкой розовой полосой на свинцовом небосводе трудящегося совка, происходило инфарктов, инсультов и опоясывающих лишаев… Какой черной завистью пылали люди к тем, кто получит пенсию большую, чем они. Высчитывали бесконечно проценты… Жили не сегодняшним днем, а будущим, которое никогда не наступало… Как портили себе и другим нервы… каждый день, каждый день. Какие интриги устраивали… подсиживания, коллективную травлю, увольнения по сокращению штатов, проверки, персональные дела.

А после выхода на пенсию вдруг понимали, что вся чехарда, весь цирк не только не стоил свеч, но и растоптал их свободу, сожрал их молодость, их жизнь и здоровье. Что все их диссертации, выступления, открытия… еще при их жизни разворованы или втоптаны в грязь, а сами они забыты или вычеркнуты из истории. Что ВСЕ, все их амбиции, бесконечные труды и хлопоты, надежды и свершения, подлости и самопожертвования… все было, с самого начала, как сказано в Книге Книг, только «суетой сует».

Старики умирают и приходят новые поколения белок и хомяков, которые влезают в те же колеса, и крутят, крутят их и бегут, бегут, задыхаясь, из последних сил перебирая лапками… бегут всю жизнь к пенсии… бегут, бегут, часто до самой смерти, теряя все дорогое и важное, не щадя никого… и приобретая только хвори.

Вот и я пробежал свои шестьдесят.

Нет, прошел пешком, с любопытством поглядывая по сторонам, останавливаясь и подолгу созерцая картинки и ландшафты, слушая музыку сфер и обходя многолюдные толпы и коллективные кормушки, пропуская орды бегунов вперед.

Бегите, бегите… достигайте, добивайтесь, хапайте, жрите. А я… потихоньку пойду. Куда спешить? На лужок, да под дубок.

…

Мне часто снятся «сны прогульщика».

Может быть потому, что часто прогуливал школу, и в университет наведывался редко, и с работы уходил в час. А чего там торчать? В мертвом доме. И в Германии, вместо того, чтобы зарабатывать на пенсию, на акции, на мерседес, на домок с садиком и радикулитом, на мебель, ковры, путешествия, электронику и молодых сочных сучек, бил до остервенения баклуши…

«Сон прогульщика» начинается обычно с того, что я куда-то иду, или еду на поезде или автобусе, или даже лечу на самолете. Поезд, автобус, самолет конечно не похожи на реальные транспортные средства. Это что-то большое, деревянное, неуклюжее, трясущееся, угрожающее, люди там сидят на полу или на потолке, поют хором какую-нибудь заунывную песню и вяжут из пестрой шерсти свитера… или бумажки рвут.

Люди? Нет, в моих снах никаких людей нет, есть заполненные чем-то человекоподобные фигуры, что-то вроде манекенов, только не из пластика или из дерева, а из темноты, капелек пота, скорлупок чувств, глины воспоминаний.

Мы проезжаем или пролетаем «моря», «долины», «горы»…

Все это разумеется тоже не настоящее во сне. А как будто халатно слепленное из папье-маше полоумным орнитологом-любителем. И в субстанцию ландшафтов щедро вкраплены мои ощущения, представления, ошибки и страхи, которые постоянно меняют формы этих «морей», «долин» и «гор».

Подсвечивают и подлаживают.

Тянут и разрывают.

Надстраивают и сносят.

Приехали, прилетели, вышли из автобуса, поезда, самолета, и я тороплюсь, тороплюсь в «школу».

Школа во сне — тоже не имеет ничего общего с школами, в которых я когда-то учился. Это не здание, а сложная многоэтажная конструкция, слепленная из опавших листьев, внешнего вида вовсе не имеющая, а изнутри напоминающая архитектурные фантазии Пиранези, из цикла «Темницы». Особенно ту гравюру, в которой видны готические арки. Единственное, что отличает мою «школу» от темницы с готическими арками Пиранези — это наличие в школе длинных полутемных «залов» или пустот, таящих всевозможные неожиданности и ловушки. С потолков там свисают веревки. Канаты, лески с крючками, шнурки, петли.

Я, заключенный этого мрачного пространства, стою в одном из таких залов… жду…

Наконец откуда-то приходят другие школьники… «одноклассники». Это не дети, а крупные, больше меня, составленные из больших темно-серых кубиков, фигуры. На гранях кубиков — возникающие и исчезающие записи, рожицы и тещины языки. «Одноклассники» — в группе. Они сговорились. А я один. Они прилежно учились в «школе». Посещали занятия. Они — знают материал. А я не знаю ничего. Даже то, как зовут учительницу. Меня не было. Я прогулял. Отсутствовал. Я не знаю, как расколоть эти головоломки. Не знаю, как правильно собрать кубик-рубик. Не умею брать интегралы по частям. Забыл чему равняется синус трех икс. И как построить трапецию с помощью жопы и пальца.

Сейчас будет контрольная. Я провалюсь. Меня выгонят из школы. Не дадут аттестата. Я не смогу поступить в университет. Меня заберут в армию. Покалечат. Я не получу пенсию. Проживу жизнь больным и бездомным, роясь в отбросах.

Ужас! Ужас!

Приходит учительница. Она — манекен, составленный из пирамид лжи и притворства. И еще — она лисица. Стережет лисят. Теребит их за ушки. В руках у нее книги — это задания контрольной. Она их раздает ученикам… пританцовывает и

напевает песенку про отличников. Дает и мне. Я открываю эту страшную книгу. Из нее сыпятся на темный щербатый пол формулы, слова, числа, фразы, абзацы — как крупные перфорированные чешуйки черной рыбы…

Учительница повернула свое лицо-пирамиду ко мне… уставилась, лисья морда!

Все смотрят на меня. Злорадствуют… Ждут, что я закричу как павиан.

Я слышу смешки и насмешливые реплики.

Боже, как же я выкручусь? Что же мне делать?

Погибать, погибать…

…

И тут, когда я уже ломаю пальцы от отчаяния, ко мне как маленький светящийся шарик летит через весь этот ужас — мысль. Мысль и уверенность. И начинается метаморфоза. Преображение. Я теряю страх и гордо встаю в позу атланта. Я держу небеса и звеню, как колокол. И говорю — гордо, громко, без запинки, ведь силы и память уже возвратились ко мне — я закончил вашу задрипанную школу и получил ваш аттестат, поступил в МГУ и закончил его. Я работал на вас десять лет, а потом уехал от вас. Навсегда. Мне не надо писать вашу контрольную. Я сдал все экзамены. Мне шестьдесят лет.

Фигуры моих одноклассников и учительницы съеживаются, падают, исчезают… исчезает и ужасная школа и сквозь полузакрытые веки я начинаю различать окна и жалюзи нашей берлинской спальни. Пора варить кофе…

Сон этот повторяется часто. Только вместо школы появляется университет или институт, а вместо одноклассников — кафедра и коллеги.

…

Эмиграция моя была, увы, не триумфальным шествием атланта или молодого Зигфрида, а отступлением, побегом. В Германии я не попал в капиталистический рай, а был насильно помещен на территорию бывшей ГДР и проведен там сквозь строй всяческих унижений.

Первый год эмиграции я был бездомным, жил в лагере-общежитии в городке Глаухау, потом в другом лагере, в Мееране, затем в чужой квартире в Дрездене и только в августе следующего года снял квартиру в городе К., грязную, холодную конуру с печным отоплением. Но возвращаться в Москву, в мою теплую кооперативную квартиру, полную любимых книг и картин, я не хотел. Ни за какие коврижки. Уехал, значит уехал. Баста.

Возможно, эта моя временная немецкая «бездомность», наглость и злоба немецких чиновников, с которыми пришлось иметь дело, и потеря московской квартиры и породили второй сон, который приходит ко мне регулярно, раз в две-три недели.

Это «сон бездомного эмигранта».

Начинается он хорошо. Я еду себе в берлинском с-бане.

Разумеется, и Берлин и с-бан в моем сне не похожи на реальный город и на городскую электричку. Вагон с-бана смахивает на вагон московского метро времен моего детства, а Берлин похож на все большие города, в которых мне довелось побывать — Нью-Йорк, Париж, Рим…

Въезжаем мы в какой-то туннель и долго-долго по нему тащимся. Внезапно отваливается крыша вагона, и вагон едет без крыши… беззвучно отваливаются… пропадают… и стены… и вот, я еду уже не в вагоне, а на платформе с сидениями… никого кроме меня, на платформе нет… и платформа с страшным скрежетом падает в колодец с вертикальными рельсами. Скользит вниз.

Выныриваю на улице какого-то города. Знаю, это — Москва. Хотя город этот на Москву и не похож. Скорее, это город К., почти все дома в нем — трехэтажные, такие, какие строили в Германии в двадцатых годах. Кирпичные, с маленькими окнами и покатыми крышами… с легким привкусом Баухауза и с элементами неизжитого еще Югендстиля…

И тут, тоже стены и крыши домов, асфальт, фонари, автомобили, трамваи — не предметы, а испарения, миражи… морок. Отвердевшее, но постоянно ускользающее, не поддаю-

щееся анализу подсознание… недоносок разума. Или надсознание… предчувствие… предвидение… нечто из будущего. Может, и не моего.

…

Ты идешь по улице этой «Москвы», а она тебя не держит… и ты проваливаешься сквозь картонный асфальт в ад…

Ты входишь в магазин, а там вместо людей — безглазые манекены, отражения, куклы, пародии.

И в этом безумном городе, в этом вывернутом наизнанку мире, ты, повинуясь ур-инстинкту, начинаешь искать твой дом. Твой потерянный дом.

Ищешь метро, чтобы проехать в нем в «Ясенево» или к «Метро Университет». Опускаешься вместе с толпой зомби в шахту и замечаешь, что поезда этого метро, похожие на составленные вместе вагончики американских гор, ездят только вниз и вверх… делают под землей мертвую петлю.

А если ты находишь свой старый дом с башенками, то видишь — рядом с домом течет река, широкая, полноводная… только вместо воды в ней — миллиарды скомканных, грязных бумажек… это документы… заявления… запросы… паспорта… визы… а настоящая река, из воды, течет теперь через твою квартиру… и ты знаешь, что она уже унесла в небытие твои книги, твою жизнь.

И вот… нет ни прошлого, ни будущего, нет родных и друзей, есть только этот страшный город, эта потусторонняя «Москва», а ты — никому не нужный бездомный…

И ты бежишь и бежишь, и ищешь свой дом, которого больше нет. А если ты случайно находишь его… и падаешь в изнеможении на пол… и раскрываешь любимые книги и обнимаешь любимую… Не проходит и пяти минут, как какие-то неизвестные люди входят в квартиру… их стертые лица трясутся от злобы, их руки хватают все, что попадется, и бросают на пол, который превращается в зияющую пропасть, их страшные пасти раскрыты и они орут, как мартовские коты, высунув длинные раздвоенные языки.

Один раз во сне я решил покинуть «Москву»… и долго-долго бегал по ее пустым гулким улицам… переплывал реки и каналы… перепрыгивал пропасти, влезал по фасадам на редкие высокие здания (входы в них были замурованы), чтобы увидеть, где же начинается окраина, где окружная дорога. Но у потусторонней «Москвы» нет окраин, нет окружной дороги, нет границы… однажды попав в нее, будешь метаться по ней все оставшееся тебе на Земле время.

В КАРАНТИНЕ

Психоделика и ужас...

20 дней в карантине. Кончится это когда-нибудь?

Неожиданно для меня, автора, окружающая действительность изменилась, стала похожей на мой внутренний мир... на мир моих рассказов.

Какая ирония! Критики могут теперь, не кривя душой, называть меня реалистом. Поверьте, я этого не хотел. Больше того, я и писал все это для того, чтобы ТАК не было. Но просчитался. Так стало. И непонятно, будет ли когда-нибудь как-нибудь иначе. Год катастрофы — 2020 — я предсказал в рассказе «Крысолов». То, что случится, — в «Даржилинге».

Корневой или «лодыжечный» фашизм человека вылезает сейчас из тухлого болота подсознания везде, не только на родине щегла. Мне уже пришлось по-немецки читать что-то вроде: «Будет вовсе не плохо, если сдохнет миллион стариков, больных и уродов. Останутся, мол, сильные и здоровые. Разумеется, это частные мнения».

Самое страшное подтверждение этой нехитрой мысли — брошенные в массе в испанских домах престарелых сбежавшим персоналом старики и старухи. Их обнаружила испанская армия. Трупы, трупы, стонущие умирающие. Опять выползли на свет чудовища Гойи. Они впрочем никогда и не исчезали... только маскировались. Банальность, но как больно все это.

Некоторые немецкие политики уже начали пускать розовые слюни и разглагольствовать о том, что надо «после Пасхи» смягчить ограничения на социальные контакты. А то мол «промышленность и бизнес страдают и молодые люди страдают». И

это, несмотря на то, что число заболевших короновирусом в Германии растет экспоненциально. За последние сутки — чуть ли не семь тысяч новых заражений.

Относительно низкая смертность в Германии — показатель того, что медицинская система еще работает. Но этот «золотой» период кончится, как только число нуждающихся в интенсивном лечении превысит количество коек для интенсивного лечения. Это может случится уже завтра или через неделю. И тогда смертность резко возрастет... будет «как в Италии». Скрежет зубов...

Все это политики-оптимисты знают не хуже моего, но привычку оценивать ВСЕ... жизнь... по принципу «что хорошо для индустрии и банков — то и хорошо, а все остальное — плохо» невозможно вытравить месяцем карантина...

Германия-машина и люди-роботы показывают себя какое-то время с лучшей стороны... но, упаси бог, случится что-то, что роботы не в состоянии осознать, то, что машина государства не сможет переварить своими свинцовыми кишками...

Еще немного и все тут покатится вниз...

Я вижу это — в выражении глаз гуляющих по моему району демонстративно против правил втроем, вчетвером молодых людей. Да, в их бычьем упрямстве, в их непроходимой тупости. В их самодовольстве... мы, молодые, выживем, а вы, старье, все сдохнете...

В Нью-Йорке устанавливают мобильные морги, а в Москве — люди наслаждаются «собянинскими каникулами». Каждому свое.

Ты спрашиваешь, почему я, эмигрант, напечатался в Петербурге? Хотим мы этого или не хотим, нравится это нам или не нравится, но главный наш читатель — на оставленной родине. Включая конечно всех людей русского слова по всему миру. Я 11 лет колебался... а в конце прошлого года, предчувствуя конец нашей цивилизации, решил все-таки напечататься и в Ленинграде.

Понимаешь, теперь все будет по-другому. ВСЕ.

Все.

Мы только в самом начале тяжкого пути короны (в одном из моих рассказов сумасшедший герцог тащит гигантскую корону).

Не знаю, куда он приведет, не знаю, сколько лет продлится... но знаю, что «прошлого больше не будет».

Мир изменится фатально и страшно.

Не знаю, переживем ли мы это.

Я хотел поставить точку. По крайней мере для себя.

Потому что нет больше — там и тут, нет больше они и мы.... Мы все под ударом. Все стоим голые на плацу и смерть косит нас как траву.

Искренно и горячо желаю тебе и всем твоим — здоровья и радости в эту горестную годину.

Писал последнюю, состоящую из отрывков-рассказов готическую повесть «Покажи мне дорогу в ад», пытаясь бороться с тягостном предчувствием катастрофы.

Просил высшие силы — отведите, перенесите на более поздний срок... заклинал, как умел, умолял... все естественно напрасно. ОНО ударило, и, как всегда, беда пришла не оттуда, откуда я ее ждал. Я думал, Россия атакует Балтику и Украину и начнется европейская атомная война. В которую Америка из трусости и эгоизма не вмешается. Предчувствие не обманывало. Лишь форма апокалипсиса оказалась другой. А суть предчувствия была правильной. Старому европейскому миру пришел конец.

Да, да, когда-нибудь человечество победит и эту болезнь. Непонятно только когда и как.

Писать больше не могу. Надо или замолкать навсегда или радикально менять тональность. Сбрасывать саднящую кожу... Или — все тело.

Сколько это еще продлится? Кто знает. Сам вирус не уйдет. А уничтожить его человечество не может.

Начал сам с собой играть в давнишнюю детскую игру. Спрашиваю себя. Где бы ты хотел оказаться?

И перелетаю в мыслях...

Вчера вечером страшно захотелось в Сан-Франциско. Почему? Сам не знаю. Гулял там в мае 2006 года. По следам Хичкока.

Сколько народу было на улицах прохладными вечерами! Туристы и аборигены...

И все какие-то возбужденные... бегут куда-то... толпами... танцуют, дергаются, ревут... накурившиеся, нанюхавшиеся, бухие... Почти все — цветные. Мулаты, метисы.

Мустанги. Да, взбесившиеся мустанги. То ли в течке, то ли в амоке... но живые.

Для меня обложка — это что-то вроде ларца... ящика Пандоры... саркофага, если угодно. А внутри — текст — мумия нашей жизни, жаждущая воскрешения и новой жизни в голове у читателя.

Обложка запирает... и тем приятнее — прочтя текст — выпорхнуть мотыльком и из книги и из нашей постылой жизни на просторы иных пространств.

Вдогонку. В конце 80-х я ради забавы занимался переплетом старых русских книг, делал тканевые переплеты... и такие обложки мне нравились больше всего. Без картинок, без букв. ... Без названий, без автора... названия нет, нет и автора, мы все пишем одну книгу... только разные ее главы. И чудесный старославянский язык...

Для меня чувство правоты — самая убийственная иллюзия на свете. Моя проза — это всегда только предложение. Попробуйте так... на свете нет ничего абсолютного... нет ни правоты, ни неправоты... есть только самоутверждающиеся экзистенции. Иные нам приятны, иные нет.

Почему не получится написать роман о событиях 1993 года?

Мне — со стороны — представляется, что все эти мощные даты российской истории — 1990 и 1991 и 1993 и 1994 и 1996

и наконец 1999 — только этапы нисхождения горбачевской перестроечной России в новый, специальный ад.

По нелинейной лестнице...

Не трагедия... путь в никуда. В ничто.

Путь безумца, разгоряченного социальными галлюцинациями и страхами.

В романе надо или убивать героя, или отправлять его в тюрьму или заграницу, или устраивать свадьбу. А это заживо гниение и само-выпотрашивание, само-вылущение — которое предлагала герою Россия последних 30 лет — на линию (или пространство) романа не натягивается. Нет каркаса, одни зуботычины. Не только героя нет, человека больше там нет, общества нет, народа нет (Саша прав), в пространстве тошных симуляций.

Яма вырыта преогромная. Вопрос только, когда свинцовый шар в нее упадет наконец. Нельзя писать роман-яму, роман-лужу... В скобках замечу — все русские романы или вранье, или ямы. Иногда — целые котлованы.

В конце 1989 года — несмотря на огромные демонстрации добрых и честных людей, в которых я с удовольствием участвовал — что-то произошло. И в Москве и, наверное, во мне. Любимый город, любимые улицы стали мне чужими, даже агрессивными. И люди... в Москве... тоже стали, как будто другими... в них неожиданно проявилось такое... отчего у меня мурашки по спине бегали. Я московский человек. Бывал не раз в жутких ситуациях. На волосок от смерти. Но тогда — пришло что-то другое, новое. И это новое было хуже московской шпаны, хуже гэбни, хуже сталинских людей... Это новое было даже по-своему веселым. Но мне вдруг стало предельно ясно — я тут жить не буду, с НИМИ, надо делать ноги, пока жив. И жену с дочкой увозить.

Это я о том, что «новые люди» — таки есть. В мои короткие приезды в Москву позже я их видел, чувствовал. И даже в старых любимых друзьях — появилось это ужасное новое... веселое...

Разные судьбы, разные восприятия одного и того же. К слову, тогда же и Россия и Москва... скукожились... почти сгорели... потеряли в значении. Если бы я в августе был в Москве — на площадь бы не пошел, а на вокзал подался, купил бы билет у проводницы и уехал... в Литву... а оттуда перешел бы в Польшу. Все эти прекрасные события — август, снос Дзержина... должны были произойти еще во времена моего детства — во время оттепели... и вместо ввода войск в Прагу — должна была по-настоящему расцвести пражская весна. И другие весны... Но все это случилось... когда было уже поздно... когда было все равно. Вот и получили то, что получили. Потому что святой дух невозможно обмануть... что вы все есть, то у вас и будет... Путин не случаен и выбран не ельциным... это онтологический выбор народа. Его новая икона... его суть.

Об уходе... Как раз тогда, когда в Москве стреляли, в октябре 1993-го года — у меня состоялась в Берлине первая большая персональная выставка графики. На ней не было представлено ни одного портрета или ландшафта... на ней вообще не было фигуративных работ. Только конструктивно сделанные метафизические миры. Которые невежи зовут абстракциями... Когда я от невербальных сущностей вернулся к вербальным — в начале двадцать первого века — суть моей работы не изменилась, изменилась только оболочка. Я до сих пор живу и работаю в метафизических мирах, в альтернативных вселенных... Я ушел из России еще там... и русский язык не заталкивает меня в ее огненную пасть... он тоже — что-то навсегда отпочковавшееся от новояза... Я не там, где вы — не на огромной арене. Я дома.

С новым годом, с новым счастьем...

Все поют как соловьи. А у нас в доме полтора часа назад был пожар. На первом этаже. Кто-то открыл железную дверь в мусорную камеру и бросил в контейнеры две «бомбы». Не атомные и не фугасные. Но контейнеры загорелись...

Ядовитый дым...

Приехали пожарные, кто их вызвал, не знаю. Потушили и уехали. Но дым, не знаю как, прошел в квартиры наверху. Я уже спать лег. Тут шум какой-то неприятный... и звонок во входную дверь — трясущийся сосед сообщил, что в моей квартире сработали датчики дыма и ревут вовсю. А я был в другой квартире. Побежал туда. Подумал, что пожар — у меня. Соседка на лестничной клетке визжит.

Дверь в квартиру открыл — дымище жуткий, датчики ревут как дьяволы... кошмар. Хотел было запаниковать, но не запаниковал...

Стал открывать окна — а там — энтузиасты фейрверка и хлопушек, чертовы идиоты, не смотря на запрет, все еще стреляют как из пушки. В квартире дым, на улице дым...

Все тридцать три удовольствия.

Теперь, вместо того, чтобы спать, сижу, жду, не загорится ли где еще...

Новый год в Берлине.

Никола Зимний.

Позавчера мой дорогой фэйсбучный друг МТ поздравил всех с днем святого Николая, написал о издании специального календаря. И у меня в голове, против воли заработала ассоциативная машинка. Замелькали воспоминания, лица... сколько же их было... галерея... Николай, Николай, Николай... Никола, Ник, Николас...

Да, я еще в юности прочитал по-старославянки жизнеописание Николая-чудотворца Симеона Метафраста. Была у меня дома оригинальная книга восемнадцатого века, растрепанная и зачитанная, которую я сам переплел, чем очень гордился. Подарил мне ее один пьяный дьячок, нашел на церковном чердаке... Хотел выбросить. А я как раз тогда как мог изучил церковнославянский и читал на этом языке каждый день по Евангелию и кусок из Добротолюбия и Молитвослова. Мне представлялось, что в этот язык вкраплены кристаллы Святого Духа и на душе от чтения становилось лучше. Да, позже, в мой недолгий «иконописный период» написал икону Николы, вычеканил сам ок-

лад из нойзильбера — по заказу, для одной подмосковной церкви. Глядел мой Никола на мир пожалуй чересчур яростными глазами, не давались мне ни умиление, ни мудрость, ни благодать. Все мои иконы, даже спасы, особенно спасы — смотрели на мир демоническими глазами. Потому я и перестал иконы писать... не мое. Да, Николай. Особенно меня эти мешочки с золотом умиляли, которые святой оставлял у дверей. А ведь нрав у него был нелегкий, заушил Ария на соборе, за что даже был судим...

Николай, Николай... Николаем звали моего деда по русской линии, которого я никогда не видел. Мать не хотела. Арестовали моего деда Николая в 37-м, 58-я статья... Вышел он, измученный, сломанный, без единого своего зуба... только в 54-м. И прожил недолго. Мать рассказывала, был беден как церковная крыса, но все, что мог, дарил. Дарил, дарил... жалел людей и плакал о них горькими стариковскими слезами... Понял что-то важное в лагере. О жизни и смерти. О людях.

«Сад наслаждений» — это первый том, а два других тома — они оба второй том. Я, хотя часто пишу от первого лица, — свое собственное лицо почти никогда не открываю, свои собственные мнения — скрываю от читателя, мой «автор» — иногда похож на меня, но это вовсе не я (он только прячется за мной). Он тоже литературный герой, а значит, многое, многое в нем и вокруг него доведено до абсурда, гротеска, вместо реальности, тут плазма существования, исступление, ослепление, морок, время вывернуто наизнанку. Я много лет предчувствовал катастрофу, в которой мы все сейчас оказались. Ведь этот потерянный всеми нами 2020 год — это только начало, цветочки, будет сильно-сильно хуже. Видения этого ужасного будущего — прорывались последние шесть лет моей писанины сквозь текст. И соответственно его окрашивали... Я ничего не мог с этим поделать...

Перед тем, как поехать в Израиль — а меня интересовала только библейская древность — поговорил с приятельницей,

прожившей к тому времени лет 20 на Святой земле. Она мне сказала: «Там нет ничего из того, что ты ищешь. Одни обманы. Есть только розоватые камни, из которых можно построить все, что угодно, и бесплодная пустыня, в которой даже абсолютно нормальный человек начинает галлюцинировать. Декорации готовы, а мистерию ты должен разыграть сам. Если тебе конечно охота заниматься этой ерундой».

Одна из последних передач Ивана Толстого на Свободе называется «Звездочеты». Она посвящена двум подвижникам книги. Один из них (Чистобаев) составляет и публикует хорошо иллюстрированный справочник художников советской детской книги после 1945 года. Выпускает это издание толстенными томами... по алфавиту. Сейчас работает кажется над пятым томом. Тома А, Б, В, Г уже вышли.

Это напомнило мне похожую историю. Немцы уже много лет работают над справочником «Послевоенные художники Германии». Одним из главных авторов этого многотомного издания был мой хороший знакомый, ныне уже покойный, доктор Балларин. Я часто навещал его в девяностые годы в его заваленном альбомами и графикой кабинете, мы болтали о том о сем. Он упорно писал статьи в справочник, по 6–10 строчек о художнике. Я каждый раз спрашивал его, когда же он напишет статью про меня (я был тогда художником, устраивал выставки). Это был своего рода ритуал. Я читал очередную статью и горестно спрашивал... когда же, когда же... А он подыгрывал мне и каждый раз серьезно отвечал: «Ваша фамилия, дорогой, к сожалению начинается на “S”. А мы все еще работаем с буквой “D”. Лет через 40–50 дойдет и до вас очередь. И вы станете бессмертным».

Вот так дело обстоит в Германии. Друг мой уже 16 лет как умер. Я давно перестал рисовать. А справочник этот чудовищный живет своей жизнью, ползет дальше как черепаха, его пишут другие люди, кажется они уже дошли до буквы «G». Не видать мне бессмертия.

О реализме.

Часто... почти всегда... пишут для того, чтобы ярко, многокрасочно и с многочисленными, вполне реалистическими подробностями... замолчать то маленькое и серенькое, что пронизывает собой наши тела и судьбы, что жестко детерминирует нашу жизнь.

И это касается не только так называемых советских писателей, но и многих других пишущих.

Можно даже сказать, что это замалчивание, этот творческий самообман, это вытеснение — одна из главных мотиваций писательства вообще.

Поэтому, читая прозу, надо пытаться представить себе сферы умолчания, теневые области, многозначительные лакуны в тексте.

Очевидные вещи, о которых обычно забывают.

Реплика на высказывания Александра Гениса, предваряющие его беседу с Соломоном Волковым: «Искусство биографии».

«Мы больше не придумываем, мы пересказываем чужое», «Тысячи романов ... рассказывают одни и те же истории», «мы не ждем от литературы великих открытий», «карта большой словесности уже вычерчена», «вымысел это плагиат» и прочее и прочее — это не кризис литературы, это кризис скептика Гениса, обожравшегося стихами и романами, потерявшего свежесть восприятия и не способного писать художественные тексты.

А не надо так много читать, если хочешь сохранить острое живое чувство при чтении... Литература всегда была повторением, и это ей нисколько не мешало. Так же как повторением является сама жизнь. Поколения за поколениями вдохновляются теми же мечтами, совершают те же ошибки, живут, цветут, стареют и умирают...

И нет никакой «карты большой словесности» — а есть лист Мебиуса. Жизнь заполняет его историями и словечками, а потом стирает их... чтобы вновь заполнить.

И не надо требовать от романов слишком многого.

Бесполезно!

Также как бесполезно требовать слишком многого от жизни. Многие старые люди вообще не читают новые романы или рассказы. Предпочитают биографии или иную документаристику. Это нормально.

Довольно толстая русалка.

Давно хотел почитать что-нибудь Зинаиды Гиппиус. И вот, нашел в инете пьесу, под названием «Святая кровь». Начинается она так: «До поднятия занавеса слышен далекий и редкий звон колокола. Лесная глушь. Гладкое, плоское, светлое озеро, не очень большое. У правого берега, поросшего камышом, поляна, дальше начинается темный лес. На небе, довольно низко, но освещая тусклым, немного красноватым светом озеро и поляну, стоит ущербный месяц. Рой русалок, бледных, мутных, голых, держась за руки, кругом движется по поляне, очень медленно. Напев их тоже медленный, ровный, но не печальный. Он заглушает колокол, который звонит все время, но когда русалки умолкают на несколько мгновений — он гораздо слышнее. Не все русалки пляшут: иные, постарше, сидят у берега, опустив ноги в воду, другие пробираются между камышами. У края поляны, около самого леса, под большим деревом сидит старая, довольно толстая русалка и деловито и медленно расчесывает волосы. Рядом с нею русалка совсем молоденькая, почти ребенок. Она сидит неподвижно, охватив тонкими руками голые колени, смотрит на поляну, не отрывая взора, и все время точно прислушивается. Час очень поздний. Но тонкий месяц не закатывается, а подымается. По воде стелется, как живой, туман».

Расхохотался. Вот вам, господа, весь «Серебряный век», как на ладони. Дальше читать не стал.

Интересно, а какой нынче «век» русской литературы?

Свинцовый, уже кажется был — так иногда называли советскую литературу. Чугунный? Или точнее — шлаковый?

Поднимите мне веки.

Вы, на мой взгляд, делаете две типичные ошибки. Вы — жертва школьного советского обучения. Ошибки восприятия текста. Ошибка первая — вы «валите все на автора», т.е предполагаете, что «страшилки» пишутся для «преодоления каких-то личных фобий». Это не так. Ошибка вторая — вы мою страшилку приняли за суровую критику родины с определенных идеологических позиций. Хотя ничего подобного там нет. Никакой критики.

На самом деле — разрушенная Москва в «Крысолове» — это всего лишь метафора душевного состояния моего лирического героя. Не меня, автора, а совсем другой сущности, не человеческой, а литературной...

Поэтому, в частности, если бы вы внимательно прочитали или прослушали «Крысолова» — вы бы сразу заметили, что описаны там остатки не современной России, а брежневской...

И вообще, в таком рассказе многое надо воспринимать «наоборот», как во сне.

Не будете же вы воспринимать беготню майора Ковалева — без носа, да и самого его носа в мундире по Петербургу — как критику родины, понадобившуюся Гоголю для преодоления каких-то фобий... Или дикую историю Акакия Акакиевича в «Шинели».

Прочитал, точнее заставил себя прочесть сегодня четыре главы из середины — «Голубого сала».

Все-таки такой знаменитый роман!

То, что у автора бесспорный талант — очевидно.

Но как может это быть таким популярным среди российских читателей — не понимаю. Читать невозможно.

Все эти ничего не значащие примочки и кликухи, придуманные критиками для читательской массы — соцарт, постмодернизм, концептуализм — не спасают текст от бездушия, отсутствия характеров, неискренности, авторской хитрожопости, перегруженности именами, понятиями, осточертевшими штампами и прочим мусором...

Настоящая словесная свалка. Сцементированная порнухой.

Это что же — развернутая метафора для современной России? Тогда, конечно, говорить не о чем. Лучше пулю в лоб пустить, чем в такой клоаке жить. Только зачем тогда печь из этого литературные пироги? Да еще с такой энергией, с таким энтузиазмом...

Композиция рассказа? Проще простого.

Чаще всего я строю более-менее реалистическую даже правдоподобную (в кавычках) декорацию для входа в лабиринт. Читатель и не понимает, что его заманивают (топтание текста на месте — верный признак ловитвы автора).

Дальше… дальше читатель идет, не замечая этого, под руку с моим беспечным лирическим героем-прохиндеем, смотрит по сторонам, с ним что-то происходит.

Где-то в глубине лабиринта его ждет минотавр.

Не обязательно материальный.

Или, в отечественном варианте — серенький волчок.

Ну а дальше? А дальше как получится.

Быть средним прозаиком — не стыдно.

Потому что прозаики, трудяги на общих работах, все вместе землю роют, камни ломают, перерабатывают реальность в сусло словесности.

А потом тянут, прядут свои нити-строчки, создают нечто междумирное, предназначенное однако для кормежки читателя... Ну да, да, не каждую похлебку хлебать хочется...

...

Средним поэтом быть — стыдно. Лучше не писать.

Поэзию не жрут, ей дышат. А у среднего поэта вместо сияющих воздушных кристаллов — камни в почках.

(Написал, послушав передачу про хорошего, рано умершего поэта Дениса Новикова. Как ни вдувал в него Парамонов гениальность, но так и не вдул. Или есть, или нет...)

Скурильные танцы.

ИТ умеет читать перед микрофоном художественный текст. Редкий в наше время, неблагодарный дар...

Умеет превращать сухой набор буковок и пробелов в живой радиотеатр, в котором не только эпохи и герои себя манифестируют, но и абзацы, и сами предложения, и слова и паузы, Даже точки.

Иван читает и... и чужие судьбы и мысли... и наши собственные сумеречные желания и страхи начинают потихоньку воплощаться... прорастают сквозь все преграды и стены, которые мы с детских лет строим и укрепляем, чтобы не быть растерзанными невидимыми драконами.

Прорастают и дарят нам свои ароматы, цветы и плоды... разыгрывают перед нами свою мистерию.

Все, не только подобия людей и мельчайшие детали их искусственного литературного бытия, но и химеры и куклы нашего подсознания, темы и вариации, и даже сами умолчания и отсутствия становятся «литературными героями», «поводами», «сущностями»... оживают и вползают, влетают, вбегают в зал магического театра, чтобы принять участие в бале-маскараде.

Все получают дополнительную энергию и пинок в зад — от чудесного баритона аудио-мага.

И «Смерть Саши» и «Чингачгук» должны, на мой взгляд, восприниматься слушателями не как описание навязчиво символичной смерти на даче одинокого хмыря, не нашедшего себя в новом крутящемся мире и не как нозография советской интеллигентской свадьбы конца семидесятых... а как (повторюсь) фантазию, обращенную в прошлое, как скурильные танцы скурильных героев скурильной эпохи в интимном зале магического театра.

Посмотрим на них внутренним оком, послушаем их жадным ухом и подарим им частичку бытия...

Прочитал Ваш рассказ.

Талантливо, поэтично, уверенно написано...

То, о чем мечтает ваша героиня, то, самое важное... невозможно найти ни в Берлине, ни в Нью-Йорке, ни в Париже, ни на кольцах Сатурна... Нигде...

Это... то... можно только потихоньку, жертвуя хорошими метафорами, всем жертвуя... вытянуть из текста, не привнести в него... а вытянуть... вытащить из ничего... из белого листа... из трепещущей плазмы времени.

А все, что нам дают другие... дает другое... на это нельзя опереться... люди, города, ландшафты, сюжеты... Это только материал, пластичный материал для того, вечно ищущего форму, для неопределимого, сокровенного, ускользающего... ради которого только и стоит жить.

Долго думал, что не так в моей прозе, и не только в моей... да-да, далеко не только в моей. Интуитивно понимал всегда, но просто и ясно сформулировать не мог. Теперь могу.

Так вот, стоит высокая башня, на ее верхнем этаже, далеко от земли, живет писатель. Автор. Он гений. Полубог. Он все знает. А что не знает, о том догадывается. Он придумывает сюжеты, пишет рассказы и романы... Иногда он открывает окно и читает свои труды толпе, окружающей башню. В толпе — его читатели. Писатель читает, а читатели млеют от удовольствия. Становятся умнее, видят мир глубже, переживают катарсисы, наслаждаются вместе с литературными героями необыкновенными приключениями, идентифицируют себя с ними, получают на пятидесяти страницах прозы столько жизненного опыта, сколько сами и за пятьдесят лет получить не смогли бы. И прочее, и прочее, и прочее...

Так вот, этой модели «писатель — читатель» пришел конец. Морально ее дискредитировали две мировые войны, доказавшие всем нам — никакая культура, даже самая возвышенная, не спасает человечество от оргии самоуничтожения, которой оно с упоением предается постоянно и везде, только с разной интенсивностью и в разных формах...

Мир не спасают ни красота, ни мудрость, ни Библия, ни Коран, ни Бах, ни Моцарт, ни Толстой, ни Чехов, ни Рильке, ни

Пастернак. Даже на миллиметр гуманнее не делают. В лучшем случае — развлекают. Или — отвлекают. Так называемая «культура» обанкротилась.

Окончательно добил описанную выше модель — интернет. Башни больше нет. Писатель копошится в той же грязной луже повседневности, что и другие люди. Слушать его больше никто не хочет. Они слушают того, кто громче всех пустил ветры в интернете. И смотрят на мяукающих кошек. А писателя рассматривают как назойливого самозванца.

И книгопродавцам и издателям, если они конечно хотят, чтобы хоть кто-то купил их товар — приходится тратить огромные суммы на подкуп критиков, бумажной прессы, известных людей культуры, политиков, радио и телевидения, продажных блоггеров... для организации массового ажиотажа, или массового психоза публики, ее наглого обмана... Для того, чтобы заставить массу покупать их товар.

Мне неоднократно сообщали знатоки, сколько стоят подобные кампании в Германии. Для достижения самой нижней ступени известности надо потратить 8 — 10 тысяч евро. Как бы ты ни был талантлив. Кого это нынче трогает? Следующий этап — раз в десять дороже.

Новости.

Посмотрел новости — только черные сообщения. Одно чернее и безнадежнее другого. Младенчик выжил, но вся его семья умерла, двадцатилетняя девочка осталась с одним легким, половина обитателей дома для престарелых заразилась ковидом.

Такое впечатление, что Европа, да и все человечество — не борется с вирусом, а использует его, чтобы быстрее и надежнее покончить с собой.

Люди не хотят признаться самим себе в том, что прежняя жизнь прошла, и что надо искать новые пути, новые формы существования. Что надо меньше производить. Меньше потреблять, Ценить то, что есть. Остановить безумную капиталистическую гонку за прибылью. Больше инвестировать в об-

разование и медицину, чем в автомобильную индустрию. Забыть на время о роскоши. Поберечь себя и природу. Что нужно заново изобретать велосипед. И не только велосипед, но и тысячу других полезных вещей.

Люди сидят в огромных помещениях, спина к спине, ездят в метро и автобусах, работают в многолюдных цехах, а вечером идут в бары, кафе, рестораны, посещают кино и дискотеки, тащатся в отпуск, летают в самолетах, валяются на пляжах, лакают алкоголь, спариваются, топчутся на бессмысленных демонстрациях, устраивают массовые сборища и заражают, заражают, заражают друг друга. Колесо болезни и смерти катится дальше...

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Захотелось мне почитать Бажова. Какой-нибудь волшебный сказ из его Малахитовой шкатулки. Почувствовать пряный вкус давно оставленной родины.

Открыл трехтомник Бажова в электронной библиотеке Никитина-Перенского. Только вместо первого тома, открыл случайно третий, а там вместо Уральских сказов — Уральские были. Неохота было возиться, скачивать еще один том, дернул мышкой, открыл, где открылось, и начал читать. Что-то про колхозников, про трактора, про кино…

И стало мне дурно на середине страницы.

Потому что несмотря на очевидное мастерство автора, почувствовал фальшь. Хорошо знакомую, старую советскую лжу. И изъяснялись, и вели себя эти герои Бажова не так, как говорят и ведут себя советские люди в провинции. Знаю по опыту. Закрыл книгу, читать дальше расхотелось.

Вспомнил невольно один мелкий уральский эпизод, даже не происшествие, а так… мелочь.

Гостили мы с женой у тестя с тёщей… на даче километрах в двадцати от Челябинска.

Поехали однажды на тестевых жигулях на заброшенный карьер недалеко от шахтерского города Коркино. Позагорать и искупаться.

Солнце жарило вовсю. Комары пели свою песню…

День был будний, на песчаном пляже загорали только несколько человек. Женщины в бикини, мужчины в плавках. Похоже, тоже дачники.

Расстелили большое зеленое одеяло подальше от других… искупались… Тесть закурил.

Тёща и жена читали, отгоняя редких на солнце слепней. Я мечтал.

Идиллия.

Но тут на пляже появились новые люди — подростки лет 12–14. Сорняки. Расселись на песке недалеко от нас.

Все как один — страшно худые, бледные, рябые, курносые, с впалой грудью и обкусанными ногтями на нечистых руках.

В ужасных черных трусах и кедах.

Сели в кружок, закурили папиросы, и начали нагло на нас посматривать, плевать в нашу сторону и что-то громко обсуждать.

Один из них достал из сумки финку и многозначительно нам показал. Другой играл заточенной отверткой…

Я не понимал их отрывистую, харкающую речь. Она состояла почти исключительно из непечатных слов… из мата. И не просто мата, а его местного варианта. Неизвестного филологам из Института русского языка имени Пушкина.

Мой тесть, профессор Политехнического института в Челябинске, за свою долгую жизнь повидавший всякие виды, послушал их, посмотрел на нож и отвертку, помрачнел… поморгал, покачал головой и шепнул мне: Не пялься на них. Сейчас же уходим отсюда. Тихо и без разговоров.

Тоже самое он сказал своей жене и дочери.

Женщины, вопреки ожиданиям, не стали артачиться, быстро собрались, свернули зеленое одеяло и пошли к стоящим в ста метрах от пляжа жигулям.

Тесть быстро проверил, не спустили ли колеса. Не поцарапан ли капот.

Все хорошо.

Сели в машину и поехали.

Тесть и тёща всю дорогу угрюмо молчали.

Я что-то сказал жене, она нахмурилась и приложила палец к губам. Гневно посмотрела на меня. Что такое?

Когда мы приехали, тесть пробурчал: «Хорошо, что они нам шины не прокололи».

Тёща так прокомментировала его реплику: «Коля, ты всегда из мухи делаешь слона».

Тесть промолчал, играя желваками.

На даче, во время обильного обеда с водкой, пельменями, жареными свежими грибами, которые собрали вчера в бесконечном березовом лесу, начинающимся прямо за дачей

и тянущимся до самого Кургана, салатом из купленных на рынке в Коркино помидоров и мясным пирогом, разговор не клеился.

Я начал было острить… рассказал что-то из институтской жизни. Разговор никто не поддержал.

Хотя я и пытался ограничивать себя, объелся. Пузо раздулось. Тьфу!

После обеда решили вздремнуть. Теща с тестем уединились в спальне, на большой старомодной железной кровати. По ночам она ужасно скрипела.

Мы с женой пошли в свою отдельную маленькую комнатку на другой стороне дома, в которой помещались только два старых матраса. Жена прилегла ко мне на плечо, и только тогда я спросил ее: Слушай, о чем говорили эти мальчики на пляже? Я кроме матерных слов ничего не разобрал. И почему мы вдруг уехали?

Ответ жены меня поразил: Папа подстраховался. И не зря. Эти мальчики говорили о том, что неплохо бы было продырявить ножом и отверткой тебя и папу… а меня и маму изнасиловать. Обсуждали это, ничуть не стесняясь, смакуя детали. Про маму они говорили, что ее «для начала хорошо было бы полапать за жирные дойки», а затем «запустить ей хорька в пилотку», меня они называли — «узкоколейкой», говорили, что у них есть для меня подходящие «карандаши», папу называли — почему-то — «гинекологом», а тебя — «ботаником». Один маленький, рыжий, зеленоглазый, тер все время свои трусы и бормотал: «Хочу палку кинуть. Палку. Палку. Палку». В слове «хочу» он делал ударение на «о». Другой, длинный, неотрывно смотрел на меня, как будто жалом впился и шептал. Не буду говорить тебе, что… так гнусно. И руками показывал так… Мы тебе не сказали, не хотели пугать, но тут недалеко, в соседнем дачном поселке неделю назад произошло массовое изнасилование и убийство. Изнасиловали дачницу, 72-х лет, прямо у нее в доме. Перелезли в полночь через забор, разбили окно, ворвались в дом. И издевались над старухой до утра. А потом запыряли до смерти ножами или заточками в живот. Соседи слышали крики, но

вмешаться побоялись. Никто даже милицию не вызвал. Да и как вызвать — телефонов тут нет. Все сидят по домам и трясутся за свою задницу. Может быть эти самые пляжные пацаны и отличились. Милиция тут не работает, потому что менты — сами бандиты. У нас в прихожей на всякий случай всегда топор на тумбочке лежит. Под газетой.

В ПОДЗЕМНОМ ПЕРЕХОДЕ

Ивану Т.

Москва начала ноября девяностого года пахла гнилью, окурками и собачьим дерьмом. Холода еще не наступили, в воздухе висела та особенная сырость, которая просачивается под рукава пальто, под воротник… въедается в кости и сухожилия, проникает и в голову, заставляя сомневаться в существовании солнечного тепла и самого Солнца.

Иван Петрович Синицин, инженер, уволившийся полгода назад из своего института, в котором проработал двадцать пять лет, а ныне — униженный судьбой и рано постаревший из-за нездоровой жизни продавец газет, стоял, прислонившись спиной к шершавой стене подземного перехода, слушал грохот тысяч машин, пересекающих площадь, и смотрел гноящимися глазами на проходящих мимо него людей. Их было очень много.

Человеческая река текла по подземному переходу как вулканическая лава при извержении, все превращая в саму себя. Но эта московская лава была не красной и не оранжевой, а серой. Безличной, агрессивной, тошнотворной.

— Эй, интеллигент паршивый, — раздалось откуда-то снизу, — что приуныл?

Иван Петрович опустил взгляд. У его ног стоял карлик в нелепой, слишком большой для него каракулевой шапке с генеральской кокардой. В смешной клетчатой курточке и гетрах. Курносое лицо карлика было желтым, болезненно деформированным, жутковатым, а глаза — неестественно голубыми, словно у фарфоровой куклы.

— Чего тебе надо, урод? — хрипло спросил Иван Петрович. Произнеся это, Иван Петрович тут же раскаялся, обычно он был осторожнее в словах и не обижал сирых и убогих. Карлик ничуть не обиделся.

— Хочешь, покажу тебе дорогу в ад? — спросил карлик, поправляя папаху. Он не шутил и не безумствовал. Видимо, не собирался приклеиваться. Он говорил убедительно… верил в то, что сможет провести Ивана Петровича в потусторонний мир. Возможно даже, кто-то поручил ему это сделать.

Иван Петрович скептически, насколько хватило сил, усмехнулся. Закашлялся.

В ад?

Для него ад и так был повсюду. В презрении, с которым его жена и его бывшие коллеги на него смотрели. В универсаме, где уставшие люди грызли друг друга как крысы за пачку масла. В телевизоре, который каждый день показывал пышные поминки и помпезные похоронные процессии. В вагонах метро и в автобусах, в которых озлобленные пассажиры были прижаты друг к другу как тисками.

И то, что он ежедневно, много часов подряд наблюдал тут, в подземном переходе под грохочущей площадью, тоже было адом.

Но главное — ад смотрел на него из всех зеркал глазами измученного, во всем изверившегося, вечно раздраженного старика, невротика и психопата.

Во что я превратился, боже!

— Зачем? Там, говорят, все хорошие места уже заняты, — ответил Иван Петрович, закуривая «Приму».

Дым при затяжке царапал ему горло тысячами маленьких металлических крючков. В голову ударяла волна кайфа, состоявшая из удовольствия и кашля.

— Не боись, старче, найдем тебе приличное место на галёрке, — карлик хихикнул, обнажив гнилые передние зубы. — Ты же сам давно туда хочешь. Ты устал. Устал ждать, когда совок окончательно рухнет и погребёт все под собой. Пора, пора…

Пора?

Иван Петрович посмотрел в голубые, стеклянные глаза карлика и почему-то почувствовал облегчение. Как будто кто-то снял с его плеч тяжелый, натирающий лямками кожу до крови, рюкзак.

Карлик протянул ему маленькую детскую ручку.

— Пойдем. Подвал тут недалеко. Там раньше гастроном стоял. Снесли. А рядом была пончиковая.

И они пошли.

И вот… проклятая станция метро «Октябрьская» и пестрые пионеры нового времени — опостылевшие Ивану Петровичу до рвоты киоски вместе с их ужасными продавцами и сварливыми покупателями остались позади, и не только они, но и все мучительное, позорное время, все эти месяцы, проведенное бывшим инженером в подземном переходе выпало из его памяти, перестало её терзать.

А затем он растерял и все остальное. 25 лет бессмысленной работы в институте. Нелепую семейную жизнь. Несчастливое, полное унижений и насилия, мучительно долго тянущееся детство.

Вот и подвал. Они спустились по замызганным бетонным ступенькам.

Карлик уверенно шел впереди и тянул Ивана Петровича как воспитательница детского сада — непослушного ребенка.

Воздух в подвале становился все тяжелее и тяжелее. А грохот сверху — тише и тише.

— Почему именно я? — спросил Иван Петрович, ощущая всеми клеточками тела неотвратимость происходящего и удивляясь безумию происходящего.

— Потому что ты на очереди. Ничего личного. Не горюй, там все не так, как думают люди. А вот и вход, — карлик указал кривым пальчиком на тяжелую железную дверь, изрисованную непристойными картинками.

Иван Петрович потянул дверь на себя. Жадно заглянул…

За дверью не было ни геенны огненной, ни Молоха, ни всего того, что нарисовал Иероним Босх и описал знаменитый флорентинец.

Перед ним простиралась широкая ровная долина между невысоких горных хребтов. На горизонте возвышались огромные строения, по-видимому храмы неизвестных Ивану Петровичу богов.

Растительности не было видно. Поверхность долины была похожа на хорошо утрамбованный глиняный пол.

По середине долины текла неширокая река. Вода в ней походила на ртуть.

По берегам ее гуляли обнаженные пожилые люди, видимо не стесняющиеся своей наготы.

Мертвые, догадался Иван Петрович. Мертвяки.

Мертвые люди разговаривали, неуклюже барахтались в реке, некоторые обнимались, прыгали, гонялись друг за другом, играли как дети в мяч. Кое-кто, уединившись среди скал, занимался любовью.

Иван Петрович быстро скинул с себя влажную от пота одежду и грязные, давно прохудившиеся ботинки, в которых ныли и прели ноги, и легко, как мальчик, побежал к мертвым людям.

Проходящий по подземному переходу патрульный милиционер только после четвертого прохода заметил мертвого, сидящего на грязном бетонном полу продавца газет. Мертвеца успели ограбить, карманы его дешёвого пальто были пусты. Газеты растащили. Сняли с руки часы — единственную память о пропавшем в начале шестидесятых в Сибири отце-геологе. Украли даже недокуренную пачку «Примы» и ботинки.

Но больше всего удивило милиционера то, что мертвец, как ему показалось, улыбался.

МАСТЕР СТРАШНОГО СУДА

Генри был слабым человеком. Духовно и физически. Ему казалось, что его седая голова, руки и ноги год от года становятся все меньше и меньше, а неуклюжее туловище — все толще и уродливее.

К тому же его мучило постоянное чувство вины из-за того, что он натворил в юности. И эти уколы совести становились со временем все больнее.

Что же он натворил?

Он никогда никому об этом не рассказывал. Когда его спрашивали, он неловко, как больной болезнью Паркинсона, поправлял аристократический пробор на своей все еще красивой, вовсе не маленькой, голове с высоким лбом и чудесным затылком и глубоко вздыхал. И опускал печальные глаза.

Живущие в Берлине французы утверждали, что он когда-то вместе со своим кузеном-уланом отрезал кому-то голову. И не одну, а дюжину голов.

А еще — похоронил заживо свою невесту в фамильном склепе. А ее любовника заколол как свинью и повесил на веревке в огромном зале замка в предгорьях Альп и использовал его труп как маятник.

Что только люди не придумают!

Генри жил в Берлине скромно и одиноко, сторонился и мужчин, и женщин, работал корректором в маленьком интернациональном издательстве, исправлял ошибки пишущих воспоминания графоманов. Деньги ему были не нужны, и он работал только для того, «чтобы хоть как-то упорядочить жизнь».

После работы шел в кафе «У четырех пони», где мы с ним и познакомились, и выпивал там порцию холодного «дизеля», съедал сосиску с картофельным салатом и маленькое пирожное с маком и взбитыми сливками. После этого уходил в свою двухкомнатную конуру на Блюхерштрассе, на третьем этаже в доме напротив известного кладбища, которую купил по де-

шёвке у бывшего земляка, возомнившего себя великим кулинаром и обанкротившегося. Генри утверждал, что из окна его гостиной виден камень на могиле Э.Т.А. Гофмана, и что дух великого романтика посещает его иногда в долгие холодные зимние ночи.

Генри выпивал за вечер три большие чашки густого какао и ничего не ел кроме овсяного печенья, которое покупал в магазине ИКЕА.

Никто не знал, чем он занимался помимо корректорской работы. А сам Генри об этом не распространялся. Потому что боялся сглазить. Ведь он мечтал написать мистический роман. Действие его должно было начинаться и кончаться в сумерки. Для этого и переселился в Германию. Много лет читал книги о магии и оккультизме в библиотеке на Потсдамской улице. Даже проводил в одиночку какие-то пробные ритуалы. Вызывал кого-то…

Не раз пытался начать писать свой роман, но буксовал уже на первой фразе.

— Как я могу писать, что он, такой и сякой, что он поехал туда и туда и что встретил там ее или их в ресторане. Это же бред, вздор, ахинея. Кому есть дело до того, как они выглядели, куда ездили, что они ели и что говорили?

Там же, недалеко от Блюхерштрассе в сером кирпичном доме, похожем на казарму, поселился странный человек. Соседи прозвали его монахом. Когда он въехал, кто он на самом деле — никто толком не знал.

Мне он показался существом не от мира сего. Или, попросту, — дьяволом, в одной из его особенно издевательских ипостасей. Куда хуже рогатого черта с багром или классического черного пуделя. Но мое мнение не много стоит, я видел монаха только раз, во время одной из рекомендованных мне моим домашним врачом прогулок, никогда с ним не беседовал. Хорошо запомнил только, что он на меня как-то особенно посмотрел. Не как человек и не как зверь. Посмотрел не на меня, а сквозь меня. Возможно, так смотрят на людей тысячи лет нас наблюдающие и давно пресытившиеся этим неблагодарным занятием внеземные существа.

Монах был высок и худ. Всегда носил длинное пальто с капюшоном цвета запекшейся крови и сандалии на босу ногу, за что и получил свое прозвище.

Кожа на его лице напоминала мятый пергамент, а тело — хорошо сохранившуюся египетскую мумию, в которую кто-то вдул жизненную силу и энергию Моржеридского зверя.

Он не ходил, а скользил как тень, оставляя после себя едва заметные следы из серой пыли, пахнущей нафталином.

Его небольшие невыразительные глаза светились в темноте как кошачьи.

Говорили, что монах ездит по ночам по Кройцбергу на роликовых коньках, гоняется за прохожими и ворует у них души. Прохожие этой потери вовсе не замечали. Что неудивительно, немцы давно перестали верить в существование души.

Однажды вечером Генри сидел в кресле у себя дома и читал роман «Мастер Страшного Суда» Лео Перуца. Бормотал: Как он многословен, этот Перуц… Весь роман — разглагольствования и фантазии главного героя, этого амбивалентного ротмистра. И разгадка банальная. Галлюциноген. Неубедительно.

В этот момент в кресле напротив него вдруг из ничего появился человек. Это был монах, Генри тотчас узнал его, видел его, как и я, на улице.

— Генрих, — просипел монах, — ваша корректура не хороша. Вы исправляете чужие грамматические ошибки, но не замечаете, как рушится сама основа вашего бытия. Вы летите назад во времени и скоро окажетесь в бронзовом веке. Или… в голоцене. Ха-ха-ха.

Монах многозначительно поднял руки, согнул оба указательных пальца, затрубил и похоже изобразил мамонта.

— Будьте осторожны. Иначе вас затопчут.

Генри побледнел и задрожал. Он не понял смысл того, что сообщил ему монах. Какая такая «основа бытия». Чьего бытия? Мамонты?

После этого монах стал появляться в квартире Генри каждый вечер. Видимо, вошел во вкус.

Материализовавшись, он садился на стул или влезал с ногами в кресло и разглагольствовал.

— Взгляните, — монах указывал на пятна на обоях. — Это же карта ваших упущенных возможностей. Если я проведу по ней рукой, они превратятся в эпизоды вашей прошлой жизни. Еще не поздно начать жить заново. Хотите?

Генри ничего не хотел. Он хотел только одного, чтобы монах ушел. Но слабость не позволяла ему его прогнать. Он упорно молчал.

И монах часами мучил его своими шизоидными инвективами.

Хуже того. Монах начал наводить в квартире Генри свой порядок.

Переставлял мебель.

Выкладывал на пол одежду из шкафа.

Снял люстры и повесил вместо них ботинки на шнурках.

Поставил кверху ногами проигрыватель и телевизор.

Вынул замок из входной двери.

Стекла на окнах покрасил в сиреневый цвет.

Генри ничего не мог поделать. Он как всегда был пассивен и слаб. У него болели мышцы и суставы, и страшно чесалось за ушами.

В квартире Генри начали происходить странности: все часы пошли назад, а из радиоприемника доносились голоса давно умерших родственников Генри, которые просили передать им с оказией сахар и соль.

Книги на полках начали терять названия и авторов, их обложки стали похожи на серые кирпичи.

Каждый вечер мебель танцевала, а пространство комнат и коридора сжималось и разжималось как гармошка.

Многие предметы запели. Унитаз пел тенором, а батареи парового отопления — баритоном. Пели они арии из оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Ножки большого обеденного стола то и дело отбивали чечётку.

По потолку заползали мохнатые сороконожки и ужасные синие пауки.

— Вы ведь понимаете, — тихо говорил монах, поглаживая по интимным местам пыльную керамическую вазу в форме нагой женщины, — что жизнь — это набор случайностей и опечаток. Графоман-демиург наломал дров. А расплачиваться приходится вам, недотепам. Умора просто. Террарий, а не планета.

Генри чувствовал, как его индивидуальность размывается. Монах высасывал из него остатки его воли, его время, его рассудок, становясь всё более материальным и назойливым.

А Генри — потихоньку терял все, что можно было потерять.

— Генрих, — прошелестел как-то монах, и в этом звуке послышался скрежет зубов о железо. — Вы опять читали Перуца? И не скучно вам? Ведь он воображала и плут. Посмотрите на свои руки. Они почти прозрачны. Вы исчезаете, Генрих. Вы — лишь очередная ошибка в черновике Бога.

Генри промолчал. Его слабость была не только его проклятием, но и его броней. Он даже не пытался возражать, знал, что слова застрянут в горле. Что он поперхнется и раскашляется, а его незваный гость будет хохотать и звенеть перед его носом золотыми колокольчиками.

В один из вечеров монах появился с таинственной старинной книгой в руках, переплетенной в кожу, похожую на человеческую.

— Откройте и читайте, — приказал он.

Генри открыл книгу. Страницы ее были пусты.

— Я ничего не вижу, — прошептал Генри.

— Это печально, — произнеся это, монах встал, при этом растянулся и достал головой до потолка. — Значит, вы — только пустота. Ведь все книги пишем мы сами. Авторы только помогают нам в этом. Или мешают.

* * *

Однажды монах протянул руку, чтобы коснуться лба Генри, и в этот момент Генри неожиданно для самого себя обрел

силу. Пришло время его торжества. Он схватил давно лежащий на журнальном столике стеклянный шар с застывшей внутри метелью вокруг Кёльнского собора — и бешено швырнул его в монаха.

Шар пролетел сквозь одежду и тело его мучителя, как пушечное ядро сквозь дым. Монах хохотал, из его рта вылетали черные птицы, которые тут же начали клекотать и биться о стены комнаты.

— Глупый Генрих, — бурчал монах, приближая свое пергаментное лицо к бледному лицу Генри. — Неисправимый материалист. Меня нельзя убить предметом, пулей или снарядом. Я не солдат на поле боя. Я — твой страх и ужас, то, что ты так жадно ловишь между строк своих любимых книг.

В этот момент Генри наконец сделал то, что должен был сделать при первом же появлении монаха… представил себе, что монаха не существует, что он лишь плохая метафора в затянувшемся рассказе.

И монах исчез.

Но не совсем.

На ковре лежал стеклянный шар, а внутри него, среди искусственного снега, билась крошечная фигурка в красном, в отчаяньи прижимая ладони к стеклу. Генри поднял шар, вытер его носовым платком и положил на книжную полку.

Сел на стул и уставился в стену. И так и сидел до утра, не в силах осознать случившееся. Не знал, радоваться ему или горевать.

Повторял про себя: Я сам его и вызвал. Я, я, я сам вызвал его. Я сам… идиот…

В комнате пахло нафталином, а на столе все еще лежала та самая книга. Генри открыл её снова дрожащими руками.

На первой странице, в середине, было напечатано только одно слово.

Нет.

Генри покачал головой, вздохнул и захлопнул книгу…

Приготовил себе чашечку ароматного какао. Но пить не стал, потому что еще до того, как ее пригубить, забыл о ее существовании. Машинально поднял металлические жалюзи и посмотрел в окно.

И не сразу понял, что то, что он видел за окном, не было городом. Вместо Берлина простирался гигантский белый лист с напечатанным на нем текстом. Слова были трехмерными конструкциями, напоминающими дома и автомобили. Пробелы между строк были похожи на улицы, а пробелы между абзацами и главами — на площади.

Это был его роман, который ему еще предстояло написать.

Генри положил перед собой на стол двойной лист бумаги, взял правой рукой свою любимую паркеровскую ручку и начал писать.

Сумерки как всегда застали его врасплох. Он заметил, что в комнате пахло старой бумагой, клеем, дешевым красным вином и чем-то сладковатым, как будто кто-то вскрыл вены в цветочном магазине.

Он вспомнил Рим: Купола, колонны, фонтаны, мрамор, пинии…

Здесь, в Берлине, всё было честнее — асфальт, бетон и тлен.

ГОВОРЯТ

Говорят, специалисты-геронтологи, внимательно прочитав все романы Агаты Кристи, определили, возможно не без помощи ИИ, что последние три ее романа написаны ей в состоянии прогрессирующей деменции.

Хм… мне исполнилось 70.

Нет, я еще не в маразме, но на дорожку, вымощенную желтым кирпичом, похоже уже встал. Осознав это, я решил не сочинять «большие», относительно сложные и драматические тексты, короче, не «гнать нетленку», а писать простенькие рассказы, полуинтенции, полупародии, которые называю для себя — багатели, позаимствовав это слово из словаря музыкальных терминов [багатали — безделушки, пустяки, легкие музыкальные пьесы, нетрудные для исполнения, чаще всего для фортепьяно].

По-хорошему надо было бы вовсе перестать заниматься литературой, как я в свое время перестал заниматься рисованием, когда понял, что хронически невостребован, но на это у меня нет сил. Потому что страсть к сочинительству у меня еще не пропала. Огонь еще не погас. Еще светит и греет. Постараюсь прожить в его лучах еще несколько лет. Получится ли — один Бог ведает.

АКВАМАРИН

ВРЕМЯ ОСТАНОВИЛОСЬ

Гарри не знал, какой дьявол затащил его в Рудные горы.

Он шел по заросшей травой дороге, вокруг него поднимались и опускались пологие холмы, покрытые хвойным и смешанным лесом.

Октябрь. Редкие тут лиственницы уже сбрасывали свои золотые иголки. Клены покраснели. Березы пожелтели.

Кое-где виднелись обрывистые скалы.

Пахло смолой, прелой хвоей, сырыми валунами, покрытыми лишайниками, и почему-то яблочными косточками.

Гарри шел к давно оставленной людьми деревне. На чешской стороне границы. Когда-то тут жили немцы. После войны их заставили уйти, а деревню разграбили.

Ага… вот и вымощенная булыжником улочка. Единственная. Три четверти камней отсутствовали.

Полуразрушенные дома стояли плотно прижавшись друг к другу, точно нищие, ожидающие подаяния. Нет, скорее как трубы в органе. Нет, как книги на полке. Или как-то иначе, придумайте сами.

Покрывающий крыши и стены плоский местный шифер позеленел от времени, а в некоторых местах был грубо отодран.

— Гутен Таг, — произнес Гарри в пустоту, чтобы услышать звук собственного голоса. Пустота ответила мерным механическим гулом, в котором Гарри послышалось что-то враждебное.

Он зашел в заброшенную часовню, разделившую судьбу деревни — кто-то долго бил ее тяжелыми предметами, а затем обдирал. Время?

Пахло гнилью и мышами.

От деревянного распятия за алтарем остался только кусок руки Спасителя. Судорожно сжатые пальцы. Гвоздь.

Все остальное отодрали победители в дарвиновском отборе.

Посреди зала, на слое непросохшей грязи, Гарри разглядел свежие следы. Удивился. Оставила их женщина, обутая в небольшие туфли, явно непредназначенные для горных или лесных прогулок. След вел к алтарю и обрывался.

От алтаря тоже мало что осталось. Сломанная ножка стола. Темный от грязи обрывок белой скатерти и восковые шарики неправильной формы, когда-то бывшие свечами.

Внезапно кто-то прошептал: Ты пришел сюда за красками? Хочешь что-то нарисовать?

Гарри обернулся. Рядом с бывшим органом, от которого осталась только одна труба, стояла женщина с золотистыми волосами в длинном полупрозрачном платье.

Она держала в левой руке палитру, на которой не было цветной краски, только оттенки серого.

— Нет, сам не знаю, почему я здесь, возможно я… заблудился, — сказал Гарри, чувствуя, как реальность начинает отступать перед могучим натиском потустороннего.

— Здесь нельзя заблудиться. Сюда можно прийти. Здесь можно остаться навсегда, — сказала женщина с палитрой.

— Как твое имя?

— Гризельда.

Терпеливая Гризельда и жестокий маркиз! Конечно, конечно.

Кто она? Эльф? Уши у нее обыкновенные, человеческие.

Помощница Рюбецаля?

Ундина?

Мстительница, ненавидящая весь мужской род за то, что ей пришлось вынести?

— Почему у тебя только серая краска на палитре?

— Только серая? Нет.

Женщина коснулась правой рукой стены, и на ней проступила живая фреска — цветные фигурки рудокопов, работающих в шахте. Гарри услышал звон их кирок.

— Разве рудокопы все еще тут?

— О да, они никуда не уходили. И ты останешься здесь и тоже будешь работать в шахте. Ты принес с собой в этот мир гору ненужных вещей, и ты будешь колоть ее киркой, пока она не превратится в каолин.

В руках у Гарри неожиданно появилась кирка.

Гарри хмыкнул, отбросил кирку в сторону и хотел уйти.

Но ноги его отяжелели… так, словно кто-то влил в них свинец.

Нашел в себе силы спросить: Кто приговорил меня?

— Ты сам.

— Сам? Боже, когда, где, почему?

— Ты прекрасно знаешь ответы на все эти вопросы. Начинай работу, чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Мои сестры уже ждут тебя в лимбе.

— Сколько время продлится наказание?

— Столько, сколько понадобится.

Гарри подчинился и поднял кирку…

В туристическом буклете, который лежал у Гарри во внутреннем кармане куртки, о заброшенной немецкой деревне в Рудных горах было написано так — «это место с особой атмосферой, где время остановилось».

У ЗОЛОТОГО ФАЗАНА

Рудные горы часто покрыты сырым туманом, пахнущим мухоморами.

Гарри стоял на окраине безымянного, оставленного людьми еще до объединения Германии поселка, в котором жили шахтеры, добывающие урановую руду.

Ёжился от холода и обонял запах мухоморов.

Ему казалось, что он попал внутрь картины лейпцигской школы последних лет ГДР. Тогда многим представлялось, что вещи начали терять свою вещественность, растения — органичность, а люди — человечность. Что все вокруг стало асбестовым, хрупким и ядовитым.

Принудительно сюрреальным.

Дома вокруг него не были разрушены — но они как бы опустились, опали. Стекла в окнах и двери отсутствовали. Дома смотрели на Гарри своими пустыми глазницами. С безразличием мертвецов.

Бывший урановый поселок источал особую ауру…

Гарри испугался того, что начнет галлюцинировать и потеряется в незнакомой местности. Еще, того гляди, в шахту или в яму какую-нибудь упадет.

Не дай бог упасть в радиоактивный могильник! Их тут много.

Пошел вперед по узкой скользкой улице. Звук его шагов не отражался от стен домов, а исчезал в вате тумана. Гарри подумал: Так исчезает наша жизнь — в тумане небытия. Трюизм, конечно, но от этого не легче. Не легче? А ты что хотел? Чтобы это абсурдное представление продолжалось и продолжалось? Скажи спасибо, что природа помогает закончить спектакль. Иначе…

На стене бывшей почты висел пожелтевший, исклеванный и загаженный птицами плакат с готической надписью. Гарри попытался разобрать слова, но буквы на плакате шевелились как черные черви.

Зажмурился и встряхнул головой.

Когда он открыл глаза, плакат изменился. Буквы-черви исчезли. Зато появилась картинка с надписью. На картинке был изображен бегущий по пляжу за убегающей от него раздетой до пояса девочкой, босой доминиканский монах. Надпись гласила: «Сон Фридолина».

— Какая чепуха, только этого не хватало, — подумал Гарри. Испугался самого себя и с сомнением посмотрел на свои ботинки с тупыми носами. Вытер губы. Мать часто говорила ему в детстве: Главное, не забывай вытирать губы в уголках рта.

Сзади него раздался хриплый голос.

— Эй, господин хороший, вы что тут… штольню ищете?

Гарри вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял старик в старомодном тирольском костюме, сорочка его была застегнута на все пуговицы. Из высокого воротника торчал седой кадык. На голове — шляпа с пером.

Лицо незнакомца напоминало грубо обработанный кусок высушенного торфа, но его маленькие водянистые глаза — сверкали как стеклянные шарики. Длинная седая борода доходила до живота и была похожа на водопад зимой.

В изробленных руках он держал старый шахтерский фонарь, внутри которого горел желтоватый огонек. Карбид?

— Нет, я просто гуляю, — ответил Гарри, стараясь, чтобы его голос не дрожал.

— Здесь не гуляют, молодой человек. Здесь отбывают повинность. Время тут остановилось, часы на старой ратуше сломаны. Видите шпиль и башню? — старик указал костлявым пальцем вверх, — там уже двести лет без пяти минут полночь.

Гарри посмотрел наверх. Силуэт башни едва угадывался. Шпиль медленно, едва заметно, покачивался, словно водоросль на дне глубокого, мутного озера.

— Кто вы? — спросил Гарри.

— Я тот, кто указывает путь и записывает имена новоприбывших, — старик улыбнулся, обнажив редкие почерневшие зубы. — Пойдемте в трактир. Холод этих гор пробирает до костей. Сотни, сотни лет нет мне покоя. Зачем, скажите мне, таких как вы присылают сюда? Неужели на Земле или где подальше нет места, более приспособленного для приема? Долины Маринер можно было бы для этого приспособить. Или Герцшпрунг. Но нет, никто не хочет, по обыкновению, и пальцем пошевелить. Гораздо легче загонять таких как вы в наши несчастные горы.

Произнеся это, старик пристально посмотрел на Гарри, неприятно захихикал и пустился в пляс.

Они вошли в здание, которое похоже действительно было когда-то трактиром и называлось, судя по вывеске, «У золотого фазана».

Внутри царил полумрак. Пахло кислым пивом и керосином.

За дубовыми столами сидели люди. Они не двигались. Перед каждым стояла оловянная кружка, подернутая сизой пленкой плесени.

Мужчины в куртках из грубого сукна, женщины в чепцах — все они смотрели перед собой. На их лицах застыла гримаса тупой покорности судьбе.

Гарри не сразу понял, что это не люди, а манекены, вырезанные из дерева или слепленные из воска с пугающим мастерством.

Казалось, — тронь их, и они вскочат и достанут ножи.

— Ваше место здесь, — старик указал на свободный стул в углу, рядом с окном, за которым белел все тот же неподвижный туман. — Садитесь. Скоро принесут жаркое из зайца. А я схожу за книгой учета прибывающих. Как же она тяжела. Как вагонетка, полная свинцовой руды.

— Я не голоден, — сказал Гарри. — Хочу поскорее уехать. Я оставил машину на дороге, в трех километрах отсюда...

— Машина? — Старик опять захихикал. Это хихиканье напоминало треск ломающихся веток во время осенней бури. — Какая нелепая иллюзия. Для вас нет больше никаких машин, Гарри. Нет никаких дорог. И нет «поскорее». Есть только «сейчас» и «всегда». И главное — нет места, куда вы могли бы отправиться. Есть только горы, туман и мы, ваши новые спутники. — Тут старик показал рукой на сидящих за столами манекенов. — Да, а ваша прошлая реальность — это лишь тонкая штукатурка на стене вечного ужаса. Как видите, и я могу говорить трюизмами.

Старик нелепо зажестикулировал, смешно запрыгал и захохотал.

Гарри неловко попятился к двери. Манекены одновременно, со скрипом, повернули головы в его сторону. Их хрустальные глаза теперь смотрели на него.

В зрачках каждого из них Гарри разглядел свое отражение — испуганное лицо и нелепую фигуру. Почему-то ему

вдруг вспомнился сон, мучающий его уже много лет. Он — мальчик. Бежит по бесконечному лабиринту пустых комнат огромного дома. То и дело сталкивается с безобразными обнаженными демонами, которые пытаются обнять его и прижать к себе. И не может найти выход.

Он рванул на себя тяжелую дверь трактира и выскочил наружу, в сырой туман, пахнущий мухоморами.

И побежал.

Он бежал, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни. Туман как вата забивался в рот, мешал дышать. Ему представлялось, что само пространство ловит его своими длинными прозрачными руками, пытается сжать и превратить его в одну из таких же неподвижных, деревянных или восковых кукол.

Гарри бежал долго. Запыхался. Остановился, сам не зная, где.

Впереди чернел вход в заброшенную штольню.

От нее веяло могильным холодом.

Бежать больше некуда.

Гарри оглянулся.

Домов не видно.

Видно только стену серого тумана, из которой торчали верхушки мертвых елей.

И вот… Гарри услышал, как где-то далеко, на башне невидимой ратуши, огромный железный молот ударил по колоколу со страшным, сокрушительным звоном.

Полночь наконец наступила.

АКВАМАРИН

Зеленоватое мерцание стен плохо освещало путь — но Гарри вело мужество отчаяния, и он смело шел вперед под каменными сводами.

Воздух здесь был неподвижным, тяжелым и имел странный привкус. Серебро? Медь? Олово? Свинец?

Куда и зачем он шел, Гарри не знал, но повиновался непонятной ему самому потребности идти в глубину штольни. Потребности или приказу…

Если бы штольня раздвоилась, он бы не знал, куда идти дальше, направо или налево.

Он шел мимо ржавых вагонеток, которые все еще стояли на рельсах. Вагонетки походили на скелеты вымерших доисторических бобров.

Стены, покрытые известковыми наростами и черной плесенью, казались живыми. Они пульсировали, подергивались. Чем глубже он спускался, тем отчетливее понимал — здесь не только добывали урановую руду. Здесь встречались с чем-то… потусторонним. И к встрече этой не были допущены обычные шахтеры.

Скоро проход начал расширяться.

Гарри вошел в циклопический зал.

Зал был пуст. Тишину нарушала только капель. И еще какой-то тихий, но зловещий гул.

Посередине зала находился широкий колодец. Но маятника не было.

Гарри подошел к краю колодца, заглянул вниз и обомлел.

Прямо под ним, в абсолютной пустоте, парил огромный кристалл. Размером с автомобиль. Это был неправильной формы октаэдр из голубовато-зеленого камня, похожего на аквамарин.

Вокруг кристалла, как планеты вокруг звезды, медленно парили тысячи предметов.

Это были обычные вещи, которыми люди пользовались в быту и на работе. Карманные часы с остановившимися стрелками, фарфоровые кукольные головы, вилки и ложки, пожелтевшие письма, перевязанные истлевшими лентами, засаленные игральные карты, монеты, обручальные кольца, немецкие каски времен Первой мировой, старинные ключи и замки, пустые бутылки из-под шнапса, кайла и отбойные молотки, использованные презервативы, шприцы, детские гробики, старые сапоги, вставные челюсти и шариковые ручки...

Тайна штольни постепенно раскрывалась.

Комбинат «Висмут».

Тысячи рабочих со всей Германии.

Убийственная работа в урановых шахтах. Без масок, без защитных костюмов.

После работы — пьянство и девки, которых сюда заманивали, а потом годами не отпускали.

Драки.

И очень часто — ранняя мучительная смерть.

Уран Рудных гор похоже не был металлом. Он был концентратом самого времени, тяжелым, ядовитым осадком эпохи. Добывая уран, люди, не понимая этого, вскрывали и опустошали резервуар, где скапливались пережитые ими секунды, чувства, радость и боль, забытые воспоминания и несбывшиеся надежды.

Городок наверху не просто опустел — его время и души его обитателей — все это было выкачано, вывезено в вагонах и превращено в энергию. В энергию, способную превратить всю поверхность земного шара — в безжизненную пустыню.

А то, что осталось — мертвые дома и манекены в трактире — было лишь шелухой, соломой. Гарри не хотел становиться соломой.

Завороженно смотрел на вращающийся хоровод вещей. Вдруг один предмет отделился от общего потока и медленно подплыл к нему.

Это был ключ. Ключ от его квартиры, который он потерял три года назад в заснеженном парке.

Гарри протянул руку.

В ту секунду, когда его пальцы ощупывали знакомую бородку, а перед его глазами бежали воспоминания, кристалл вспыхнул ослепительным светом. Колодец глубоко вздохнул и со свистом втянул в себя остатки мира Гарри.

А затем и его тело.

Впервые в жизни Гарри почувствовал себя свободным.

Расправил желтые перепончатые крылья и улетел восвояси, не разбирая дороги.

ИСТОРИЯ Р

Эту коротенькую историю рассказал мне в начале двухтысячных годов в Иерусалиме, в кафе, в тени широкой маркизы, за двухместным столиком мой бывший однокурсник по мехмату МГУ Р.

Он знал, что я записываю и иногда публикую в одном эмигрантском журнале скурильные рассказы знакомых, поэтому настойчиво попросил меня воздержаться от публикации его истории пока он не покинет этот прекраснейший из миров.

Я ему это обещал. Вчера я случайно узнал из сети, что Р умер. Прискорбное конечно событие, но теперь я могу достать из особой папки старую запись, обработать ее и опубликовать в интернете.

Зачем ворошить прошлое?

Не знаю.

По-хорошему ворошить не надо ничего — ни прошлое, ни настоящее, ни, тем более, будущее. Не надо, не надо… но какая-то непонятная, странная сила заставляет нас это делать. Ворошить прошлое. И смотреть на то, как из него выпархивает моль.

Ладно. Размышления в сторону. Пусть ИТ размышляет, это у него хорошо получается, а я займусь историей моего дружка. Жутковатой и довольно неприятной. Но поучительной.

История Р, рассказанная им самим

Ты конечно не помнишь, но меня с мехмата отчислили. Формально — по собственному желанию. После первого курса, летом. Хотели по-тихому сразу в армию забрить, повестку прислали, но я в Воронеж уехал. На поезде. Как Осип Эмильевич. Мать дала деньги. Пришлось помыкаться. В гостиницах

мест не было. В школе один добросердечный учитель физкультуры разрешил ночевать в подсобке. На колючем топчане под солдатским одеялом. Хлеб в магазине покупал. И молоко. И то хорошо. Лучше, чем в армии служить грушей для битья у старослужащих. Бродил по Воронежу. Дыра. Но там есть чудная набережная, несколько старых церквей и пещерный монастырь.

В Москву приехал месяца через два. А за мной уже три раза военкомат с милицией приходил. Пришлось еще маленько попрятаться и покувыркаться. Но… отвертелся от армии и даже на мехмате через год восстановился. Тогда мы с тобой и познакомились. В библиотеке. Ты читал Норберта Винера и этим меня очень удивил.

Восстановиться на факультете помогла одна влиятельная женщина, главная гебыня в МГУ. Козельцева. На нее старая мамина приятельница помогла выйти. Профессоршафизичка.

Так вот отчислили меня не за плохую успеваемость, а за антисоветские разговоры. Точнее за неуместные вопросы, которые я нашему преподу по истории КПСС задавал, профессору Лятуновскому. На семинарах. Я хохмил, студиозы-кретины смеялись, Лятуновский бесился. Помнишь этого хряка? Как его можно забыть? Дотошный был, сволочь. Он на меня и настучал. А дело мое, как я потом узнал, попало не к Козельцевой, а к одному ее молодому инициативному сотруднику — Одноземцеву. Он меня вызывал… три раза вызывал… мозги мне пудрил и психушкой пугал. Во всех деталях описывал… что врачи со мной сделают. Унижал. Добивал меня, когда я ослабел. И светился от садистской радости, подонок, когда я, отведя глаза, уверял его в лояльности коммунистической партии и умолял не загонять меня в психушку. Да, я в разговоре с ним размяк как мокрый хлеб. У меня от страха руки дрожали. Особенно когда он мне расписывал, как меня превратят в импотента и идиота. Я представлял себе это очень реалистично. И ведь такое случалось тогда… да что я тебе лапшу вешаю, ты и сам знаешь. В общем подонок этот меня психологически раздавил как котенка. И я всю свою последующую жизнь это-

го забыть не мог. Часто по ночам трясся, вспоминал его рожу подлую, рябую и курносую, его складчатый казенный затылок. Представлял себя в палате, привязанным к койке. Да…

Какой-то голосок мне шептал, что с Одноземцевым этим, с этой мордастой крысой, пахнущей «Шипром» и козлиным потом, я еще встречусь. Я эту мысль от себя отгонял, потому что предчувствовал, что такая встреча, если состоится, кончится для одного из нас трагически. Боялся струсить в решительный момент.

Да, друг, я не струсил. Об этом я и хочу тебе рассказать…

Жизнь мою в Совке я опускаю. Сам помнишь. Абсурд и гротеск. Бедность. Подлость на работе. Давка в транспорте. Хамство.

В конце девяностых не выдержал, репатриировался в Израиль. Один. Жена и дочка остались в Москве. Несмотря на мои уговоры. У жены — хорошая работа. Она метила в профессора и понимала, что эмиграция для нее означала бы потерю любимого дела. У дочки — муж в ящике. Квартиру жалко. Дачу жалко. Книги жалко. Друзей жалко. Меня не жалко. Ладно.

На Святую землю меня пустили, потому что я, как и ты — Иванов по матери. Было, за что зацепиться.

Ничего. Израиль не сахар, но тут не скучно. Поработал несколько лет. На стройке в Ашдоде. Затем в порту в Хайфе. Потом устал. Лицензионный экзамен провалил. Ну и хер бы с ним. Помогал другу в магазине. Язык так и не выучил. Не лезет ничего в башку.

Ну так вот… приехал я один раз из Хайфы в Иерусалим — в конце января, в дикий холод и дождь — пошататься по библейским местам, навестить кое-кого.

Забрел в Храм Гроба Господня.

Народу — никого. Так, два-три монаха греческих туда-сюда прошли. Бородатые и в смешных шапках. Армянский священник протанцевал мимо. И еще бабки какие-то гоношились. Из наших наверное. Состарившиеся русские жены аидов. Как волка ни корми...

Осмотрел храм. Спустился в цистерну.

Я, как ты понимаешь, — неверующий. Но атмосфера в этом здании… замедлившее свой бег время, колонны, капители, алтари, иконы, свечи, запах ладана и слез, мнимые реликвии. Молоко Богоматери. Проняло меня не по-детски.

Больше всего поразили вырезанные на каменных стенах кресты крестоносцев. Тысячи крестов.

Решил в самое что ни на есть святое место сходить — в кувуклию, туда, где якобы тело мертвое Христа лежало. Зашел в ротонду, похожую на пустой череп великана с дыркой наверху. Рядом с кувуклией заметил мужчину. На коленях стоял. И молился.

Лицо его показалось мне знакомым. Присмотрелся. Боже мой! Да это он, черт этот, кагэбэшник. Одноземцев. Притащился. Грехи замаливать? Или шпионить?

Постарел, да. Все мы не помолодели. Рожа такая же, — рябая и курносая. Рыхлый как червивый гриб. На жирной шее — крестик. А взгляд, несмотря на взятое напрокат христианство, такой же, крысиный.

И вот, поверь, как только узнал я его, взволновался страшно и впал в состояние аффекта. По полу ротонды побежали серые кошки с бирюзовыми глазами. От их мяуканья и шипения у меня заложило уши.

В голове стучала одна фраза, как молот по наковальне: Ну вот и встретились, вот и встретились, вот и встретились.

Что дальше? Ясен пень. Плакать и умолять я его больше не буду.

Ненависти я не чувствовал. Тошнило только. От его присутствия.

Я знал, что должен освободить мир от этого гада.

Схватил то, что под руку подвернулось — камень какой-то, откуда он только там взялся, не знаю, и бац его по складчатому гадкому затылку. И еще раз. И еще.

Не услышал ничего. Только ухало что-то. Глухо и страшно.

Да, не смотри ты на меня так. Ешь свою шакшуку, а то остынет. Не бойся, я тебя не трону.

А что дальше было — это вообще… бомба на колесиках.

Каждый нормальный человек на месте Одноземцева — что бы сделал? Истек бы кровью и помер. А что сделал он? Он встал с колен, посмотрел на меня укоризненно, сверкнул глаз-

ками крысиными, ручищи свои дебелые развел, вроде как крылья, замахал ими… взлетел и прямиком в отверстие на куполе ротонды. В окулюс. Улетел как голубь.

А на том месте, где он на коленях стоял — ни кровинки не было видно.

А тут еще… вдруг по всей ротонде полупрозрачные фигуры мне привиделись. Даже на кувуклии стояли. В длинных синеватых одеяниях. И все они укоризненно на меня смотрели, головами качали. Сказано, мол, не убий, а ты что тут устроил…

Получается, Одноземцев ангелом был. А кто я? Дьявол? Ну дьявол, так дьявол.

Аффект мой прошел. Положил камень на пол и ушел из храма. Вечером был уже в Хайфе.

А на следующий день слышу в новостях русского радио из Иерусалима: Вчера в Храме Гроба Господня произошло зверское убийство нового репатрианта.

Убийца ударил его камнем по затылку и раздробил ему череп. Палестинец? Просим всех, кто посетил тогда-то Храм Гроба Господня обратиться в полицию или к нам на радио и сообщить, что и кого они там видели.

Меня, как ты уже вероятно догадался, не поймали. И рядом не стояло.

С тех пор сплю спокойно, наслаждаюсь жизнью, никаких угрызений совести не испытываю. Даже в футбол опять играть начал. И курить бросил. К одной милой женщине хожу по вторникам и четвергам.

Никогда никому про это дело не рассказывал. А тебе — захотелось почему-то рассказать. Не взыщи.

Ты не поверишь, но вчера вернулся я домой после бассейна, а в моей квартире… в чешском кресле… кошка серая сидит и бирюзовыми глазищами на меня смотрит. Хотел ее погладить, а она в воздухе растаяла.

* * *

На этом Р свою историю закончил. Мы еще какое-то время болтали, затем разошлись. У себя в гостинице я как мог точно воспроизвел рассказ Р на бумаге. Кое-что выкинул. Не без этого.

ШТРИХ-КОД

Пятиэтажное здание канцелярии походило на громадный серый каменный сарай. Оно было выше, шире, длиннее и угрюмее всех своих домов-соседей, тоже не радующих взгляд. Глухой фасад его, выходящий на улицу, напоминал старинный несгораемый шкаф.

Единственная тяжелая оцинкованная дверь с правой стороны фасада не была заперта. Перед тем, как войти, Гарри и Эльза наблюдали за ней из мясной лавки напротив. Никто из нее не вышел и никто через нее не вошел в канцелярию. Только одна серая крыса выползла оттуда и сразу шмыгнула в земляную нору на газоне, на котором росли петунии «Черный бархат».

Гарри надавил на дверь ладонью, и она открылась с неприятным скрипом. Как будто хотела сказать: Черт с вами, откроюсь. Но знали бы вы, как вы мне все тут осточертели. Посетители. Просители. Нытики. Какая же это мука — быть дверью общественного здания. Хуже только — быть дверью рыбного магазина. Уж я-то знаю. Пять лет промучилась. Сколько раз и покупатели, и продавцы вытирали о меня свои грязные руки! Негодяи. А я задыхалась от запаха рыбы, у меня на нее аллергия…

Гарри и Эльза вошли в здание, прошли чуть ли не сотню метров по лабиринту из полутемных коридоров, открыли наконец наугад какую-то дверь… и попали не в почтовое отделение, как хотели, а в хранилище документов.

Вокруг них высились бесконечные стеллажи с папками.

Пол под их ногами был скользким, отполированным до черноты.

— Кажется, мы ошиблись дверью, внученька, — сказал Гарри, поправляя очки. — Нам нужно найти 323-е окно и купить там специальные марки.

Эльза крепко сжимала его холодную руку и молчала, насупившись. Ведь она предупреждала. Чувствовала. Не хотела сюда идти. Но разве с взрослыми поспоришь?

— Дедушка, тут пахнет жженой бумагой и котами, — констатировала Эльза.

— Это запах канцелярии. Не беспокойся, все нормально.

— И мухами дохлыми пахнет!

— Не выдумывай. Мухи не пахнут.

— Нет пахнут.

— А ты что, нюхала?

— Нюхала. На даче. На веранде.

Тут к ним подошел Делопроизводитель, высокий худой человек во фраке. Лет 58. Седой. Строгий. В правой руке он держал длинную палку с заостренным позолоченным концом.

— Сюда нельзя, — веско сказал человек во фраке, поигрывая палкой. — Соблаговолите показать мне ваши пропуска.

— У нас нет пропусков. Мы вошли с улицы. Я Гарри, пенсионер. Ищу 323-е окно в почтовом отделении. Там мне должны выдать важный для меня документ. От того, что в нем написано будет зависеть моя дальнейшая жизнь. А это — моя внучка Эльза. Взял ее с собой, потому что ее не с кем оставить дома.

— Печально, печально. 323-е окно находится в другой части здания, — человек во фраке показал своей палкой непонятно зачем на неправильной формы дыру в стене за пустым стеллажом. — Но там, насколько я знаю, выдают только справки о бессрочном заключении родственников.

— Не может быть. Это ошибка, я еще не осужден, — Гарри всплеснул руками. — Мы, знаете ли, стояли на улице в очереди с шести утра. Продрогли. Там мне посоветовали найти окно номер 323.

— Мало ли что кто скажет. Очередь не имеет ни начала, ни конца, стоять в ней не имеет смысла, придется вас наказать за легкомыслие, — заметил Делопроизводитель и уколол Гарри в плечо острием палки. — Пройдите в зал ожидания и найдите там спальное место. Отоспитесь и поезжайте домой.

Тут, в архиве, вам никто не поможет. Сдается мне, не нужны вам никакие документы. Главное — следование правилам и здоровый образ жизни, диетическое питание и кислород. Чистый воздух творит чудеса. Отошлите внучку к ее родителям и купите собаку. Чихуахуа. Обхохочетесь. И нервы подлечите.

Перед тем, как исчезнуть, человек во фраке еще раз уколол Гарри острием палки в плечо. Гарри вскрикнул от боли. Золотое острие обагрилось кровью. Эльза с ненавистью посмотрела на Делопроизводителя. Хотела вцепиться зубами ему в икру. Но Гарри удержал ее.

Пошли через анфиладу одинаковых комнат.

В одной из них сотни людей молча перекладывали маленькие мешочки с песком из левой руки в правую, а затем из правой в левую. И так — часами или днями. А может и столетиями. Некоторые из них были стары как Ахав и Седекия. Все они носили шапочки, на которых было вышито это таинственное число — 323.

В другой комнате просители ловили губами и зубами подвешенные на ниточках к люстрам яблоки. Тем, которым удавалось вцепиться в мякоть яблока, разрешалось это яблоко съесть. Вечно голодная Эльза тоже захотела попробовать, но Гарри мягко взял ее за руку и потащил дальше.

В третьей комнате посетители — в костюмах карандашей — пытались рисовать на стенах граффити своими грифельными головами и громко рассуждали о достоинствах каракулевых воротников.

В четвертой комнате стоял стол, за которым сидел Инспектор — тучный мужчина с голубыми волосами, в твидовом костюме с вишневыми блестками.

— Он похож на спятившего директора школы для мальчиков, — прошептала на ухо Гарри проницательная Эльза.

— Точнее — на школьного бухгалтера, бывшего хиппи, — поправил ее постепенно впадающий в детство Гарри.

Инспектор оторвался от чтения бумаг и посмотрел на Гарри и Эльзу укоризненно.

— Опять притащились, острословы? — пробурчал он устало. — Это становится скучно. Кто вас сюда пустил?

— Я только искал 323-е окно, там мне должны выдать специальные ваучеры для ветеранов Четвертой мировой войны, — сказал Гарри, надеясь, что Инспектор войдет в его положение и укажет верный путь.

— Окно, окно. Все хотят обратиться в окно 323. Кто-то распустил слух, что в этом окне каждый может получить то, что захочет. Прямо — панацея от всех бед. Комната, в которой исполняются желания. Но чудес не бывает. И вообще, в этом здании нет окна номер 323, ручаюсь вам. Идите домой, если сможете выйти. Кстати, думаете, вы у меня одни такие? Посмотрите на них! — Инспектор показал на несколько сотен людей, сидящих вокруг его стола на корточках в ожидании его милости, видимо слух о добросердечии Инспектора распространился в очереди, — Все они тоже хотят обратиться в окно 323. Да-с. Согласно протоколу теперь вы должны заполнить это. Здесь.

Инспектор протянул Гарри анкету и перо. Перо было сухим, чернильницы на столе не было.

— Эльза, потерпи немного, — сказал Гарри и кряхтя сел на корточки. Достал из нагрудного кармана шариковую ручку и начал заполнять анкету на пяти страницах.

— Я не хочу ждать!

Эльза нетерпеливо дернула Гарри за рукав.

— Если не заполнить анкету, — неожиданно вмешался Инспектор, не отрывая взгляд от своих бумаг, — придется идти в Зал Ожидания. А там можно застрять надолго. Потому что выхода из него нет. Только вход. Не знаю, как там чиновники справляются с такой массой народа. Возможно, некоторых отсылают покататься на нашей знаменитой карусели. Она находится в подвальном этаже. Да-с, какие сочные котлеты готовит канцелярская кухня. Пальчики оближете.

Тут Инспектор гадко захихикал. Захихикали и сидящие на корточках просители.

На жирном лице Инспектора появились морщины, и из них сложилось само собой предложение — Ничего вы не получите. Убирайтесь!

Анкета. Анкета. Анкета…

Внезапно Гарри поймал себя на том, что он уже не заполняет анкету, а пишет добровольное чистосердечное признание. На чистом листе бумаги.

Признание в чем? В каком преступлении?

Его рука сама писала чудовищные вещи: Признаю, что виновен в том, что... не верил в честность государственных чиновников и тайно пытался саботировать работу вышестоящих организаций… в том, что считал нашего верховного правителя подонком, а его окружение — волчьей стаей, в том, что ел и пил значительно больше того, что позволено человеку категории Д, в том, что спал на час или два дольше того, что положено, в том, что работал на государственном предприятии спустя рукава, в том, что смотрел на девушек и женщин с вожделением…

Закончив, Гарри прочитал написанное и проговорил: Я не подпишу это, я ничего плохого не сделал.

— Именно, — отозвался Инспектор, хмуря брови и играя трясущимися желваками. — За это именно мы и караем. За отсутствие инициативы. Нам тут не нужны ни люди из подполья, ни надувные шары. Пустышки и провокаторы. Вон, вон отсюда!

Инспектор схватил первый попавшийся ему под руку предмет на столе, это была деревянная печать, и запустил ее в Гарри. Попал ему в спину.

На спине у Гарри появилась синяя надпись: Лишний человек.

Эльза потянула Гарри за руку.

— Дедушка, смотри, дверь!

Они быстро, невзирая на шипение и окрики сидящих на корточках людей, подбежали к двери.

Эльза дернула за тяжелую медную ручку. Дверь открылась, и они вошли в зал, пол которого был выложен плиткой из желтоватой кости, а потолок был красным. У входа за конторским столом сидел чиновник в тесном коричневом костюме.

Его неестественно длинные пальцы быстро перебирали стопку серых бланков.

— Мы пришли за марками и ваучерами, — воскликнул Гарри, прижимая к себе девочку.

— Ждите, ждите, — не поднимая глаз, откликнулся коричневый костюм. — Ваше прибытие зафиксировано в книгах регистрации новоприбывших. Вас вызовут.

— Мы опять ошиблись дверью, — шепнула Эльза, дергая Гарри за рукав. — Пойдем отсюда.

Гарри обернулся, но позади них была лишь глухая каменная стена. Дверь исчезла.

— Простите, — спросил Гарри у чиновника, — где выход?

— Выход обусловлен окончанием аудиенции, — отозвался чиновник. — Проходите в седьмой сектор. И там ждите. Можете по дороге поиграть в мяч. Или в пятнашки. Но зарубите на носу — Экзекутор не любит шума и хаоса.

Чиновник показал своим длинным бледным пальцем на потайную дверь. Она находилась в его конторском столе. Гарри и Эльзе пришлось изо всех сил сжаться, чтобы протиснуться в нее. Но они справились.

И вот… они шли по узкому коридору, стены которого были обиты темным бархатом. Из-за дверей доносился мерный стук пишущих машинок и приглушенные стоны, которые можно было принять за скрип несмазанных петель.

В конце коридора стоял массивный трон из алебастра. На нем сидел человек в безупречном синем фраке. Он читал газету, закрывая ею лицо. Это и был Экзекутор.

— Мы пришли за ваучерами, — промямлил Гарри.

Экзекутор опустил газету. Его лицо было совершенно гладким, лишенным бровей и морщин, а глаза напоминали две замочные скважины.

— Знаю, знаю. Но, согласно инструкции выдача ваучеров может быть осуществлена только после подтверждения личности заявителя, — произнес Экзекутор. — Вы привели свидетеля?

— Да. Это моя внучка, Эльза.

— И еще, — Экзекутор чуть наклонил голову. — В ваших документах указано «несанкционированное проникновение в канцелярию и фривольное обращение с многовековыми традициями». Это, сударь мой, непростительно. Тут вам не игровой автомат. На лужок идите играть, на лужок. А тут извольте вести себя как подобает.

Он достал из ящика стола две короткие иглы и две пробирки и протянул их Гарри.

— Уколите себя и вашу спутницу в подушечку указательного пальца. После укола осторожно положите иглы в пробирки и закупорьте их. Нам нужен анализ вашей крови для заполнения формуляра. Без него вы не сможете вернуться в общий коридор.

Неожиданно для самого себя Гарри проявил твердость.

— Я не буду этого делать.

Казалось, Экзекутор не удивился такой реакции Гарри. Даже остался доволен.

— Понимаю. Тогда ваша спутница останется здесь в качестве заложника, — подчеркнуто скучающим тоном отозвался Экзекутор, снова поднимая газету. — Вы можете подать заявление на ее освобождение в отделе возвратов. Он на восьмом подземном ярусе, рядом с кабинетом правды. Не смущайтесь, там вы услышите кошачий концерт.

Девочка судорожно схватила Гарри за руку.

— Дедушка, не оставляй меня тут! Смотри, там еще одна дверь!

Эльза бросилась к этой двери, увлекая его за собой.

Когда они убегали, Экзекутор даже не шевельнулся, лишь перевернул страницу газеты и глубже погрузился в чтение.

Все начало повторяться. Ведь ад это повторение.

Убежав из коридора с троном Экзекутора, они опять оказались в зале с чиновником в коричневом костюме за конторским столом.

— Мы пришли за марками, — задыхаясь, проговорил Гарри.

— Ждите, — ответил чиновник, не поднимая глаз. — Ваше прибытие из седьмого сектора уже зафиксировано в соответствующем протоколе.

Чиновник перестал писать и поднял взгляд. Гарри и Эльза заметили, что его зрачки были горизонтальными, как у козла.

— Почему бумага не пронумерована? — неожиданно спросил чиновник, указывая на бумагу в руках у Гарри.

— Это не просто бумага! — закричал Гарри. — Это мое чистосердечное признание!

— Признание? Это вы так думаете. На самом деле это «Дело об утере самоконтроля и нежелании сотрудничества со следствием», — сухо отрезал коричневый.

— Положите объект на весы.

Рядом с конторским столом стояли большие ржавые весы. На одной чаше лежала гора пустых почтовых конвертов.

— Если я положу её туда, вы отдадите мне марки?

— Марки выдаются в тридцать двадцать третьем кабинете, — ответил чиновник, снова утыкаясь в бумаги. — Но чтобы туда попасть, вам нужен пропуск от Экзекутора. А он только что удостоил вас аудиенции, которую вы так дерзко прервали. Напомню, что повторный прием — через триста лет в порядке живой очереди.

Тут Гарри не выдержал и бросился бежать вдоль бесконечного ряда дверей. На них висели таблички: «Вход запрещен по техническим причинам», «Отдел закрыт на инвентаризацию», «Прием по личным вопросам отменен». Эльза бежала рядом.

Неожиданно они увидели открытый люк в полу. Не задумываясь о последствиях прыгнули вниз.

Упали на толстый слой мелко нарезанной бумаги.

Вокруг царила тишина.

Воздух был таким плотным от бумажной пыли, что каждый вздох заканчивался кашлем.

Перед ними была Мышь.

Она была размером с крупного дога, ее шерсть имела цвет архивной папки, а вместо усов торчали тонкие стальные

перья. Она сидела на груде бумаги и методично жевала длинную бумажную ленту, исписанную мелким почерком.

— Что вам тут надо? — пропищала мышь.

— Я пришел уничтожить ложное признание! — крикнул Гарри. — мне сказали, что это можете сделать только вы.

Мышь перестала жевать. Её глаза, похожие на капли черного сургуча, уставились на Гарри.

— Какое именно признание? — пропищала она, — в канцелярии хранятся миллионы признаний. Если я съем не то признание, то хорошо отлаженная машина может сломаться, и мир погрузится в хаос и ужас. Люди начнут убивать и есть друг друга. А вы превратитесь в почтовый ящик. Как ваше имя?

— Моё имя — Гарри.

— Гарри, почтовый ящик, ха-ха, что же, посмотрим, посмотрим…

Мышь начала рыться в колоссальной куче бумаг, раскидывая их когтистыми лапами. Наконец она вытянула серый листок.

— Вот. Так. Старик и девочка. Несанкционированный вход. Тут написано, что ваше пребывание здесь — это логическое следствие вашего намерения незаконно получить марки и ваучеры. Так, подумаем. Раз вы хотели марки, значит, вы признаете власть почтового ведомства. Почта же подчиняется канцелярии… эрго… вы добровольно перешли в юрисдикцию Экзекутора.

— Мы всего лишь хотели забрать марки и уйти!

— Уйти — значит расторгнуть контракт, — Мышь поднесла листок к зубам. — А за расторжение контракта полагается пошлина.

И она протянула Гарри свою когтистую лапу.

Они стояли на пыльной дороге в лучах заходящего солнца.

На горизонте всё еще виднелся тонкий, едва заметный штрих-код, отделяющий небо от земли.

Гарри стал прямоугольным, его рот вытянулся в длинную щель.

Рядом с ним стояла Эльза.

Она явно не узнавала его.

БОКАЛ

Оммаж Бруно Шульцу

Осень в нашем городке, затерянном среди дубовых и буковых лесов и полей ржи, льна и конопли, — тянулась бесконечно, как семейное чтение фамильной саги в трех томах. Мы, дети, устали от этой осени. Устали от пронизывающего до костей ветра с гор, моросящего дождя, вечной слякоти, от катаров и бронхитов.

От бедности и неприкаянности.

Хотели, чтобы наконец выпал снег и засверкал на солнце. Чтобы на краях крыш и на ветках деревьев выросли сосульки. Чтобы можно было побегать на лыжах и покататься на санках с горки. Поиграть в снежки, вылепить снеговика и воткнуть ему в морду морковку вместо носа.

Взрослые тоже томились… они жаждали определенности, ясности… исторической, погодной и душевной. После первой страшной войны прошло только несколько лет. Раны ее еще кровоточили. Многие дома так и не были восстановлены. По городку бродили брошенные всеми безногие, безрукие и слепые. Потерявшие во время войны хозяев собаки собирались в стаи и нападали не горожан.

Все хотели дожить до весны. До капели и подснежников.

Многие чудили как могли, юродствовали, безобразничали, куролесили… а дядя Якоб и вообще — исчез.

Этот человек обладал способностью к превращениям, его не зря прозвали «демиургом в халате».

Уже в молодости дядя Якоб изготавливал, пугая родных и близких, «особые предметы» из кусков бархата, атласа, меха, сукна, дерева, шурупов, гаек, гвоздей, воска и другого подручного материала и «укреплял их в пространстве и времени» с помощью проволоки, паяльника и сломанных будильников.

Говоря современным языком, он создавал инсталляции.

Предметы эти, как он говорил, «помогают ему попасть в другие измерения», служат чем-то вроде «мостов».

Всё началось с его страсти к коллекционированию. Сперва он собирал марки и монеты, затем чучела птиц, после — бабочек, чьи крылья казались ему письменами-посланиями от «внеземных существ, скучающих во вселенском континууме и наблюдающих за нами».

Но чучела птиц и мертвые бабочки быстро выцветали, и дядя, разочарованный их бренностью, переключился на нечто другое. Он начал искать «содержание в вещах, отброшенных жизнью». В осколках стекла, в битой глиняной посуде, в выброшенной обуви, расческах, портсигарах, шкатулках, сломанных самоварах, в старых протезах давно умерших людей и другом мусоре…

Я помню, как он часами сидел в бывшей кладовке нашего дома, рассматривая через лупу грязные манжеты, найденные им на дне сундука на чердаке. Пытался разгадать «их тайну».

В другой раз я застал его за внимательным разглядыванием стеклянного глаза. Не знаю, откуда дядя Якоб его взял и куда потом дел. Он утверждал, что через этот глаз на него взирают жители Сатурна и его спутников. Он делал им какие-то только ему одному понятные знаки и пел.

— Пойми, — шептал он мне, и его собственные глаза сверкали как у жеребца перед случкой, — жизнь, сама по себе, слишком жидкая, она ускользает, утекает как вода между пальцами. Только жизнь, застывшая в совершенной форме, обладает крупицей бессмертия! А значит имеет хоть какой-то смысл. Египтяне не даром вытесывали свои храмы из громадных камней. И вырезали свои тексты на их поверхностях. А знатных и богатых людей — мумифицировали после смерти. Они понимали природу времени, чувствовали суть божественного.

Я думал обо всем этом иначе, но не хотел ему противоречить, мне было интересно, к чему приведут его поиски.

Дядя Якоб начал уходить из дома по ночам. Не мог усидеть дома в час ведьм.

Городок спал, завернувшись в одеяло из храпа и темноты, а дядя Якоб бродил как вампир по улицам, которые казались ему декорациями чуть ли не к вагнеровской опере.

Он искал «недоделанную материю», которой потом пытался «привить вечную жизнь», отливая ее в гипсе и включая в пространство своих инсталляций.

Возвращался домой под утро, пахнущий сыростью и глиной, с руками, испачканными в грязи.

Однажды я заглянул в его мастерскую. Там, в центре комнаты, на верстаке, лежала гора фарфоровых кукол, разобранных на части. Дядя Якоб склеивал части кукол по-своему, получались чудовища, которых он называл «существами, лишенными дыхания, но наделенными вечной жизнью».

Судьба дяди Якоба изменилась после того, как он якобы встретил на ночной улице Лемберга «посвященного высоко ранга»… и тот «открыл ему тайны трансмутации».

Дядя Якоб тут же перестал заниматься собирательством и созданием инсталляций, а все свои особые предметы отнес на городскую свалку. Потому что в них отпала надобность.

Тетка решила, что ее муж наконец «перебесился». Но не тут-то было.

Дядя Якоб действительно научился становиться чем угодно.

Обычно он растворялся в предметах собственного дома, становясь частью его интерьера, темным лаком на старинном комоде, пылью, танцующей в лучах заходящего солнца, скрипучими досками пола или кувшином с морсом, приготовленном теткой из красной смородины. Один раз он воплотился в бронзовый маятник наших знаменитых напольных часов с позолоченным циферблатом и нефритовыми стрелками. Рассказывал потом, что у него перед глазами с тех пор все качается.

Обычно он исчезал, но возвращался. Никогда не превращался в элементарии, хотя и грешил всю свою жизнь. Бегал за юбками. За что ему не раз попадало от тетки. Однажды она

даже ударила его кочергой по лицу. Когда узнала, что он жил двумя семьями. Дядя тогда чуть не окривел и две недели вымаливал на коленях у тетки прощение.

Да, а той осенью… он не вернулся.

Он исчез в то утро, пахнущее мятой и пачулями или бальзамовым деревом.

Я застал его в кабинете. Дядя Якоб стоял у окна и играл большой стеклянной призмой. Превращал солнечный свет в радугу и двигал ее по стене. Смотрел как разноцветные полосы ползают по старомодным обоям с утками и лебедями.

Я робко позвал его, но он даже не обернулся.

Тут я заметил, что контуры его нелепой фигуры — стали закругленными и кое-где прозрачными.

— Понимаешь, — прошептал он, — быть человеком — это такая утомительная обязанность. Морока. Таскать на себе телесного болвана, ублажать его, лелеять… Кровь, кости, кожа, сухожилия, еда и опорожнение, работа в лавке, покупатели, разговоры, газеты, политика... войны… Я так устал от всего этого… Хочу стать стеклянным. Хочу звенеть. И больше ничего не делать. Звенеть и преломлять свет как эта призма.

Я видел, как его туловище стекленеет, вытягивается и уменьшается в размерах, превращаясь в изящную ножку бокала. Закрученную, как витые колонны в храме Святого Петра. Дядя Якоб показывал мне книжку про Рим.

Вот… его ноги закруглились в плоское основание, а ладони и пальцы его рук расплавились, срослись и образовали чашу с гравировкой, изображающей сказочный сад.

Дядя Якоб постепенно превратился в зеленоватый богемский бокал, стал вещью, предметом.

Бокал вибрировал и светился. На негравированной части его поверхности я заметил отражения — шторы, книжные полки, фигуру нагой танцовщицы на письменном столе и мое испуганное лицо.

— Дядя Якоб, что вы наделали? Возвращайтесь скорее. Тетка съест меня без вас. С потрохами.

Бокал ответил мне легким звоном. В нем мне послышалась нотка сочувствия.

Тетка громко позвала дядю Якоба завтракать. Он естественно не пришел.

Я показал ей бокал, который поставил на письменный стол рядом с танцовщицей, и попытался объяснить, что произошло. Голос у меня дрожал, я не мог справиться с волнением после волшебства, произошедшего у меня на глазах.

Тетка конечно не поверила ни одному моему слову, пожала плечами и проворчала, разглядывая бокал, но не прикасаясь к нему: Вещь красивая, но непрактичная, только место занимает и пылится. Когда Якоб его купил и на какие деньги? У нас таких дорогих вещей отродясь не было. Надо бы мне самой проверить счета в лавке.

Она хотела было взять бокал и поставить его в сервант, где за стеклом хранилось единственное ее богатство — сервиз Розенталя, ее бывшее приданое, но испуганно отдернула руку.

— Он ударил меня током! Господи, если кому рассказать, не поверят, будут называть меня старой дурой. От бокала током бьет. Куда делся твой дядя? Гренки остынут и очерствеют. Якоб, Якоб, где ты, бубэлэ?

Так началась новая жизнь дяди Якоба.

Он стоял на письменном столе, переливаясь всеми цветами радуги, наблюдая за нами с молчаливым превосходством красивой дорогой вещи.

Когда в дом входили гости, бокал начинал вибрировать и светиться, издавая изумительный звон. Это было его приветствием.

Тетка так и не признала исчезновение дяди Якоба. Жила так, как будто он был где-то рядом. О богемском бокале, как о новой форме жизни дяди Якоба — и слышать не хотела. Чепуха для желторотых.

Для нее исчезновение мужа было лишь очередным проявлением его «невыносимого эгоизма», «склонности к бродяжничеству» и «безумного мистицизма».

— Опять сбежал к своим тряпичникам на нижнюю площадь и бродит с ними вокруг нас кругами! — ворчала она, яростно орудуя веником. — Или пристал к этим, вконец сбрендившим хасидам, распевающим свой «бам-бам». А они его окрутили. Или вернулся к этой толстой гойке из Бронева. Чем она его околдовала, эта дура? Жрет, наверное, с ней жареную свинину с луком и яблоками. Оставил меня одну с этими шлимазлами!

Она имела в виду служащих в лавке.

Тетка упорно игнорировала богемский бокал, а тот порой издавал протестующий, дребезжащий звук, когда она слишком громко кричала или хлопала дверью.

Я же, напротив, проводил за разглядыванием бокала целые часы. Мне казалось, что сквозь его прозрачные стеклянные стенки я вижу далекие чудесные миры, большие города и полуодетых красавиц, гуляющих по хорошо освещенным улицам.

Часто по ночам, когда дом засыпал, я прокрадывался в кабинет дяди Якоба и прикладывал бокал к уху, как раковину… и слушал, как внутри стекла, в этом странном замкнутом мирке бьется его крошечное сердце.

Однажды к нам в гости пришел Шмуэль, двоюродный брат дяди Якоба.

Он нес в руке настольную лампу с зеленым абажуром и пах керосином и старой кожей.

Его глаза, воспаленные от вечного сидения над гроссбухами, лихорадочно блестели.

Я провел его в кабинет дяди Якоба. Рассказал то, что знаю о бокале. И он мне поверил! Лучше бы я ему ничего не рассказывал.

— Посмотри, — прошептал он, беря меня за плечо и указывая на бокал. — Какие безупречные линии! Якоб всегда был слишком громоздок и неловок для этого мира. Теперь он наконец-то нашел свою истинную форму. Он стал идеальным сосудом. Святым Граалем.

Шмуэль протянул руку — его пальцы тряслись от волнения — и осторожно взял дядю Якоба в руки. Бокал отозвался низким, бархатным гулом, похожим на органный аккорд.

— Как мило он гудит. Но чего-то не хватает... — пробормотал Шмуэль, и его взгляд упал на графин со старой, густой наливкой из лесных ягод, стоящей на комоде рядом со столом. Это был любимый напиток дяди Якоба, который он сам и изготовлял. Никто кроме него не хотел его пить. Горечь. — Бокал не должен быть пустым, иначе это просто мертвая форма. Ты так любил это, брудерле.

Я хотел остановить его, объяснить, что дядя Якоб — особое, сверхчувствительное существо и конечно не потерпит такого фатального вмешательства в свою жизнь, но было поздно. Шмуэль поднял графин и влил рубиновую жидкость в богемский бокал.

Мне показалось, что началось светопреставление. Что и я сам и Шмуэль и наш дом — раскололись на куски… и куски эти разлетелись по всему городку.

В то мгновение, как только густая влага коснулась дна, бокал задрожал и задергался в руках Шмуэля. Прозрачные его стенки, еще секунду назад бывшие верхом совершенства, вдруг помутнели, пошли грязными разводами. Гравированный сказочный сад словно ожил, бутоны закачались и поникли…

Благородное стекло кричало, свистело. Это был страшный, ультразвуковой свист оскорбленной и страдающей материи, от которого закладывало уши, звенели подвески на люстре и треснуло зеркало в прихожей.

Шмуэль в ужасе разжал пальцы.

Бокал упал. Но не разбился. Наливка вылилась на пол.

Я осторожно поднял бокал, вымыл его, вытер и поставил рядом с бронзовой танцовщицей.

Через много лет, во время оккупации городка немцами, наша семья была вынуждена покинуть наш дом. С собой взять нам разрешили только необходимые вещи — по небольшому чемодану или сумке на человека.

Я положил обернутый двумя полотенцами богемский бокал в свой чемодан.

На входе в гетто нас обыскали. Все мои вещи из моего чемодана эсэсовец кинул, не глядя, в большую кучу других вещей. И прохрипел сифилитическим голосом: Они тебе все равно не понадобятся, юд.

Мне показалось, что я слышал треск разбившегося бокала. Это стало для меня последним напоминанием о дяде Якобе. Вечером того же дня меня и других согнанных из города и его окрестностей евреев заставили раздеться, а затем загнали ударами прикладов в огромную яму, вырытую в лесу.

Там нас расстреляли. Все близкие мне люди погибли. Я чудом выжил. Ночью выполз раненый из-под трупов и ушел в лес. Там я встретил убежавших из городка людей. Они вынули из моего тела пули, накормили меня и одели.

Началась моя новая жизнь. Жизнь после смерти.

Позже я несколько раз пытался найти место, где должны были лежать осколки богемского бокала. Но так и не нашел. Новые власти построили там школу.

ШИЛО

Гарри не любил летать — не только из-за не изжитой до конца клаустрофобии. Но еще и потому, что — незачем. Зачем старику куда-то тащиться? Да еще и по воздуху. Везде одно и тоже. Пусть молодые люди путешествуют. У них — иллюзии, любопытство, аппетит на новое. Это прекрасно. У Гарри ни иллюзий, ни любопытства, ни аппетита на новое не осталось. Сохранить бы хоть какую-то часть старого! Но жить хотелось и ему. Поэтому он однажды задумал навестить Кейт, свою давнишнюю возлюбленную, живущую теперь на окраине Рима, на вилле для постаревших художников и писателей, точнее — в доме для престарелых, которую не видел больше двадцати пяти лет, только раз в год получал от нее короткое электронное письмо. Иногда отвечал, а иной раз и нет. А сейчас загорелся почему-то встречей с ней, купил билет на самолет и полетел…

А теперь мучился и проклинал себя. И клаустрофобия мучила и многое другое. Противно сидеть в длинной алюминиевой сигаре с маленькими оконцами-иллюминаторами, через которые в случае чего не вылезешь, даже голову не просунешь туда, на свободу. И еще. В крыльях и в брюхе фюзеляжа — расположены баки с керосином, который вроде бы не взрывается, зато горит отлично. Летающий крематорий! Кресла в салоне стоят так тесно, что ноги не вытянешь, и их так много, что случись что, — люди в панике передавят друг друга. Какие жадные пигмеи проектировали эти аэробусы?

— Ну вот, припрусь я на эту самую виллу. А она меня не узнает. Потому что я не только постарел, но и превратился в обрюзгшее чудовище. Испугается еще. Еще хуже — представит мне мужа, который сидит рядом с ней в инвалидном крес-

ле и уже тринадцать лет под себя ходит и пускает изо рта пузыри. А у нее самой после операции нет ни грудей, ни… Черт меня понес. Да еще и эта проклятая леталка… самопад…

Самолёт набирал высоту спокойно, мерно, но удовольствия от полета Гарри не получал никакого. Потому что, хотя Берлин с его небом цвета прокисшего молока, с его грохотом, грубостью и бессмысленной суетой и остался далеко позади, и, казалось бы, позади должна была остаться и его скучная, полная несносной бытовой рутины, берлинская жизнь состарившегося автора, переставшего писать еще десять лет назад, но этого не произошло. Самолет как бы толкал жизнь Гарри перед собой. Как толкает небольшой буксир своим тупым носом тяжеленную баржу, загруженную всякой дрянью. Уже первые двадцать минут полета доказали Гарри — это воздушное путешествие непригодно ни для побега от самого себя, ни для позднего соединения с той, когда-то горячо любимой.

— Горячо любимой? Не ври. Никого ты никогда не любил. Хотел ее — да. Страшно. Иногда и жалел. Поэтому не женился на ней. И правильно сделал. Соединения? Ну что ты сам себе напредставлял? С кем это ты хочешь соединиться? С Кейт? Опять в детство впадаешь, чудовище?

Они летели где-то над Рудными Горами. Капитан сообщил о возможной турбулентности, пришлось пристегнуть ремень. Как всегда в таких случаях Гарри вспомнил историю одной известной авиакатастрофы, где все пассажиры, пристегнувшие ремни безопасности сгорели заживо, а не пристёгнутые разлетелись в разные стороны во время удара о землю из разорвавшегося на куски воздушного судна как шарики и выжили. Не без ран и увечий, конечно.

Желтая надпись наконец погасла, Гарри посетил туалет, в котором еще раз помянул недобрым словом конструкторов аэробуса. Несколько десятков капель упали явно не туда, куда

надо, и Гарри пришлось по дороге к своему креслу прикрывать руками пятна на коричневых штанах. Делал он это неловко, ему казалось, что все на него смотрят и показывают пальцами — посмотрите мол, на этого растяпу, на этого старого брюзгу… умудрился описать собственные брюки… поделом, ха-ха-ха — но на самом деле никто на него не смотрел. Мы вечно преувеличиваем глумливый интерес окружающих к нашей персоне. Каждый думает только о себе. Изредка — о ребенке, муже или жене. Еще чаще — о деньгах, об интрижках. Или о какой-либо несусветной чепухе. Никому нет до нас дела. И нам нет дела ни до кого.

Гарри думал о своей бывшей подруге, вспоминал их встречи в разных городах Европы, представлял себе как он ее обнимет... эти воспоминания и представления примирили его на время с идиотской ролью пассажира коммерческого рейса. Остальные пассажиры лениво листали газеты и журналы, кто-то уткнулся в смартфон, кто-то читал криминальный роман с пистолетом на обложке (из пистолета вылетала шальная пуля, очевидно предназначенная читателю), кто-то уже задремал и даже похрапывал и пускал слюни. Дети смотрели японские мультфильмы на встроенных в спинки кресел мониторах. Две милые парочки — школьники или студенты — потихоньку целовались. Немолодая пара в официальной одежде — он в темном костюме, белой рубашке и лиловом галстуке, на левой руке имитация Ролекса, она в темно-сером платье, на шее маленькое жемчужное ожерелье — она делала их похожими на мормонов — выясняла отношения. Им видимо хотелось поорать друг на друга и вцепиться друг другу в волосы, они привыкли к подобному выяснению отношений дома, но тут, на высоте десяти километров, в присутствии двухсот пятидесяти свидетелей они стеснялись, как могли сдерживали себя… отчего покраснели как помидоры и надулись. Гарри боялся, что они лопнут.

Стюардессы двигались по единственному проходу между креслами ловко и мягко, как пантеры… предлагали напитки и

раздавали кульки с орешками. Гарри попросил два стаканчика с томатным соком без льда и сразу же жадно выпил их. Начал грызть орехи немногими оставшимися во рту зубами.

И тут же почему-то испугался, всем телом почувствовал, что что-то произойдет. Что-то ужасное. С ним или с самолетом. Или — со всем миром. Гарри всегда наблюдал за собой и поражался нелогичности своих чувств и ощущений. Какого лешего он сейчас испугался? Кто знает, на какие клавиши его органа нажал приятный соленый вкус томатного сока. Какие переключатели переключил. На какие триггерные точки его психического организма нажали орешки? Или это сделало монотонное жевание? Или короткая как молния боль в воспалившейся десне над зубом мудрости? Какие мелочи и случайности управляют нами? Кто дал им эту власть?

Попытался отвлечься от неприятного ощущения. Еще раз представил себе встречу с Кейт. Мысленно потрогал ее грудь. Задрал ей юбку… Посмотрел в иллюминатор — и не увидел ничего, кроме розоватой синевы, которая постепенно темнела.

И тут, как бы отвечая на его страх, в салоне погас свет. Лампы затрепетали и потухли. Гарри представилось, что самолет — живое существо, дрожащее от страха. Закрывшее глаза руками. И ищущее, где бы спрятаться от неистового мира. Малодушное, как он сам.

Странно. Никто из пассажиров не закричал, не позвал стюардессу, не попытался связаться с капитаном… Люди редко реагируют сразу, побаиваются, инстинктивно ждут, что все само собой придет в норму. Так и случилось. Свет вернулся, но стал как бы тусклее. И изменил цвет. Посерел. Отчего все внутри салона стало серым. И кресла, и одежда, и лица, и руки пассажиров.

Чернокожая стюардесса с заученной кислой улыбкой проговорила после короткого телефонного разговора с кабиной пилотов что-то про «небольшую техническую неисправ-

ность, которую уже устранили». Её голос звучал неубедительно даже для нее собой. Она косила глаза, кривила щедро напомаженные толстые губы и судорожно терла блузку, обтягивающую ее немалую грудь, на которой был вышит логотип компании: Винтовой самолет на фоне красноватых гор и золотого неба, усеянного синими звездами.

Гарри заметил, что мужчина в зеленой рубашке через два места от него справа смотрит, не отрываясь, на монитор перед собой, который показывал застывшую размытую картинку, напоминающую череп. Смотрит так, как будто на мониторе показывали кино. А пожилая дама слева от него перестала вязать, открыла рот и закрыла глаза. И застыла как статуя. Целующиеся пары перестали целоваться… и они, и беззвучно ругающиеся мормоны превратились в восковые фигуры. Впрочем, ненадолго.

Среди пассажиров Гарри привиделось лицо маркиза. Смуглое, морщинистое, волевое, искаженное гримасой вековечной скуки и презрения к человечеству. Маркиз показал ему издалека что-то похожее на шило. Показал и неожиданно залихватски подмигнул. Шило?

А затем пропал гул от реактивных турбин. Стало мертвенно тихо. У Гарри засосало под ложечкой. Он посмотрел в иллюминатор и ужаснулся. Их самолет не летел больше, а висел над Альпами! Как удавленник на веревке.

Да, висел. Не падал. Не поднимался. Не маневрировал. Самолет застыл в каком-то месте пространства. Километрах в шести выше острых заснеженных альпийских вершин, похожих на зубы космического великана.

Сначала никто кроме Гарри ничего не понял. Люди подумали — в самолетах часто закладывает уши. Поэтому не слышно гула от турбин. Потом кто-то заметил, что самолет не двигается и выпучил глаза. Затем это заметили все. И тут началось. Первыми начали кричать мормоны. Побыв недолго

восковыми фигурами, они опять превратились в живых людей и были рады выпустить пар. А за ними заорали все остальные пассажиры. Заорали, завизжали, завопили, заревели, затопали ногами.

Командир экипажа, долговязый немец, внешностью напоминающий актера Мюллер-Шталя, вышел в салон.

— Уважаемые дамы и господа… успокойтесь, прошу вас… — сказал он, и замолчал. Молчал он минуты три. — Мы… временно… хм… остановились в воздухе. Да… Трудно выговорить, признаю… Этому удивительному физическому феномену наверняка есть рациональное научное объяснение. Возможно к этому привело наложение друг на друга противоположных ветров или магнитная аномалия. Часть наших измерительных инструментов вышла из строя, радио не работает… да-с… но все это не повод для паники. Я надеюсь, это феномен временный, нестабильный. Возможно через какое-то время все исправится, и мы сможем продолжить полет в Рим. Прошу вас занять ваши места и ждать…

Он не закончил. Его нелепо двигающееся большое тело, его искаженное гримасой ужаса и недоумения лицо и дрожащие руки говорили не то, что услышали пассажиры. Капитан явно был в отчаянии, на грани психического срыва. На самом деле он хотел сказать, что полет окончен, что жить пассажирам и команде осталось несколько минут. Хотел сказать, что не виноват в этом и просил у всех прощения. После обращения к пассажирам капитан быстро ушел в кабину пилотов и запер за собой дверь.

Послышались крики: Почему уходишь? Струсил? Какие к дьяволу ветры? Чего нам теперь ждать? Штопора? Падения на скалы? Или ангелов-хранителей? Так не бывает! Самолеты не стоят в воздухе. Мы все галлюцинируем. Мы спятили. Нет, это Бог спятил.

Неожиданно командир вернулся в салон. У него на спине, обняв его за шею, сидел голый мальчик лет десяти. Гарри мог

поклясться, что до этого момента мальчика этого в салоне самолета не было. Командир сообщил дрожащим высоким голосом: Перед тем, как радиосвязь с миром окончательно прервалась, кто-то проговорил — Это все из-за него. Из-за этого черта Гарри.

В салоне закричали: Что вы нам головы морочите? Нашли виноватого? Из-за какого Гарри? Из-за молодого герцога? Кто тут у нас Гарри?

Никто не откликнулся. Паспорта проверять не стали. Еще чего. Мало ли что можно передать по радио. Какой-то Гарри. Как он мог остановить самолет в полете? Сделать так, что воздушная машина повисла в пространстве, нарушая все возможные законы механики? Плевали мы на всех Гарри на свете. Расскажи лучше, что это за мальчик у тебя на спине.

Самого Гарри заявление капитана вовсе не удивило. Мало того, он знал, что это правда. Что самолет остановился в воздухе именно из-за него. Груз его прошлой жизни оказался слишком велик для этой алюминиевой машины, транспортирующий из Берлина в Рим не только тела пассажиров и команды, их одежду, обувь и их поклажу, но и их судьбы. Их карму. Гарри понимал это, понимал и то, что если он попытается объяснить это кому-нибудь, его сочтут умалишенным и засадят в сумасшедший дом. Гарри сидел, кусал пальцы и ожидал падения самолета с десятикилометровой высоты. Безуспешно пытался сосредоточиться на чем-то приятном, но перед его внутреннем взором представали картины одна страшнее другой: Казнь святой Урсулы и одиннадцати тысяч девственниц, обезглавливание святой Варвары ее собственным отцом на горе, казнь святого Себастьяна, утопление, сожжение на костре, посажение на кол, газовые камеры, бомбы и ракеты, летящие на мирные города… Все то, что обезумевшее человечество творило с самим собой. Гарри, не узнавая сам себя, молился Богу, в которого никогда не верил, над которым раньше втайне цинично потешался.

Пассажиры самолета, осознав свое положение… притихли, поникли, каждый углубился в себя. Кто-то писал записки родным и близким, надеясь, что их найдут после катастрофы. Бабушка продолжила вязать. Мормоны опять начали беззвучно ругаться. Школьники и студенты… Вперившийся в неподвижную картинку на мониторе мужчина в зеленой рубашке опять вперился… в другую картинку, тоже похожую на череп. Стюардессы больше не улыбались. Одна из них стояла в проходе и пристально смотрела в конец салона. Там однако никого не было. Только валялась, непонятно как туда попавшая сумка с клюшками для гольфа. Другая — сидела, обхватив голову руками и угрюмо молчала. Рядом с ней стояла тоже неизвестно откуда взявшаяся кроватка с маленьким ребенком. Один пассажир попытался пройти по проходу в туалет, встал, пошел, но остановился на полпути, как будто натолкнулся на невидимую стену. Не упал. Не закричал. Не зажестикулировал. Просто остался стоять там, где остановился. Слегка наклонившись вперёд. А рядом с ним появился раскрытый банковский сейф.

— Вы тоже это слышите? — спросил кто-то у Гарри. Гарри обернулся, но не понял, кто и о чем его спросил. Никто вопроса не повторил и не уточнил, что именно должен был услышать Гарри. Гарри прислушался. И услышал едва слышное женское пение. Сирены?

Тут Гарри почувствовал, что в салоне запахло чем-то противным. Хлоркой или мышьяком… Его затошнило. Подумал: Нас еще и отравят?

Потом неожиданно задремал. А когда проснулся, снова посмотрел в иллюминатор. Еще один сюрприз. Альпы исчезли. Исчезло все, кроме синеватого марева. Неожиданно Гарри понял, — самолёт не остановился. Не затормозил. Он не летел дальше, потому что «дальше» перестало существовать.

Гарри долго сидел неподвижно, боялся сдвинуться и тем самым нарушить хрупкое равновесие. Но равновесие уже бы-

ло нарушено — не снаружи, а внутри него. Это ощущение росло как цунами у берега. Гарри в отчаянии попытался вспомнить то, что было до того, как он вошел в самолет.

Берлин. Утро. Такси. Аэропорт. Всё это было, но как будто не с ним. Слишком аккуратно, слишком правильно. Как будто кто-то выстроил цепочку событий задним числом, чтобы объяснить его присутствие тут, в самолете. Осознав это, Гарри встал и торжественно объявил: Это все из-за меня, Голос сказал пилотам правду. Все, что тут происходит со всеми нами — происходит из-за меня. Я убийца. — произнес он торжественно. Никто не отреагировал. На него даже не посмотрели. Ну убийца, а нам-то что?

* * *

Гарри чувствовал себя так, как будто его обвила и начала душить анаконда.

Тут — наконец — декорация исчезла. Самолет, пассажиры, синева в иллюминаторах. Гарри стоял в театральном зале, потихоньку заполняющемся экзотически разодетой публикой, состоящей только из мужчин. Вместо люстр с потолка свисали повешенные на цепях мельничные жернова. Некоторые посетители театра были в парчовых камзолах, другие в пурпурных туниках, шелковых плащах, в строгих черных костюмах с жабо на шее, с массивными золотыми цепочками, на поясах у многих висели кинжалы, сабли и мечи, в руках у некоторых были пики и алебарды. Перед Гарри стоял монсеньор, качал обритой породистой головой и посмеивался.

— Вы, Гарри, превзошли самого себя. Начали за здравие, а кончили за упокой. Хотели посетить бывшую любовницу, а затем остановили в воздухе самолет с ничего не подозревающей публикой. Бедный капитан и обе стюардессы спятили… впрочем и за ними числится достаточно. К делу. Вам пора на службу. Сегодня — ваше задание изобразить небезызвестного темпераментного господина Серенелли. Девочка, иг-

рающая роль Марии уже ждет вас за кулисами. Полагаю, вам надо перед представлением оговорить с ней некоторые пикантные детали. И главное, не забудьте это…

И монсеньор протянул Гарри большое самодельное шило. С засаленной деревянной рукояткой и длинной толстой иглой от швейной машины.

ПЕРЕПОЛЗ

В день своего шестидесятилетия, помнится, я, благо больше некому, написал текст о самом себе — «Перепрыгнул».

Бойкий, дерзкий текст.

Сегодня мне стукнуло 70, и я хочу по традиции что-то написать.

Но ничего бойкого, а тем более дерзкого я выдавить из себя заведомо не смогу.

Придется робко поскрести по сусекам.

И название уже есть подходящее, жабье или змеиное — «Переполз».

Хотя точнее было бы назвать это признание, эту жалобу в Небесную Канцелярию, этот старческий хрип — «Переполз с огромным трудом, дрожа, вздыхая, охая и матерясь».

Да-да. Еле осилил. Скрипя, пуская ветры, и осыпая наш ламинат песком, дотащил свои чресла до вожделенной временной границы. Переполз… и что теперь?

Где я? В чистилище или в лимбе?

Почему вокруг все белое?

Это что, снег? Или небытие?

Что это за фигура на роликовых коньках мерещится мне во всех углах?

Неужели опять он?

Весь этот последний перед семидесятилетием год на вопрос — сколько вам лет — я отвечал, кокетливо потупясь, — семьдесят. Siebzig! А вы что думали?

А сам умолял богов — дожить бы… дожить…

Вчера, в одиннадцать сорок девять ночи сердце ёкнуло, захлебнулось и упало, в глазах почернело, опять пронеслась мысль-мольба или собачий вой — дожить бы, господи…

Уте посмотрела на меня с тревогой и сказала спокойно: Что это с тобой? Ты серый как берлинский асфальт в ноябре. Не вздумай упасть в обморок. Я тебя не подниму.

— Мне и падать не надо, я и есть берлинский асфальт. Одиннадцать минут осталось до полуночи, а я не знаю, дотяну ли.

— Ну вот, разнылся… Все мужчины — ужасные нытики и ипохондрики. Семьдесят — это еще не много. Бывает и 80 и 90. Мне вот 87, и я не ною. Съешь пралинку с яичным ликером или марципан и успокойся.

— Мне нельзя, ты же знаешь.

— Я много чего знаю. Сегодня можно.

Как ни странно — помогло.

Несколько лет или месяцев назад один мой литературный приятель в ответ на дежурный вопрос отчеканил: У меня все хорошо, чувак… жизнь удалась.

Ответ этот запал мне в память. И оброс бородой.

Борода это состоит из вопросов: А у тебя? У тебя самого? Жизнь удалась или… не удалась?

Сразу и не ответишь.

Я тогда не стал уточнять у моего приятеля, что он собственно имел в виду… зачем?

И сейчас я не хочу размышлять о том, что значит — удалась — не удалась. Убедить в чем-либо кого-либо все равно невозможно, не стоит и время тратить. Убедить невозможно, а вот рассказать кое-что можно…

Итак, удалась или не удалась моя жизнь?

Шут его знает. Смотря с какого бока посмотреть.

Подумал… и понял с какого бока надо глядеть.

Решил проверить — сбылись ли мои детские мечты, о которых я неоднократно писал, щедро наделяя ими героев моих рассказов. Моих альтер эго и других литературных спиногрызов. Об этом и поговорю. Рискуя пробудить в душах читателей презрение, зависть или злорадство.

Первой моей сознательной мечтой было… стать когда-нибудь владельцем кадиллака Eldorado. Оливкового цвета.

Мне было пять или шесть лет… никаких кадиллаков на московских улицах начала шестидесятых годов я конечно не видел. По улицам ездили замызганные москвичи, похожие на танк победы, смешные запорожцы, газики-козлики и старые волги.

Правительственные кортежи состояли из серебряномордых чаек, зисов и зилов. Даже жигулей еще не было. Изредка какой-нибудь заскорузлый колхозник вез, то и дело щелкая кнутом, на усталой лошаденке свой жалкий скарб на телеге.

Дети из окрестных многоэтажных домов сбегались посмотреть на такое диво.

Ребя, смотрите, лооошадь!

Мой номенклатурный дедушка выписывал журнал «Америка». И я с жадностью его листал. Наткнулся однажды на цветную фотографию кадиллака. Автомобиль этот показался мне космическим кораблем, транспортным средством богов. Я был удивлен, восхищен, раздавлен. Бабушка прочитала мне его название. Уже в самом этом слове — «кадиллак» мне чудились спиральные галактики и чудеса техники будущего.

Как раз в это время мои родные купили мне несколько металлических детских «конструкторов» и я принялся жадно собирать из алюминиевых деталек свои кадиллаки.

Мечта о кадиллаке испарилась сама собой. С возрастом. И даже заменилась потихоньку ненавистью к автомобилям, этим воняющим бензином и отравляющим воздух выхлопными газами жестяным монстрам. В которых меня укачивало до рвоты.

Я никогда, ни в СССР, ни в Германии, не сдавал экзамены для получения водительских прав. Мне это не было нужно. Да я, скорее всего, и не смог бы их сдать. Рассеянный. Ленивый. Мономан.

Уверен, если бы я все-таки сел за руль автомобиля, — через двадцать минут кто-нибудь уже был бы на пути к праотцам… или незадачливый прохожий, вздумавший перейти улицу… или пассажир другой машины… или я сам. Точнее то, что от меня бы осталось после столкновения с бетонным фонарем, могучим дубом, асфальтовым катком, бетономешалкой или угловой стеной двадцатиэтажного дома.

Когда я четверть века назад сошелся с немкой, с которой до сих пор живу, она владела чудесным английским автомобилем мини купер. Практически новым. С каким же удовольствием мы его продали! Теперь не надо было о нем заботиться, мыть, платить за бензин, запчасти, ремонт, страховку, вечно менять колеса…

Не надо никуда на нем ездить… куда? Зачем?

Да, получается, мечта моя о кадиллаке так и не сбылась.

Не совсем. Лет тридцать назад я не удержался и купил в Дрездене, тогда еще за немецкие марки, тридцатитрехсантиметровую модель кадиллака Eldorado. Стал-таки владельцем этого блистательного автомобиля из Золотого города, пусть и не в натуральную величину. Принес модель домой, повосхищался, погладил ее плавники, потрогал сиденья и фары, поиграл минут пять, повспоминал, поностальгировал, а потом засунул куда-то и забыл о ней. Лет через десять нашел, очистил от пыли и подарил сопливому соседскому мальчишке лет семи из семьи алкоголиков, который ее тут же сломал, оторвал колесо, открывающиеся двери, капот и крышку багажника.

Так всегда бывает с мечтами.

Другой моей мечтой была… игрушечная железная дорога, которую я неожиданно открыл для себя в магазине Лейпциг на Ленинском проспекте, примерно в километре от нашего дома на улице Панферова.

В большом стеклянном ящике была построена рекламная инсталляция.

Она состояла не только из узких рельсов, локомотива и вагонов, но и из нескольких холмов с маленькими кустарниками и деревьями, мостов, туннелей, деревни с садами и огородами, городка с ратушей, двумя фабриками, пожарной вышки, полиции, церкви и двух старомодных вокзалов. На перроне стояли крохотные пассажиры с еще более крохотными чемоданами в руках. На парковке парковались разноцветные машинки, явно не волги и победы.

Это был миниатюрный мир, уютный, добрый, это был кусочек Европы, такой, какой я ее себе представлял детским умом. По этому миру ездил поезд, скоростью которого можно было управлять. От одного вокзала к другому.

Мне так хотелось пожить в этом мире. Давно известно — надо быть осторожным с желаниями. Они сбываются.

Разумеется, на продажу был выставлен стартовый комплект, который включал только поезд и рельсы, но вдобавок к нему, отдельно, можно было заказать множество милых ме-

лочей вроде миниатюрных домиков, грузовиков, качелей, уличных фонарей, дорожных знаков, коровок, пастуха, овечек и охраняющей их рыжей с пятнами собачки. Пастух носил широкополую шляпу, в руке держал что-то вроде посоха. Нос у него был красный и длинный как у Буратино.

Конечно мне не купили дорогу. Ведь взрослые — жадные, эгоистичные и глупые.

Да, и эта мечта не осуществилась.

В Лейпциге мама купила мне губную гармошку, на которой я так и не научился играть. А потом ее потерял.

Не осуществилась, да… или?

После незабываемого «собеседования» в еврейской общине Восточного Берлина, в ходе которого мне пришлось публично (присутствовало телевидение) лгать о том, как меня преследуют советские власти за еврейское происхождение, меня отправили в саксонский городок Глаухау. Тамошняя полиция великодушно (но кривясь от отвращения) выдала мне временное разрешение на жизнь в только что объединенной Германии. Мне назначили скромное социальное пособие и предоставили место в общежитии подготовительного отделения Технической Школы в Цвикау, позволили полгода учить немецкий язык вместе с другими «еврейскими беженцами из СССР». Тогда еще вовсе не бывшего.

Разумеется, я каждый день после уроков слонялся по городку и его живописным окрестностям, жадно наблюдая незнакомый мне мир. То, что я бродил по бывшему гэдээровскому захолустью, известному прежде только своими текстильными фабриками, — мне не мешало, наоборот, я понимал, что в таких медвежьих углах еще сохранилась — отчасти — старая Германия, родина Гёте, Ницше и Кранаха.

Кстати, Веймар, где вышеупомянутые классики жили (и умерли), находился от места моего нового пристанища всего в полутора часах езды на поезде, и я посетил его после второй получки. И был шокирован. Чем? Много чем. Прежде всего тем, что жуткий концентрационный лагерь Бухенвальд расположен практически на окраине города философов и поэтов. На широком покатом холме. Еще тем, что тюрингские сосиски (ростбратвурст с чесноком и майораном) — божественно вкус-

ны. Еще — двумя удивительными портретами Дюрера четы Тухеров и несколькими портретами Кранаха — постаревшего Лютера, его уродливых родителей и его некрасивой жены. Еще тем, что…

В здании, где провел свои последние годы Ницше, смотрительница неохотно показала мне кровать (называемую почему-то «белой кушеткой»), на которой умер философ. Когда она вышла в соседнюю комнату, я присел на кушетку и несколько секунд медитировал…

И в доме-музее Гёте я тоже нелегально присел на ту самую кровать. И тоже помедитировал. Отдал так дань уважения и автору Фауста. А к большой каменной могильной плите Кранаха, вмонтированной в стену церкви святого Якоба, я как умел прислонился… и обратился к нему с краткой приветственной речью.

Но, вернемся к моей детской мечте.

Пожив в Глаухау несколько месяцев, и попривыкнув… я понял, что этот городок — вполне подошел бы как образец для модельной инсталляции в магазине Лейпциг. Все было на месте. И железнодорожный узел. И станция. И церковь, и не одна. И средневековый замок с башенками. И фабричные корпуса, построенные мастерами своего дела. И почти средневековые люди. Так что и эта моя мечта осуществилась, только я не сразу заметил, что оказался внутри нее.

Смотри, и ты, как студент Ансельм, попадешь под стекло!

А что стало с моей третьей мечтой?

Предупреждаю, эта часть текста не для детей и не для ханжей.

Потому что третьей моей детской мечтой была близость с пожилой обнаженной женщиной с огромной грудью.

Что я понимал под близостью? Не совсем то, что все мы делаем с нашими любимыми женщинами в постели. Я же был еще маленьким мальчиком. Мне хотелось положить голову между грудей этой женщины, сосать ее соски и так заснуть.

Ну и что же, осуществилась ли эта мечта? Предвижу ваши смешки и ухмылки, господа. Стыдитесь.

Да, осуществилась, причем еще до достижения мной половой зрелости. Не только осуществилась, но и отбросила курьезную тень на всю мою последующую интимную жизнь.

Мы с бабушкой отдыхали в многократно мной описанном Доме отдыха МГУ под Москвой, на водохранилище. Мне было лет двенадцать.

Бабушке моей стало однажды вечером плохо. Ее увезла скорая в больницу, в Можайск. Там ей помогли.

А меня директор Дома отдыха решил не оставлять одного на ночь в нашей комнате, а отвез на своем москвиче к живущей недалеко в деревенской избе пенсионерке, как он ее называл, тете Маше, женщине тучной и доброй. С широким носом-пуговкой и ушами, похожими на уши свиньи.

Маша встретила меня ласково, посадила за стол, налила мне чай, отрезала мне кусок пирога с печёнкой, который я есть не стал. Потому что видел, как по пирогу ползают жирные черные мухи.

Телевизора у тети Маши не было, радио не работало, делать было нечего. В подкидного дурака тетя Маша играть не умела.

Она уложила меня спать на широкой железной кровати.

С многочисленных застекленных фотографий, рядом на стене, на меня сердито уставились сотни ее родственников. Пахло как-то странно, как в продуктовом советском магазине. Гнилой капустой.

Мне было неуютно, неловко, жарко под периной. Я потел, ворочался, никак не мог заснуть. Стянул с себя измучившие меня майку и синие трусы, прилипающие к коже.

Тетя Маша видимо заметила мое состояние и решила меня успокоить. Разделась донага и прилегла ко мне, позволила лечь на себя, раздвинула короткие бесформенные целлюлитные бедра и обхватила меня ватными руками…

ШНУРКИ И КРОКОДИЛЫ

Еще одно малозначительное происшествие
и короткий диалог с самим собой

Из-за дикой жары в Берлине вышли сегодня прогуляться в семь утра.

Спать охота… а не плестись по плохому асфальту нашего района… асфальту, плотно замусоренному окурками и всякой дрянью.

Во время прогулки зевал, чихал, содрогался от гнева, злобствовал и кашлял. Несколько раз плевал.

Что поделать? Как говорит моя дочь — папа, ты стал на старости лет ворчюном и брюзжалой.

И она права.

Зашли в магазин РЕВЕ. Взял две упаковки любимого тайландского супа, четыре крупных абрикоса, полкило творога и три маленькие сдобные булочки. Подруга моя взяла еще что-то. Не стал и смотреть. Взяла и взяла. Купила и купила.

Заплатили знакомой кассирше, толстенькой блондинке с тяжеленным бюстом, чудовищными синими тенями над глазами и огромной копной черных лошадиных волос на голове.

Вышли из магазина с сумками в руках. Тяжело тащить.

И тут же наткнулись на мусульманскую пару, говорящую друг с другом по-арабски. Он — большой и толстый. Усатый. Нагловатый. Лет тридцати. Она — лет на пять помоложе — в дорогой бежевой одежде, закрывающей все, кроме лица. Полного, миловидного.

Похоже, сирийцы.

Прорычал про себя — проклятые иностранцы! Когда же вас всех отсюда погонят погаными тряпками?

Ничего плохого мне эти люди не сделали, но во мне поднялась волна злобы. Из-за их противного, лающего языка, из-за наглости его и из-за одежды ее… Из-за того, что они сюда приперлись, из-за того, что немцы их приняли… кретины.

Ладно.

Сирийцы купили в кофейном автомате кофе в закрытых пластиковых стаканчиках. А пить пошли на лавочку на детской площадке.

Тут мы с моей немкой чуть не врезались в стоящего к нам спиной немца, тощего, неопрятного парня лет тридцати пяти. Так уж получилось.

В глаза бросилась татуировка на шее у этого типа — «Добро пожаловать в Третий Рейх». Разумеется, по-немецки. Шрифт — готический. Фрактура.

Мой внутренний голос, ставший уже давно моим единственным собеседником, тут же заметил ехидно: Ну что, брюзжала… выбирай. Или Дамаск. Еврабия. Шариат. Или Третий Рейх. Эвтаназия. Газовые камеры.

— Может быть, хотя бы в виде исключения — заткнешься к лешему?

— Ты мне рот не затыкай, самодур. А подумай своей тупой башкой. И ответь — где ты хочешь жить, в озверелой мусульманской стране или в стране победившего фашизма?

— Не буду я тебе отвечать на ствои гнусные вопросы.

— Мне можешь не отвечать, а самому себе ответить придется. Или ты всерьез надеешься на то, что сможешь дожить свою никчемную жизнь в демократической стране? Посмотри телевизор, открой в интернете новости. Посмотри на процентики политических предпочтений населения. Весь восток голосует за Альтернативу, и на западе Германии в некоторых городках — Альтернативу выбирают до сорока процентов населения.

— Ты мне свою статистику в харю не суй! И без тебя все знаем.

— А про то, что в современной немецкой школе девяносто процентов детей иностранцы-мусульмане ты тоже осведомлен? О том, что в Веддинге турецкие мальчики бьют немецких одноклассников за то, что они немцы? О том, что в Нойкёльне и Кройцберге правят бал криминальные ливан-

ские кланы? Торгуют людьми, контролируют проституцию и наркотрафик. Презирают и унижают аборигенов. А немецкая полиция не в состоянии что-то сделать.

— Осведомлен, осведомлен. Заткни фонтан.

— Искренне надеешься спокойно дожить свою жизнь в Германии?

— Мне осталось не много.

— А если ты проживешь еще 20 лет? Все бывает. Представляешь, что тут начнется? Что будет с твоими дочками и внучками? Они будут жить или в государстве Альтернативы или в мусульманской хамуле. И ходить в хиджабе.

— Ничего, привыкнут.

— Ёрничаешь? Трусишь самому признаться в неумолимо приближающемся крахе?

— В каком таком крахе?

— А в таком. Как вас тут сдуру приняли… я имею в виду «евреев из СССР» и из того, что от него осталось, так вас всех отсюда и выдворят. Те, кто к власти придет — и фашисты и муслимы. Или, не дай бог, путинцы приедут на своих танках. Немецкая армия ни на что не способна. Документики на всех полиция сохранила. И еще хорошо будет, если выдворят… а могут и газком… опыт есть большой и пахучий.

— Мы все по паспорту немцы.

— Ха-ха-ха. Ну ты даешь. Кого же это волнует, дорогой. Долой с квартир! Ауфвидерзейн, товарищи бояре. Собирайсь на цугундер.

— Поедем в Россию.

— Ну ты ляпнул. В путинскую Россию? В государство озлобленных дебилов? Ведущее с соседями отвратительные войны, а собственное население терроризирующее?

— Ну в Израиль.

— Под иранские бомбы и ракеты? В объятья хамаса и хисбалы? Там тебя, как еврея по отцу и евреем считать не будут. А за то, что в Германии столько лет прожил, а не на Земле Обетованной, будут тебя называть «екке» или даже «капо».

— Тогда в Америку!

— Рассмешил так рассмешил. Кто же вас туда пустит? Там таперя бал правят Трамп и его агрессивные ублюдки. Америка прежде всего. MAGA. И прочая галиматья.

— Ну, тогда в Австралию поплывем.

— Ну вот, наконец слышу что-то дельное. Только не забудь шнурки погладить… Там на таможне проверяют, выглажены ли шнурки. И если не выглажены — то прямо к крокодилам в пасть.

СРЕДИ ПРИВЫЧНЫХ ОБОРОТНЕЙ АПОКАЛИПСИСЫ ИГОРЯ ШЕСТКОВА (РАДИО СВОБОДА 18.01.2026)

Иван Толстой: Мистические превращения, потусторонние встречи, неотступный ужас, чудесное спасение и пронизывающая ирония — таков мир литературных героев берлинского прозаика Игоря Шесткова, которому исполнилось 70 лет. Художник и прозаик Игорь Шестков много пишет, книги его прозы выходят и в Германии, и в США, и до ковида и войны выпускались в Киеве и Петербурге.

Игорь Шестков — сатиричный интроверт. Он видит мир в трагических лучах человека крайне впечатлительного и ранимого, но будучи писателем проницательным и житейски опытным, он наделен острым сатирическим глазом. Трагедия существования для него никогда не доходит до «гибели всерьез», но всегда притормаживает на важном повороте, так что читатель успевает усмехнуться и подвергнуть происходящий ужас сомнению.

Все это называется иронией, и ирония исключительно близка Игорю Шесткову. Страшный, похожий на реальность мир вдруг показывает свою изнанку, и мы видим его нарисованность, почти кукольность. Отчего, впрочем, персонажи и обстоятельства не становятся фальшивыми, но просто — мнимыми.

Кафка, Оруэлл, Набоков, Кабаков — весь XX век прочитан Игорем Шестковым и пропущен им через собственный советский и эмигрантский опыт.

Шесткову исполнилось 70. За последние годы я прочел несколько новых книг писателя и погрузился в сновидческий мир его героев-оборотней. Шестковские персонажи живут в мрачной фантасмагории, постоянно попадают в ловушки, расставленные потусторонними силами, вовлекаются в свидания

со своим собственным прошлым, извлекают неизвлекаемые уроки и никогда до конца не осознают, бред ли окружает их или явь.

Мир этот похож на фильм ужаса или мрачную компьютерную игру с большим запасом жизней, волшебных снадобий, эротических соблазнов и мучительного советского прошлого, от которого невозможно отвязаться до самой смерти. Шестковские одиссеи по пространствам и историческим временам, при всей фантасмагории происходящего, при ежеминутном попрании заповедей и приличий, — одиссеи эти подчинены умелой и продуманной воле их автора и могут завершиться тогда, когда угодно самому писателю. Театр кровожадных и мистических марионеток знает свой шесток. Простите невольный каламбур.

Если оглянуться сегодня на внешний мир за окном, шестковская преисподняя не покажется чем-то надуманным: политические и военные упыри и уроды мучают и топчут всё, что им доступно, словно выйдя из рассказов писателя на просторы матушки Земли.

Жизнь подражает искусству, как давно было замечено еще Оскаром Уайлдом. Не стану называть Игоря Шесткова пророком, но в очередной раз подивлюсь, как его литературные фантасмагории оборачиваются реальностью.

Сегодня писатель — гость программы «Поверх барьеров».

Иван Толстой: Вы начинали как художник, и в ваших рассказах много художественных деталей, имен знаменитых живописцев, ваятелей, всякой изысканной терминологии. Зрительность ваша очень чувствуется. Но уже несколько десятилетий вы пишете прозу. Художник и писатель: за них отвечают разные области сознания?

Игорь Шестков: Вы знаете, насчет областей сознания мне очень трудно судить, но художник все-таки должен какой-нибудь линией, штриховкой, тоном, пятном что-то изобразить, что-то вообразимое или невообразимое, а писатель работает с буковками, словами, строчками, паузами. С звука-

ми. То есть графика и литература — это, конечно, разные вещи. Я действительно стараюсь образы, которые приходят в голову, выпукло, рельефно… изобразить… представить описанием. То есть я как бы остался художником, но только стал использовать другие методы, другой формат, другой материал. А, в принципе, остался тем же, кем был. Человеком, который пытается дать форму образу или событию. Раньше — графическую, теперь — текстовую.

Иван Толстой: Интересно, не возникает ли какой-нибудь конфликт между художественной частью вашего мышления и писательской? Они дружат между собою или у них бывают стычки?

Игорь Шестков: Вы хотите меня представить человеком с разделенным сознанием. Раньше я был графиком, рисовал тушью палочкой или пером… или жидкой акриловой краской распылителем-аэрографом. Потом занялся писательским делом. Кстати, я предпочитаю это слово не употреблять. Писательский… писатель… Оно очень высокопарное, амбициозное. Мне последнее время нравится слово «автор». Так я себя и называю. Так вот — в мой голове всё соединено… все варится в едином котле, в единой субстанции. И когда я пишу, я уже не замечаю, что это — буковки или графика.

А когда я рисовал, я всегда при этом говорил сам с собой и шептал, и напевал, старался то, что я рисую… (хотя это часто были нефигуративные композиции), старался представить форму, линию, композицию как историю, как сюжет, рассказ. Здесь на самом деле противоречия нет, но объяснить это я не могу.

Иван Толстой: Берлин, как известно, — город музеев, один из самых музейных городов в Европе. А для вас эта музейная жизнь продолжается? Выставки, вернисажи? Эта жизнь трепещет по-прежнему?

Игорь Шестков: К сожалению, особенно трепетно трепетать перестало. Перестало во время эпидемии ковида. Мно-

гое тогда испортилось, ухудшилось. Здесь, в Берлине умирало очень много людей, музеи были закрыты. И не только музеи, но и школы, рестораны, кафе, различные учреждения, бюро. И даже когда они стали открываться, ходить туда как-то уже не хотелось, потому что… ты тут смотришь на картину Рафаэля, наслаждаешься ее гармонией, а потом — раз, два — и вот ты уже в больнице — три — и ты помер. Такие ассоциации возникали против воли… неприятные.

Когда я приехал в Берлин четверть века назад, начал с того, что обошел все музеи, и не один раз, а может быть сто. И всякий раз с камерой. Всё, что можно, я сфотографировал, прожевал, зафиксировал, все это осталось не только в компьютере, но и в моих мозгах сильное впечатление оставило. Потому что в Берлине действительно потрясающие музеи. Один Пергамский алтарь чего стоит. Это совершенно феерическое, невероятное произведение античного пластического искусства. Или Ворота Иштар. И огромная коллекция живописи — старой, прекрасной, чудесной. Дюрер, Кранах, Брейгель, Петрус Кристус, Рембрандт.

Я всё это очень люблю, но последние годы немножко к этому охладел. Может быть, потому что мне стало трудно двигаться, передвигаться. Но в памяти всё это еще горит, мерцает, переливается. И я радуюсь тому, что увидел раньше. И не только в музеях Берлина, но и в музеях Нью-Йорка, Парижа, Рима, Венеции.

Иван Толстой: Чему была отдана советская часть вашей жизни? Что вы успели сделать в СССР?

Игорь Шестков: Я выжил. Это уже много. Потому что далеко не все мои сверстники смогли первые 34 года советской жизни прожить без катастроф и без ужасов. В Совдепии я не жил, а выживал, сердце мое было занято рисованием. Это компенсировало гной советчины, который со всех сторон тогда на человека прыскал. И на меня конечно тоже.

Я рисовал очень-очень много, я учился. К сожалению, я не мог поучиться в каком-нибудь академическом учреждении.

Учил себя сам, учился у художников, мастеров. Например, брал уроки рисования с натуры у Моисея Тевелевича Хазанова, в прошлом ученика Фалька.

Самое большое влияние на меня оказал Михаил Матвеевич Шварцман, которому я, увы, подражал много лет. Была такая напасть.

Я не могу похвастаться какими-то свершениями ни в советский свой период, ни в немецкий.

В Германии я много рисовал, в основном аэрографом, устроил два десятка выставок. Опубликовал несколько каталогов и сборников эссе по-немецки. Мои работы видели очень много людей. Кое-что даже купили.

А в России я участвовал в восьмидесятых годах только в выставках на Малой Грузинской улице в Москве, в горкоме графиков. Раз, наверное, десять. Вот и все мои скромные достижения.

Иван Толстой: У всякой эмиграции есть мотивы. А каковы были ваши?

Игорь Шестков: Я нахожусь где-то между третьей и четвертой волной эмиграции. То есть я уехал в 1990 году, во времена Советского Союза. Современные и не очень современные патриоты России предпочитают таких людей, как я, называть «колбасными эмигрантами». Мол, у нас-то колбасы было мало, и вот они, предатели эти, поехали заграницу, за колбасой…

Я, как это ни странно, согласен с таким определением, пусть и не лестным. Потому что когда я уезжал из Москвы, хлеб было купить трудно, а у меня жена… и доченька тогда еще маленькая была. Нам есть было нечего, в прямом смысле слова. Это, может быть, звучит сейчас как-то даже смешно. Простоял однажды в Ясенево, где мы жили, за хлебом сорок минут. И так и не смог ничего купить. Решил: Нет, больше так не могу. Надо жить где-то, где хоть какая-то еда есть, где можно выжить.

Уезжая, я не думал о демократии, о свободе творчества, о том, что я стану художником или писателем за границей. Это

всё были недосягаемые, заоблачные понятия. Просто хотелось нормально пожить. Если угодно, поесть хлеба с колбасой. И попить кофе.

Иван Толстой: Что собой представлял русский эмигрантский литературный пейзаж в ваши первые годы и как он меняется сегодня? Ваши впечатления в динамике?

Игорь Шестков: Вы знаете, на этот вопрос очень сложно ответить. Дело в том, что я, в силу обстоятельств, когда приехал в Германию, попал после так называемого лагеря для еврейских беженцев… да я попал в город, в индустриальный город бывшей Восточной Германии. У меня даже телефона не было, не было телевизора, не было радио, не было денег. Печное отопление. Туалет — на лестничной площадке. Работы тоже не было, никакой работы вообще. Какой уж тут литературный ландшафт! Я чувствовал себя оторванным от цивилизации. Единственным пейзажем, который я тогда видел, была фабричная архитектура XIX века и холмы и долины Рудных гор, куда я ездил на автобусе, и где затем бродил.

Ну да я, например, письменно общался в первые годы с Борисом Хазановым, прекрасным писателем. Он мне помог, прислал журналы, ободрил. О каком-то литературном пейзаже говорить трудно… Повторюсь — единственным пейзажем, который я тогда видел, была тяжелая немецкая архитектура конца девятнадцатого и начала двадцатого веков… Я жил среди обозленных восточных немцев… те, кто хотел уехать, уже уехали, а кто не хотел уехать, те злилась на весь мир, потому что на их родине всё происходило после Объединения Германии не так, как они мечтали. Вот этот пейзаж, состоящий из столетие не ремонтированных домов и злобных их обитателей я видел вокруг себя… и в нем жил.

А литературный пейзаж я стал воспринимать только через много лет, уже в XXI веке, когда начал публиковаться в литературных журналах. В журнале Слово/Word опубликовался в Нью-Йорке, в «Нашей улице» Кувалдина в Москве. И у Владимира Батшева я часто публиковался, в двух журналах — «Мостах» и в «Литературном европеце».

Литературный ландшафт «Литературного европейца» я могу как-то обрисовать, но он, наверное, вам не совсем интересен, потому что там собрались только несколько серьезных профессиональных писателей, а остальные просто хотели от души что-то написать, как-то себя проявить. То есть они не были настоящими литераторами. Скорее энтузиастами. Хотя, конечно, были и среди них люди одаренные. Я кстати себя к профессиональным писателям не отношу. Никогда не зарабатывал писаниной деньги. Писал только то, что в голову приходило. Чаще всего — во сне.

В последние годы я заметил новых людей… Я никогда не предполагал, что они окажутся в Германии. Таких как Сорокин и Улицкая. Улицкая живет минутах в двадцати от меня ходу, но мы с ней не знакомы. Сорокин… он такой небожитель-дартаньян. К нему и подходить страшно. Заколет шпагой.

Эти новые люди… они жили много лет под Путиным, устраивали свою жизнь не без успеха, заработали хорошие деньги. А потом, когда стало совсем кисло, запахло мобилизацией, они уехали за границу и сейчас, кажется, только и ждут, когда Путин или помрет, или уйдет, и можно будет вернуться на родину. Я никого не осуждаю… Но для меня Германия стала новой родиной, пусть не очень сладкой, пусть не очень весёлой, но всё-таки новым местом обитания. А для так называемых релокантов — Германия это только временное убежище, которое надо поскорее покинуть, как только откроется дорога домой. Чтобы кто-то новый не урвал то, что еще можно урвать.

Я хоть и пишу по-русски, но говорю только по-немецки, пусть и с ошибками… и уже 36 лет… погружаюсь как могу в европейскую культуру и стараюсь найти себе в ней место. Пусть и в последнем ряду, я не гордый, и шпаги у меня нет, но есть два кинжала, которые я купил, когда писал одноименный рассказ.

Иван Толстой: Проза требует мыслей, как говорил Пушкин. Как вы оцениваете современный мир? Пожалуйста, в парламентских выражениях.

Игорь Шестков: Вы знаете, вопрос не по адресу. Я очень далек от общественной, художественно-литературной жизни, в которой все как-то соединяются, кипят страсти. Я… живу тихо, приватно, хотя и являюсь членом Союза писателей Германии. Один раз протестовал вместе с другими немецкими писателями у российского посольства. Против бомбардировок Алеппо.

Вам надо поговорить с кем-нибудь, кто находится в центре берлинской русскоязычной тусовки. Я неожиданно узнал, что есть и такая, и не одна. А я на периферии, и мне… мне гораздо более интересна работа над текстом… герои, характеры, мизансцены… чем ивенты, литературные посиделки с блинами и водкой, властители умов и бестселлеры.

Ну да, мысли, конечно... Это очень сказано общо. Я не очень понимаю, что имеет в виду Пушкин под мыслями. Все-таки все, что приходит нам в голову, даже любая, в общем-то, белиберда, она тоже мысль.

Я, может быть, упрежу ваш вопрос… хотел бы поговорить о том, как война… как война воздействует на прозу. Проза это нечто, состоящее из лепестков темной розы. Галочки, буквочки, словечки. Знаки. Семафоры. Ноты. Магический мир. Даже если мы рассмотрим произведения писателей-реалистов, быстро поймем, что их герои совершенно не похожи на живых людей, они только кажутся похожими, на самом деле это что-то совсем-совсем другое. И вот война, понимаете, война и осколки бомб и снарядов, они легко пробивают серую зону между искусством и жизнью… и попадают в прозу. Отравляют ее. Разрывают. Ты вдруг начинаешь ощущать, что в твоем тексте что-то взорвалось, что кто-то убит или ранен, что что-то грохочет, скверно пахнет, что среди твоих слов и строчек лежат трупы, несчастные мертвые люди, мертвые дети. И какой бы ты ни был… маленький человек или наоборот небожитель, это неважно, всё равно происходит какое-то вдавливание друг в друга войны и прозы, понимаете, тут уже даже не до мысли, тут какая-то совсем другая ситуация, тебя просто пронзают эти осколки так же, как они пронзают несчастные эти убогие дома под Харьковом или под Киевом. Это я

хотел сказать обязательно, потому что я не понимаю, как можно сейчас писать и не думать о войне, и не думать о нашей ответственности, и о том, что каждый из нас, в общем, виноват. Виноват в этих ужасах…

Иван Толстой: Есть ли у России еще исторические, политические, культурные шансы вернуться в семью народов?

Игорь Шестков: Вы спрашиваете меня, как будто я Александр Исаевич Солженицын, который знал всё. Я ничего не знаю. Я простой человек, откуда мне такие вещи знать? То, что с Россией происходит, это кошмар. С другой стороны, этот кошмар в том или ином виде происходил с ней всегда. Потому что кошмар — это она сама.

Когда я закончил университет в l978 году, я думал, что жизнь сейчас немножко изменится… потихоньку к лучшему. А в 1979 году началась афганская война. И она длилась почти 10 лет. А в конце этих 10 лет я уехал из России. И вы знаете, эта война, она была ещё хуже украинской войны. Там больше людей убили и с гораздо большей жестокостью. Убивали этих несчастных афганцев. Что из этого вышло, мы знаем. Странное, изуверское государство Талибан. Это следствие того, что сделала Россия с Афганистаном. Я надеюсь, что Россия, может быть, не в том виде, в котором она сейчас существует, а разделившись на несколько частей, например, встанет действительно с колен в хорошем смысле слова, не будет обижать соседей, а просто постепенно восстановится как государство. Или несколько государств. И возможно в одном из них будет и дальше развиваться русская культура. Не советская, а русская. В которой соединятся классическая русская литература, культура серебряного века, культура эмиграции и новая русская культура. Но эта надежда очень слабая.

И чем дальше время идет, тем меньше эта надежда. Потому что российские зверства продолжаются. Потому что я вижу и слышу людей из России, и почти все они за то, что происходит в Украине. За Путина. Как же так можно? Это же безумие.

Хотя моя собственная мама (она умерла в Америке, прожив там 20 лет), она тоже, например, говоря сленговым языком, крымнашествовала. Я убеждал ее: Мама, но это ведь не важно, кому принадлежит территория. Ведь не в этом дело, а дело в том, как всё это было достигнуто, по закону или нет, и какая там теперь жизнь.

Но на крымнашистов подобные соображения не действуют.

Вы знаете, я очень надеюсь на то, что в России или в ее осколке появятся гениальные писатели вроде Цветаевой, Платонова, Булгакова… Гениальные ученые... Но вот на то, что Россия станет хорошей или хотя бы нормальной демократической страной, у меня надежды нет.

СОДЕРЖАНИЕ

Автобиографические заметки 5
Несколько слов об эмиграции 44
Из дневника 63
Из записных книжек 72
Сова 87
Постскриптум к книге «Алконост» 95
Все обо мне и немного о погоде 106
В начале восьмидесятых 132
Почему мне неприятно читать Набокова 135
Вокруг Носа Гоголя 148
Комната, в которой нас нет 194
Фотограф в Храме Гроба 200
Иерусалим в феврале 207
Заметки о Берлинской Стене 212
Приложение к книге «Русское порно» 221
Дорогая буква Ю 240
Шесть посланий виртуальной возлюбленной 243
Интервью Литературной газете 250
30 лет в Германии 256
Мнимости Шесткова 281
Предисловие к сборнику «Нелюдь» 291
Записки читателя 304
Источник 326
Перепрыгнул 335
В карантине 343
Малахитовая шкатулка 360
В подземном переходе 364
Мастер Страшного Суда 368
Говорят 375
Аквамарин 376

История Р 385
Штрих-код 390
Бокал 399
Шило 407
Переполз 417
Шнурки и крокодилы 424
Среди привычных оборотней 428

Игорь
ШЕСТКОВ

КОМНАТА, В КОТОРОЙ НАС НЕТ

Берлин,
2026